Ив. Шмелев — ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

Ив. ШМЕЛЕВ

Избранные рассказы

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

Ив. ШМЕЛЕВ

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1955

SELECTED STORIES

by

Ivan Shmelev

Printed in the U.S.A.

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

КАК Я ВСТРЕЧАЛСЯ С ЧЕХОВЫМ

I. За карасями

Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я — маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечьи.

В тот год мы не ездили на дачу, и я, с Пиуновским Женькой, — упокой, Господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что награжден посмертно Св. Георгием, — днями пропадал в Нескучном. Мы строили вигвамы и вели жизнь индейцев. Досыта навострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством, в Мещанском Саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском Училище, на Калужской. Еще нечищенные тогда пруды славились своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может быть чуял, что пруды скоро спустят, и всё равно погибать, так лучше уж погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил «дикообразово перо» — особенный поплавок, на карасей. Чуть заря — мы уже на прудах, в заводинке, густо заросшей «гречкой», где тянулась проточина, — только-только закинуть удочку. Женька сделал богатую прикормку — из горелых корок, каши и конопли, «дикообразово перо» делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили, и толкли питательный порошек или, по индейски, — пеммикан, как делают это эскимосы.

Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам, и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, видишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы, и расходящийся круг воды холодком заливает сердце.

— А, чорррт!.. — шипит, толкая меня, Женька, — сидит какой-то... соломенная шляпа!..

Смотрим из-за берез: сидит — покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: «пощупаем, не браконьер ли?» Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и — раз! тащит громадного карасищу, на-шего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает, баском таким: «иди, голубчик, не упирайся», — спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: «видали, каков лапоток?» А это, сбоку, под ветлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бичевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим — место всё неудобное, ветлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит — краснoперого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучевом пиджаке, в ладоши даже захлопал: «не ожидал какое тут у вас рыбье эльдорадо! буду теперь захаживать». Смотрим — и на другой удочке тюкает, повело... Женька шипит — «надо какие-нибудь меры... самозванцы!» А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: «не карась, золотая медаль!» Сердце у нас упало. А Кривоносый орет — «а у меня серебряная, Антон Павлыч!..» А незнакомец опять золо-

того тащит... — и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе, Господи!

Подошли поближе, уж невтерпеж, Женька рычит: «а, плевать, рядом сейчас закину». Смотрим... — чу-уть поплавок, ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем — особенное что-то. И тот, сразу насторожился, удочку чуть подал, — мастера сразу видно. Чуть подсек, — так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А *оно* — в заросли повело. Тот кричит: «не уйдешь, голуба... знаю твои повадки, фунтика на два, линь!..» А линей отродясь тут не было. Стал выводить... — невиданный карасище, мохом совсем зарос, золотце чуть проблескивает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выкинул, — тукнуло, как кирпич. Кинулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, — «колечко» у карасины в копейку было, гармонья словно! — что-то на нас прищурился и говорит Кривоносому, прыщавому, с усмешкой: «меща-не караси у вас, сразу видно!» А Кривоносый спрашивает, почтительно: «это в каком же смысле... в Мещанском пруду-с?» А тот смеется, приятно так: «благородный карась любит ловиться в мае, когда черемуха... а эти видно, Аксакова не читали». Приятным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо простое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. — «А вы, братцы, Аксакова читали?» — нам-то, — «что же вы не зажариваете?..» Женька напыжился, подбородок втянул, и басом, важно: «зажарим, когда поймаем». А тот вовсе и не обиделся: «молодец, — говорит, — за словом в карман не лезет». А Женька ему опять: «молодец в лавке, при прилавке!» — и пошел направо, на меня шипит: «девчонка несчастная, а еще «Соколиное перо», чорт... сказал бы ему, наше место, прикормку бросили!» Стали на место, разматываем. Ветлы нависли сажени на две от берега, чуть прогалец, поплавку упасть только-только.

Размахнулся Женька, — «дикообразово перо» в самом конце и зацепилось, мотается, а мотыль-наживка над самой водой болтается. А там опять карасищу тащут! Женька звонил-звонил, — никак отцепить не может, плещет ветками по воде, так волны и побежали. — «Плевать, всех карасей распугаю, не дам ловить!» А «дикообразово перо» пуще еще запуталось. Незнакомец нам и кричит: «ну, чего вы там без толку звоните! ступайте ко мне, закидывайте, места хватит!» А Женька расстроился, кричит грубо: «заняли наше место, с нашей прикормки и по-льзуйтесь!» И всё звонит. А незнакомец, вежливо так: «что же вы не сказали? у нас, рыболовов, правила чести строго соблюдаются... прошу вас, идите на ваше место... право, я не хотел вам портить!» А Кривоносый кричит — «чего с ними церемониться! мало их по-роли, грубиянов... на чужой пруд пришли — и безобразничают еще. По какому вы праву здесь?» А Женька ему свое: «по веревкинскому, по такому!» Кривоносый и прикусил язык.

А клевать перестало, будто отрезало: распугал Женька карасей. Похлестали они впустую, незнакомец и подошел к нам. Поглядел на нашу беду и говорит: «Не снять. У меня запасная есть, идите на ваше место», — и дает Женьке леску, с длинным пером, на желобок намотано, — у Перешивкина продается, на Маховой. — «Всегда у нас, рыболовов, когда случится такое...» — потрепал Женьку по синей его рубахе, по «индейской»: — «уж не сердитесь...» Женька сразу и отошел. — «Мы, говорит, не из жадности, а нам для пеммикана надо». — «А-а, — говорит тот, — для пеммикана... будете сушить?» — «Сушить, а потом истолкем в муку... так всегда делают индейцы и американские эскимосы... и будет пеммикан». — «Да, говорит, понимаю ваше положение. Вот что. Мне в Кусково надо, карасей мне куда же... возьмите для пеммикана». Вынул портсигар и угощает: «не выкурят ли мои краснокожие братья со мною трубку

мира?» Мы курили только «тере-тере», похожее на березовые листья, но всё-таки взяли папироску. Сели все трое и покурили молча, как всегда делают индейцы. Незнакомец ласково поглядел на нас и сказал горлом, как говорят индейцы: «Отныне мир!» — и протянул нам руку. Мы пожали, в волнении. И продолжал: — «Отныне, моя леска — твоя леска, твоя прикормка — моя прикормка, мои караси — твои караси!» — и весело засмеялся. И мы засмеялись, и всё закружилось, от куренья.

Потом мы стали ловить на «нашем» месте, но клевала всё мелочь, «пятачишки», как называл ее наш «бледнолицый брат». Он узнал про «дикообразово перо», и даже про латинский словарь, пошел и попробовал отцепить. Но ничего не вышло. Всё говорил: «как жаль, такое чудесное «дикообразово перо» погибло!» — «Нет, оно не погибнет!» — воскликнул Женька, снял сапоги и бросился в брюках и в синей своей рубахе в воду. Он плыл с перочинным ножом в зубах, как всегда делают индейцы и эскимосы, ловко отхватил ветку и поплыл к берегу с «дикообразовым пером» в зубах. — «Вот!» — крикнул он приятному незнакомцу, отныне — брату: — «задача решена, линия проведена, и треугольник построен!» Это была его поговорка, когда удавалось дело. — «Мы будем отныне ловить вместе, заводь будет расчищена!» Брат бледнолицый вынул тут записную книжечку и записал что то карандашиком. Потом осмотрел «дикообразово перо» и сказал, что заведет и себе такое. Женька, постукивая от холода зубами, сказал взволнованно: «отныне «дикообразово перо» — ваше, оно принесет вам счастье!» Незнакомец взял «дикообразово перо», прижал к жилету, сказал по-индейски — «попо-кате-петль!», что значит «Великое Сердце», и положил в боковой карман, где сердце. Потом протянул нам руку и удалился. Мы долго смотрели ему вслед.

— Про-стяга! — взволнованно произнес Женька, высшую похвалу: он не бросал слова на ветер, а запирал

их «забором зубов», как поступают одни благородные индейцы.

Мимо нас прошел Кривоносый и крикнул, тряся пальцем:

— Отвратительно себя ведете, а еще гимназисты! Доведу до сведения господина инспектора, как вы грубили уважаемому человеку, больше вашей ноги здесь не будет, попомните мое слово!

Женька крикнул ему вдогонку: «мало вас драли, грру-биянов» — сплюнул и прошипел: «бледнолицая с-соба-ка!..»

Припекло. От Женьки шел пар, словно его сварили и сейчас будут пировать враги. Пришел Сашка Веревкин и рассказал, что незнакомец — брат надзирателя Чехова, всю ночь играл в винт у надзирателей, а потом пошли ловить карасей... что он пишет в «Будильнике» про смешное, — здорово может прохватить! — а подписывает, для смеха, — Антоша Чехонте. А Кривоносого выгонят, только пожаловаться папаше, — «записано в кондуите про него — «был на дежурстве не в порядке, предупреждение». Женька сказал: «чорт с ним, не стоит». Он лежал на спине, мечтал: нежное что то было в суровом его лице.

Случилось такое необычное в бедной и неуютной жизни, которую мы пытались наполнить как-то... нашим воображением. Многого мы не понимали, но сердце нам что-то говорило. Не понимали, что наш «бледнолицый брат» был, по истине, нашим братом в бедной и неуютной жизни и старался ее наполнить. Я теперь вспоминаю, из его рассказов, — «Монтигомо», Ястребиный Коготь...» — так, кажется?..

Июль, 1934 г.

Алемон.

II. Книжники... но не фарисеи

На Рождество пришли к нам славить Христа «батюшки» из Мещанского училища. Пришли, как всегда, к ночи, но не от небрежения, а по причине служебного положения: надо обойти весь служебный и учительский персонал и объехать всех господ членов Попечительского Совета, всех почетных членов и жертвователей, а это всё люди с весом — коммерции и мануфактур-советники. Значится-то как на сооружении-ковчеге нашем? — «Московского Купеческого Общества Мещанские Училища и Богадельня»! И везде надо хоть пригубить и закусить.

Отец протоиерей и дьякон Сергей Яковлевич люди достойные, и строгой жизни, но теперь, после великого обхода и объезда, необыкновенно веселые и разговорчивые. Батюшка принимает стакан чаю со сливками, но отказывается даже от сухарика: пере-полнен! Дьякон, после упрашиваний, соизволяет принять мадерцы, и принимает размашисто, цепляя елку, и она отвечает звяканьем и сверканьем по зеркалам. Батюшка говорит со вздохом: «мадерца-то, мадерца-то как играет о. дьякон!» А о. дьякон в смущении отвечает: «да, приятная елочка». Замечает на рояли новенький «Вокруг Света» и начинает просматривать.

— Замечательный журнальчик братья Вернеры придумали! Увлекательное чтение, захватывающее. Тоже увлекаетесь? — спрашивает меня. — «Остров Сокровищ» печатался... роман Стивенсона! Не могу забыть «морского волка», на деревянной ноге! Мо-рроз по коже...»

— Был случай в одном приходе... — говорит батюшка, — надо «Восстаните», всенощную возглашать, а о. дьякон на окошке, у жертвенника, одним глазом «Вокруг Света» дочитывает, про сокровища. Вот, увлечение-то до чего доводит.

Все смеются, и громче всех о. дьякон.

— Или, возьмите, Луи Жаколио, — «В трущобах Ин-дии»! Всё иностранцы пишут, наши так не умеют. Или Луи Боссенара, — «Черные Флаги», кажется... про китайских пиратов?!. Мороз по коже!..

Глухая старушка-родственница переспрашивает: — «про китайского императора?» — и все смеются. Дьякон перелистывает журнал и говорит, что сейчас дома разоблачится и предастся увлекательному чтению, — и ему принесли новенький номерок, да не успел еще и взглянуть. Рассказывает, что и «Сверчок» получает, тоже Вернеры издают, на ве-ле-невой бумаге! И какой же случай! Как раз сегодня имел честь познакомиться с писателем, который пописывает в сем «Сверчке», остроумно пописывает, но далеко не так увлекательно, как Стивенсон или Луи Буссенар. Но, надо сказать, человек наиостроумнейший. И что же оказывается: братец ихнего надзирателя Чехова, какое совпадение! Но подписывается из скромности — А. Чехонте.

— Были у г. инспектора, Ивана Петровича Веревкина. У стола нас и познакомили, Иван Петрович друг другу нас представил. А он, прямо, зачитывается! И «Будильник» еще выписывает, и там тоже г. Чехонте пописывает. Чокнулись с ним мадерой Депре-Леве, я и позволил себе заметить, что вот, почему наши писатели не могут так увлекательно, как иностранцы? Мо-роз, говорю, по коже! А он... остроумнейший человек! — так это прищурился и говорит: «погодите, о. дьякон, я такой роман напишу, что не только мороз по коже, а у вас во-лосы дыбом встанут!» Так все и покатились. И так вот, руками над головой... про волосы.

Я представил себе, как встанут дыбом волосы у о. дьякона, — а у него волосы были, как хвост у хорошего коня, — и тоже засмеялся. И о. дьякон загоготал, так что батюшка опять попробовал сдерживать, говоря: «мадерца-то что, о. дьякон, делает!»

— Одобрил я его, комплимент сказал даже, как он изобразил дьякона в баньке. Ну, до чего же то-нко и остроумно! Нет, далеко до него Мясницкому или, даже, Пазухину. И какой же конфуз вышел, там же у инспектора... Опять мы с ним чокнулись, для знакомства... ах, компанейский человек-душа! — взял он финик со стола, чай мы пить стали... и говорит, скорбно так: «и почему у нас не сажают фиников! а могли бы, и даже на Северном Полюсе!» Так все заинтересовались. Да как же можно, ежели наш суровый климат не дозволяет? А он пенснэ надел, лицо такое вду-мчивое, и говорит: «Очень просто, послать туда... секретаря консистории или хорошего эконома! никто лучше их не сумеет *нагреть* — !! — месте-чка!..» В лоск положил всех, животики надорвали. Ве-ликий остроумец.

На прощанье дьякон сказал, что у них в библиотеке имеется и книжечка г. Чехонте, — «Сказки Мельпо-мены», — ударение на «о», — от самого писателя дар.

— Забавные историйки, про артистов. Но, правду сказать, не для нашего с вами чтения. Нам вот про «Остров сокровищ»... про пиратов бы!..

И опять зацепил елку рукавом. И елка, и все мы засмеялись.

Я знал, про кого рассказывал о. дьякон: про нашего «брата-бледнолицего», которому Женька подарил летом «дикообразово перо». Осталось во мне об этом приятное воспоминание. На всякий случай я записал название книжечки, чтобы взять ее из «мещанской» библиотеки, где мы были своими людьми, благодаря Сашке Веревкину, сыну инспектора.

**
*

Как-то зимой, в воскресенье, Сашка позвал нас с Женькой есть горячие пироги с кашей. Мещанское училище славилось своими пирогами. Идешь, бывало, от обедни, спускаешься по чугунной лестнице, а в носу так щекочет пирогами с кашей. По улице даже растекается: «эх, пироги пекут!» Всем обитателям белых корпусов-гигантов, — а обитателей было не меньше тысячи, — полагалось в праздник по хорошему, подовому пирогу. Говорили, что есть особенный капитал — «пирожный», оставленный каким-то купцом, на вечные времена, «дабы поминали пирогами». И поминали неукоснительно.

Идем мы по длинным коридорам, видим огромные столовые, длинные в них столы, уставленные кружками с чаем, и у каждой кружки — по большому пирогу с кашей, — дымятся даже. И мальчики, и девочки, и призреваемые старички и старушки, все прибавляют шагу — на пироги. Взяв по горячему пирогу в буфетной, мы едим на ходу, рассыпая кашные крошки на паркетные и асфальтовые полы. Разыскиваем бородатого библиотекаря Радугина, который тоже у пирогов. По праздникам и библиотекарь отдыхает, но для Сашки закон не писан. Радугин, говорят, у надзирателей. Идем в надзирательский коридор. И тут тоже пахнет пирогами. Сашка входит в огромную комнату, разделенную перегородками на стойла. В самом заднем слышится смех и восклицания. Сашка входит, а мы затаиваемся у двери. В щель всё-таки отлично видно: за столиком у окна сидят надзиратели без сюртуков и... наш «бледнолицый брат»! — брат надзирателя Чехова. Женька шепчет: «спросить бы, как мое «дикообразово перо»... здорово, небось?» Сашка валится на диван и ест надзирательский пирог. Радугин дает ему ключи от библиотечных шкапов, но Сашка и

не думает уходить. И мы не думаем: щелкает соловей, самый настоящий соловей! А это Кривоносый, регент, шутки свои показывает. Писатель Чехонте сидит в пиджаке, слушает Кривоносого, и тоже ест пирог с кашей, стряхивая с брюк крошки. Кривоносый начинает скрипеть и трещать скворцом, — ну, прямо, живым скворцом! Писатель даже в ладоши хлопает и говорит приятным таким баском: браво, брави-ссимо! — «А можете жаворонком?» — спрашивает. — «А вот... «на солнце темный лес зардел...» — говорит прыщавый Кривоносый: и начинает петь жаворонок, нежно-нежно, самое тихое журчанье! Потом представляет чижика, индюшку, выфьекивая, как самая настоящая индюшка: «Фье-дор, Фье-дор... я озя-бла... купи-башмаки!» И уточку — «купи-коты, купи-коты». И — удивительно, дух даже захватило, — «майский вечер». Сидит на террасе помещик и слушает «майскую симфонию»: кричат лягушки в пруду: «Варваррр-ра... полюби Уваррр-ра» — а Варвара ругается: «вар-варрр! вар-варрр!» Все покатываются, а мы с Женькой прыскаем за дверью. Чехонте, «бледнолицый брат», просит еще что-нибудь. Кривоносый, — откуда только, у прыщавого! — говорит: «Весенний вечер, пруд засыпает, камыши спят...» — «Нет, каков Кривоносый-то! мо-ло-дчи-на!.. не зна-ал...» — шипит Женька, возненавидевший Кривоносого за его «мало вас драли, грубиянов!» — «И вот», — продолжает Кривоносый, выпивая предложенную ему рюмочку, — и вот, камышевка, безхвостая птичка, во всём мире теперь одна, бессонная... спрашивает другую, на другом конце озера: «Ты-тита-видел? ты-тита-видел?..» А та, в том же тоне, ответствует: «видел-видел-видел... пить-пить-пить!..» — И по сему случаю... Все выпивают и закусывают пирогами с кашей. Так бы вот и стоял, и слушал этого прыщавого Кривоносого, регента. А Сашка-дурак уже прет с ключами: идем, ребята!

Мы роемся в огромных шкапах великой «мещан-

ской» библиотеки, — учительской. Библиотека знаменитая: много жертвовали купцы на просвещение, отказывали «книжные капиталы» и целые библиотеки. Отказывали и призревавшиеся старички, старушки, — порой, старинные, редкостные книги. Я уже отчитал «приключения» и теперь дочитываю исторические романы. Сашка отпирает нам все шкапы и уходит раздобыть еще пирогов. Мы роемся в богатствах, как мыши в мучном лабазе. Женька отыскивает — «еще про Наполеона». Он читает теперь только «военное», остальное — «всё болтовня». Мы накладываем по горке книг, до следующего воскресенья, как раздается басистый голос: «вот оно, самое-то книгохранилище! И тут пирогами пахнет». Входит Сашка с грудой пирогов у груди, придерживая их рукой; в другой руке у него графин квасу, «мещанского», который тоже славится, как и пироги. В высоком молодом человеке с открытым лицом, в пенснэ, мы узнаем «брата-бледнолицего», и стесняемся есть при нем. А Сашка говорит без стеснения:

— Хотите, Антон Павлыч?

— Можно, люблю пироги... замечательные ваши пироги, подовые... — говорит «брат», берет из красной Сашкиной лапы поджаристый пирог и начинает есть, роняя сыпучую начинку. И мы начинаем есть. Приходит русобородый Радугин, Сергей-тоныч, как *называют* его мальчишки, — Сергей Платонович, — и еще высокий худощавый надзиратель, брат «бледнолицого», и начинают выбирать книги.

— Всё к вашим услугам, Антон Павлович, — предупредительно говорит библиотекарь, — только вы, небось, всё уж прочитали.

— А вот, посмотрим, где же всё прочитать. Много читано... Бывало, таким вот был... — показывает он к нам пальцем, взглядывая, прищуриваясь, через пенснэ, — в неделю по аршину читал.

— То-есть, как по аршину? — не понимает Радугин, и мы не понимаем.

— А так. В неделю с краю аршин отхватишь... понимаете, книг? в городской библиотеке, что попадется. У нас за библиотекаря один старичок был, временно заведывал... всё, бывало, кожаные калоши чистил. Как ни забежишь, все он калоши начищает. И всегда почему-то Костомарова предлагал читать. Просишь Тургенева, или там Диккенса, а он всё: «да вы бы Костомарова-то читали! Фамилия должно быть, нравилась. Так вот, понимаете... надоели ему записочками... надо по записочкам искать книги, он и — «да чего там записочки, отхватывай с того уголка помаленьку, так всю читальню и прочитаешь. А лучше бы Костомарова читал!» Вот я и отхватывал по аршинчику в неделю... очень интересно выходило, все книжки перемешаны были, всякие неожиданности получались.

И он ласково посмеялся, глядя на нас с прищуром. Мне опять понравилось добродушное его лицо, такое открытое, простое, как у нашего Макарки из бань, только волосы были не ежом, а волнисто зачесаны назад, как у о. дьякона. Вскидывая пенснэ, он вдруг обратился к нам:

— А, господа рыболовы... братья-краснокожие! — сказал он, с усмешливой улыбкой, — вот где судьбе угодно было столкнуть нас лицом к лицу... — выговорил он особенным, книжным, языком. — Тут мы, кажется, не поссоримся, книг вдоволь.

Мы в смущении молчали теребя пояса, как на уроке.

— А ну, посмотрим, что вы предпочитаете. Любите Жюль-Верна? — обращается он ко мне.

Я отвечаю робко, что уже прочитал всего Жюль-Верна, а теперь... Но он начинает допрашивать:

— Ого! А Густава Эмара, а Фенимора Купера?.. Ну-ка, проэкзаменуем краснокожих братьев... что читали из Густава Эмара?..

И я начинаю перечислять, как по каталогу, — я хорошо знал каталоги: Великий предводитель Аукасов, Красный Кедр, Дальний Запад, Закон Линча, Эльдорадо, Буа-Брюле, или Сожженные Леса, Великая Река...

Он снял пенснэ и слушал с улыбкой, как музыкант слушает игру ученика, которым он доволен.

— Ого! — повторил он значительно. — А что из Майн-Рида прочитали? — и он хитро прищурился.

Я был польщен, что такое ко мне внимание: ведь не простой это человек, а пописывает в «Сверчке» и в «Будильнике», и написал даже книгу — «Сказки Мельпомены». И такой, замечательный, спрашивает меня, знаю ли я Майн-Рида!

Я чеканил, как на экзамене: Охотники за черепами, Стрелки в Мексике, Водою по лесу, Всадник без головы... Он покачивал головой, словно отбивал такт. Потом пошел Фенимор Купер, Капитен Марриэт, Ферри. Когда я так чеканил, Женька сзади шипел: «и всё-то врет... половины не читал!». Ему, конечно, было досадно, что занимаются только мной. Робинзона? Я даже поперхнулся. Робинзона Крузо?! Я читал обоих Робинзонов: и такого, и швейцарского... и еще третьего, Лисицына! *Он*, должно быть, не ожидал, — снял пенснэ и переспросил прищурясь:

— Это какого... Лисицына?

— А «Русский Робинзон... Лисицын»! Это редкая книга, не во всякой даже библиотеке...

И я принялся рассказывать, как Лисицын, купец Лисицын, построил возле Китая крепость и стал завоевывать Китай... притащил пушку и... всё один! *Он* остановил меня пальцем, и сказал таращившему глаза Радугину, есть ли у них «про этого купца Лисицына»? Тот чего-то замялся: как всегда, ничего не знал, хоть и библиотекарь. Я за него ответил, что здесь Лисицына нет, но можно его найти на Воздвиженке, в библиотеке Бес-

соновых, «бывш. Ушаковой», да и то растрепанного, с разорванными картами и планами. Он сказал — «вот, знаток-то!» — и спросил, сколько мне лет. Я ответил, что скоро будет тринадцать. И опять Женька зашипел: «и всё-то врет!» Но я нисколько не врал, а мне, действительно, через десять месяцев должно было исполниться тринадцать.

— Ого! — сказал *он,* — вам пора переходить на общее чтение.

Я не понял, что значит — «общее чтение».

— Ну-с... с индейцами мы покончим. А как, Загоскина?..

Я ему стал отхватывать Загоскина, а он рассматривал в шкапу книги.

— А... Мельникова-Печерского?

Я видел, что он как раз смотрит на книги Мельникова-Печерского, и ответил, что читал и «В лесах» и «На горах», и...

— «На небесах»?.. — посмотрел он через пенснэ.

Я хотел показать себя знатоком и сказал, что читал и «На небесах», но что то удержало. И я сказал, что этого нет в каталогах.

— Верно, — повторил он, прищурясь: — э-того... нет в каталогах. Ну, а читали вы романы про... Кузьмов?

— Про Кузьмов?.. Я почувствовал, не подвох ли: случается это на экзаменах. Про Ку-зьмов?.. Он повернулся к Радугину, словно спрашивал и его. Тот поглаживал золотистую бороду и тупо смотрел на шкап.

— Не знаете... А есть и про Ку-зьмов. Два романа есть про Ку-зьмов. Когда я был вот таким, — показал он на меня пальцем, — у нас, в городской библиотеке, сторож-старичок был, иногда и книги выдавал нам... говорил, бывало: «две книжки про Кузьмов были, и обе украли! читальщики спрашивали — дай про Кузьмов! — а их украли». А есть... про Кузьмов! Ну, знаток, кто знает... про Кузьмов?

Меня осенило, и отчетливо, словно на стене написалось, выплыло: «Кузьма Петрович Мирошев, или Русские в... году»?.. «Кузьма Рощин»?..

— Загоскина?.. сказал я, а Женька шипел мне в ухо: «врешь, Кузьма Минин!»

— Браво! сказал экзаменатор, сдергивая пенснэ, и пообещал устроить меня старшим библиотекарем Румянцевского музея, — непременно уж похлопочет.

Он не знал, что я мог бы отхватить ему наизусть весь каталог «романов, повестей, рассказов и проч.» ушаковской библиотеки, — Авсеенко, Аверкиева, Авенариуса, Авдеева, Ауэрбаха... всех Понсондютерей, Поль де Коков, Ксавье де Монтепенов... русских и иностранных, которых, правда, я не читал, но по заглавиям знал отлично, так как чуть ли не каждый день сестры гоняли на Воздвиженку менять книги.

Сказав — «на пять с плюсом», экзаменатор принялся за Женьку, назвав его «краснокожим братом»: помнил! Женька напыжился и сказал в подбородок, басом:

— Я пустяков не читаю, а только одно военное... про Наполеона, Суворова, Александра Македонского и проч...

Так и сказал: «и проч»... — и соврал: недавно показывал мне книгу — «Английские камелии» и сказал: «а тебе еще рано, мо-ло-ко-сос!»

— Ну, будете героем! — сказал «бледнолицый брат».

Прошло тридцать лет... и Пиуновский, Женька — стал героем.

— А ваше «дикообразово перо»... — всё помнил! — действительно принесло мне счастье: целого леща поймало в Пушкине! Всегда с благодарностью вспоминаю вас.

Женька переступил с ноги на ногу, подтянул подбородок и перекосил пояс, засунув руку, как всегда у доски в гимназии.

— Вот, — обратился *он* к зевавшему в свою бороду Радугину, — настоящие то книжники! Книжники... но не фарисеи! А есть у вас известная книга, Дроздова-Перепелкина... «Галки, вороны, сороки и другие певчие птицы»?

Радугин вдумчиво поглядел на полки.

— Кажется, не имеется такой. Впрочем, я сейчас, по каталогу...

— Да нет, это же я шучу... — засмеялся *он*. — Это только у дедушки Крылова ворона поет, а в каталогах где же ей.

Все весело засмеялись... Я осмелился и сказал:

— Отец дьякон мне говорил... Сергей Яковлевич... у вас книжка написана, «Сказки Мельпо́-мены»? Я непременно прочитаю.

— Есть, — улыбнулся *он,* — только не Мельпо́-мены, а Мельпо-ме́ны, на «ме» ударение. Не стоит, неинтересно. Вот когда напишу роман — «О чем пела ворона», тогда и почитаете... это будет поинтересней. Есть же роман — «О чем щебетала ласточка»...

— Шпильгагена! — сказал я.

— Непременно похлопочу, в Румянцевский музей.

Он еще пошутил, набрал книг и пожелал нам с Женькой прочесть все книги, какие имеются на свете. Я почувствовал себя так, словно я выдержал экзамен. И было грустно, что кончилось.

Была лавочка Соколова, на Калужской, холодная, без дверей, закрывавшаяся досками на ночь. В ней сидел Соколов, в енотовой шубе, обвязанный красным жгутом по воротнику. Из воротника выглядывало рыжее лицо с утиным носом, похожее на лисью морду. Всегда ворчливый, — «и нечего тебе рыться, не про тебя!» — он

вырывал у меня из рук стопочки книжек-листовок, — издания Леухина, Манухина, Шарапова и Морозова... Стоишь, бывало, зажав в кулаке пятак, топаешь от мороза, перебираешь — смотришь: какое же богатство! В лавочке были перышки, грифельки, тетрадки... но были и книжки в переплетах, и даже «редкостные», которые выплывали к Соколову из Мещанской Богадельни, после скончавшихся старичков.

Как-то зимой, в мороз, с гривенником в кармане, рылся я в стопках листовок: хотелось выторговать четыре, а Соколов давал три.

— Ну, достали Четьи-Минеи? — услыхал я словно знакомый голос, и узнал *его* — в пальто с барашком, высокого, с усмешливыми глазами за пенснэ.

— Еще не освободились наши Четьи-Минеи. Справлялся в богадельне, говорят — недельки две надо погодить, — сказал Соколов, отнимая у меня стопочку.

— Какая богадельня, что такое?..

— А который... Четьи-Минеи-то хозяин. Уж постараюсь, очень хорошие, видал я. С часу на час должен помереть. Эконом мне дешево бы, и я с вас недорого возьму. Вода уж до живота дошла, а всё не желает расставаться. Раньше мукой торговал, а любитель до книг.

Он усмехнулся, подышал на пенснэ, протер и сказал мягко:

— Во-он что... как гробовщики ворот. Нет, пусть уж поживет старичок, не беспокойте... — и стал перебирать стопочки «житий».

Меня он не узнал или не приметил. Хотелось сказать, что у нас есть Четьи-Минеи, старинные, после прабабушки Устиньи. Хотелось бы подарить *ему*. Но они были под ключом в чулане, и я смотрел на них раз в году, когда проветривали чулан. *Он* отобрал стопочку «житий», заплатил и ушел, говоря: «а старичка вы, пожалуйста, не тревожьте, мне не надо». Было грустно,

что он не узнал меня. Я переглядел стопочку: ничего интересного, это я читал — про святых. Уже много после я понял, что было интересного в этих книжечках — для *него*. Много после мне вспоминалось, — отражение снов, как-будто, — когда я читал Чехова: вспоминалось в словечках, в черточках, что-то знакомое такое... Вспоминалась и неведомая птичка, кого-то всё спрашивавшая в камышах, на озере, после захода солнца: «ты-Никиту-ви-дел?» — и повторявшая себе грустно: «видел-видел-видел»...

Август, 1934 г.
Алемон.

III. «Веселенькая свадьба»

Скорняк с нашего двора, по прозвищу «Выхухоль», выдавал замуж дочку Феню. Свадьба готовилась такая, что ахали: бал и вечерний стол, на Якиманке, в доме Клименкова — «для свадеб и балов», с духовой музыкой, с лавровыми деревцами в кадках и с благородными шаферами, как, например, студент Иван Глебыч, который пенснэ носит. И выдавал не за кого-нибудь, а за ученого землемера, — с серебряным знаком ходит! Полугариха — сваха в месяц свертела дело, а мы все думали, что Фене нравится Иван Глебыч. Все ходил к скорняку, доучивал Феню после Мещанского училища: нанял его скорняк развивать ее, чтобы была настоящая барышня, и они все читали книжки — «Дворянское Гнездо», и... разные. Принесешь скорняку Загоскина, а они грустные стишки читают — Надсона там или «Парадный подъезд»... а «Выхухоль» слушает и вздыхает над лисьим мехом. И под гитару пели — «Глядя на луч пурпурного заката», — нравилось скорняку. Горкин всё его пустоду́мом звал: «до лысины всё лыцаря-Гуака своего читаешь — вот и начитал дырку в голову». Бывало, сидим на рябине с Женькой, а они про «Дворянское гнездо» всё — вот и начнем дразнить «ах и-Феня-Феня-я — Феня ягода моя!» — даже язык устанет. Иван Глебыч камушками швыряет, — какие же вы неразвитые!» — а мы свое. Так и уйдет из сада. Феня была красивая: в русском костюме, темная коса, карие глаза, личико круглое, румяное, — ну, ягодка. Даже и Жене нравилась, а он всё говорил, что любовь может развратить, и не со-

вершишь подвигов, как Юлий Цезарь, и бырышень всё дичился. А тут, будто, и ревновал, сердился: «коша-чьи аму-ры... из ведра бы!..»

И так неожиданно — за землемера, собственный дом. Ну, домишка на огородах, в спарже там жулики ночуют... а, главное, с серебряным знаком ходит. И... де-сять тыщ чистоганом дает скорняк, на кошках под бобра капиталец какой накрасил!..

При мне и с Фирсановым рядились, с кондитером.

— ...и амуровые чтобы канделябры, для молодых.

Старик Фирсанов, высокий, в баках, похожий на лорда Гленарвана, из «Детей капитана Гранта», загибает пальцы:

— Амуровые канделябры — самое первое, сахарные голубки на плите — второе-с... рог изобилия, с конфектами в ажуре, и с зеркальцами, и в кружевцах, четыре рубли фунт, «свадебные», не Кудрявцева-с, а Абрикосова-Сыновья, — три?..

— Английской горькой побольше, Болховитин-прасол будет, обещался.

— Бу-дет-будет — всё будет! — говорит Фирсанов, скороговорочку, — и горькая, и хинная, и рябиновка... семи сортов. Буфет, холодное и горячее, соляночки на сковородке, снеточки белозерские, картофель пушкинский, свирепая каена, перехватывает глотку, — фирсановское открытие! Из рыбного закусона: семга императорская, балык осетровый, балык белужий, балычок севрюжий, хрящъ уксусный, сигов трое, селедка королевская... икра свежая, икорка паюсная-ачуевская...

— Да уж пировать так пировать... событие такое...

как исторический роман! за благородного отдаю, серебряный орел на груди!..

— Хорошо их знаю. Пешком не ходит, всё на извозчиках ездит в клуб, все городовые козыряют. И еще... буфет прохладительный, аршады-лимонады, ланинская вода, зельтерская для оттяжки... фруктовый сортимент...

— Пришлет золотую карету под невесту! Шафера от него — учитель рисования, при орденах во фраке, — во дворцах рисовал! и еще, тоже со знаком, ихний. И у меня не жиже: студент в мундире со шпагой, в пенснэ ходит... и еще, тоже из образованных, экзе-кутор из суда, со шпагой тоже, и двое про запас, Болховитина сынки, в перчатках, учащие.

Да уж бу-дет-будет — всё будет! говорит Фирсанов, закуривая сигару: только сигары курит.

Пригласительный свадебный билет с золотым обрезом: «...пожаловать на бал и вечерний стол...» Вся Калужская перед домом: ноябрь, падает снежок. Подкатывают шафера в коляске. Перед ними картон с букетом. Оба в сияющих цилиндрах, в белых, как мел, перчатках, крылатые шинели, на груди что-то золотится. Лица румяные, с морозцу. В толпе говорят ар-ти-сты! Я бегу к скорняку. Шафера отбивают каблуками, кричат с порога «жиних ожидает в церкви!» — и всем делается страшно. Трещат скорняковы канарейки. Шафера сбрасывают шинели, вынимают белый букет в путающихся атласных лентах и подают невесте. Феня похожа на царевну: беленькая, во флердоранжах, светится сквозь вуальку, щечки чуть-чуть алеют. Женька вздыхает сзади. Вспоминается, грустно-грустно — «ах-Фе-ня-Феня-я...» Скорняк схватывает образ, скорнячихе суют кулич, Феня опускается, в вуальке. Скорняк, в сюртуке, похож на

старого барина; скорнячиха, в шумящем платье, вся обливается слезами. Женька шепчет: «нечего тут сыропиться». Вскрикивают за нами: «да Андрюша, образ-то кверх ногами!..»

Кричат шафера — «карету под невесту!» Ахают все — ка-ре-та!.. Атласная — золотая, окна — насквозь всё видно, в мелких подушечках, атласных, — будто играет перламутром. Двое лакеев, в белом, в цилиндрах с бантом. Шафера откидывают дверцу. Иван Глебыч — в мундире, с флердоранжем; светится рукоятка шпаги, перчатка откручена на пальцы, лицо в тревоге. Кричат — «Божье благословение, мальчика-то вперед пустите!» Андрюша, в бархатных панталончиках, вихрастый, с образом на груди, тычется на подножку, в страхе; под носом у него «малина», с медовых пряников. Тощий, высокий екзекутор, в мундире и со шпагой, держит невестин шлейф: студент нежно поддерживает Феню, словно она стеклянная. С треском захлопывают дверцу. Шафера прыгают в коляски, кричат — «с Богом!» Все крестятся. Скорняк корит Кологривова: «что ты мне под невесту подал! Бога у тебя нет, такое под невесту!..» Каретник, с заплывшими глазами, божится: «да... покойничков у меня эти не возят... а что Паленова вчерась возили, так, это из уважения, не в счет». Скорняк уходит, махнув рукой. Говорят — «не к добру, покойницких лошадей прислал». Каретник ворчит: «приметил скорнячий глаз... лошади — не кошка, под бобрика не закрасишь».

В доме Клименкова горят окна. Мы с Женькой топчемся у ворот: рано, войти неловко. По двору пробегают поварята, тащат с саней корзины, звенят бутылки. Музыканты приехали: пробуют, слышно, трубы. На боко-

вой подъезд, во дворе, выбегает Фирсанов, во фраке, с салфеткою под мышкой: «че-рти, куда заливное сунули?» Здороваемся с Фирсановым. — «Да что... опять, мошенник, нарезался, заливное никак не сыщем, а еще старший повар!» Поваренок кричит: «нашли заливно, в дрова засунута... а Семеныча снежком оттерли!» — «Ну, слава Богу... соли в мороженое бы не попало!» кричит Фирсанов и приглашает заправиться: закусочные пирожки готовы. Это наш придворный кондитер, правит все свадьбы, поминки и именины, еще от дедушки. Подъезжают на своих и на лихачах. Прасол вываливается кулем из саночек. Бегут барышни в белых шальках, духами веют. Подкатывают — мясник Лощенков с семьей, в карете, краснотоварцы Архиповы, Головкин-рыбник, портной Хлобыстов, булочник с семейством: Ратниковы, Баталовы, Целиковы, бараночник Муравлятников с сынками, Сараев — башмачник с дочками... — какие-то все другие, в хороших шубах. Молодые сейчас приедут. Сумерки, плохо видно. Кто-то высокий столкнулся с Женькой и извиняется, идет на подъезд за всеми. Женька шепчет: «ты знаешь, это кто?.. *он,* ей-Богу! да «дикообразово-перо»-то подарил я, *тот,* писатель!» Я не верю... не может быть! И радостное во мне: будто знакомый голос, баском таким: «ах, простите, пожалуйста...» Надо сказать Фирсанову, угощали чтобы... и скорняку, что писатель у него на свадьбе. Всё хотел — «живого бы писателя посмотреть, Загоскина бы». Но тот уж помер, а это живой писатель.

Входим под фонари подъезда в большие сени, с зеленой куда-то дверью. Пахнет парено-сладковато, — осетриной, сдобными пирожками, сельдереем, — особенным, поварским духом. Идем по широкой лестнице по

малиновому ковру. В высокой зеркальной зале, под мрамор с золотом, с хрустальными люстрами из свечей, — свадебный стол, «покоем». Белоснежные скатерти, тысячи огоньков хрустальных — от разноцветных пробок от бутылок лафитничков и рюмок, блеск от бронзы и серебра. Музыканты, на хорах, пробуют робко трубы, сияет медь. — «После «встречи», — кричит Фирсанов, — «Дунайские Волны» пустишь, а там скажу!» Потягивая бакенбарду, он оглядывает парад, что-то соображая пальцем. На «княжем месте» на серебре, — рог изобилия, из которого рушатся конфекты. «Амуровые канделябры» — по сторонам: золотые амурчики целуются под виноградом, выбросив в воздух ножки. Мы выискиваем по зале — где *он*. По стенам, сидят недвижимо гости, положив красные руки на колени или подпершись, самоваром, — все красноликие, в стесняющем крахмале в тугих сюртуках, в манжетах. Белоногие барышни смирно сидят с мамашами. Официанты несут подносы, звенят бокальчики. Фирсанов кричит в фортку: «как завидишь, — бенгальский огонь, пунцовый!»

Нет *его* и в малиновой гостиной: старые дамы только, сонно сидят на креслах. Нет *его* и в ломберной — угловой, и в малой, где «прохладительное» для дам... нет и в буфетной, с «горячим» и «холодным», где разноцветные стенки из бутылок, в которых плавают язычки огней, где всякие соблазнительные явства: пулярды в перьях, заливные поросята, осыпанные крошкой прозрачнейшего желе, сочные розовые сиги, масляно-золотистые сардины, хрящи белужьи, боченочки с зернистой, семги и балычки, салаты и всякие соленья, — хрусткая синяя капуста, огурчики — недоростки в перце, кисленькие гроздочки винограда, смородины красной венчики, «свирепая каена», похожая на кирпичный соус, соляночки, снеточки, румяный картофель пушкинский... — и здесь даже нет *его!* Женька шепчет — «в прохладительный заглянуть, кстати и ананасной хватим?» Толстый прасол

сонно глядит на нас, будто хочет спросить, — «вы это... в котором классе?» Вьется официант с тарелочкой — «не прикажите-с!» Прасол тычет в бутылку с перехватцем: «а ну, огорчи, любезный», — английской горькой. Мы вытаскиваем сардинку, и роняем... — в окнах вдруг полыхает красным, грохают медные тазы над нами, — играют «встречу»: приехали!

В дверях гостиной шелковые старухи спутались бахромой, толкаются локтями, сердито шипят — «успеете, пострелы». Мы проскальзываем у них под локтем. У входа в залу стоят новобрачные на розовом атласе. Фирсанов держит корзиночку, все бросают овсом и хмелем. Мы тоже бросаем, в Феню. Она — царевна, только ужасно бледная, — не ягодка уж, а ландышек. Новобрачный — какой-то неприятный, чернявый, глаза косые, бородка таким скребечком. Фирсанов кричит на хоры — давай! Официант с баками встряхивает салфеткой, и на молодых сыплятся цветочки. Скорняк всплескивает руками, все расхватывают — на-память. Иван Глебыч шепчет на ушко Фене, и она дает ему розу из букета. Начинают просить другие, но Фирсанов вежливо говорит, что букет теперь целомудренный, а к разъезду... тогда растрепим. Говорят и смеются: пра-вильно! Иван Глебыч как будто недоволен, всё поджимает губы. Он перед молодым, красавец: высокий, волосы так, назад — как Рославлев у Загоскина. Женька ворчит: «косогла-зого выбрала!» Я говорю — «скорняк это, не пожалел дочери несчастной». Фирсанов просит пожаловать в гостиную, сейчас будут поздравлять шампанским. Мы идем с Феничкой, но какая-то старушенция в «головке», выпятив зуб, скрипит: «нечего вам тут», — даже скорнячиху оттолкнула, Женька ей нагрубил: «а вы чего щипитесь ког-

тями?» Дамы шепчутся — шлейф уж больно задирают. Старушенция велит Ивану Глебычу опустить, но он не слышит. Лощенова говорит Аралихе: «убили бобра, днюет и ночует в картах, весь профершпилился». Молодых сажают на золотые кресла, Фирсанов разливает шампанское, все подходят. Мы чокаемся с Феней, она мило кивает нам, но я чувствую, что она несчастна. Говорит нам — «ах, милые». Вместе с горы катались. С косоглазым не чокались, давка очень. Скорняк спрашивает — «ндравится тебе, знак-то какой, ученый!» Говорю — видели тут писателя, только найти не можем. Он не верит: «вы, говорит, это с шампанского», — смеется. А *его* нет и нет.

Сейчас будет «вечерний стол», куда только нас посадят, не на задний же, с музыкантами? Старшая.сестра ухватывает меня: «мамаша зовет... испортил тебя Женька, как уличный мальчишка себя ведешь!». Я убегаю в залу. Почему это уличный мальчишка! Сам Фирсанов подлил в бокальчик, из уважения, сказал — «скоро жениться будете, без Фирсанова уж не обойдетесь». И Горкин всё говорил: «не корыстный Фирсанов наш, провизия всегда свежая и не в-обрез... играть твою свадьбу будем — его обязательно возьмем».

Фирсанов потягивает бакенбарду, оглядывает парад, — на сто на пятьдесят персон! Поправляет цветы под рогом изобилия, опять оглядывает, — «еще букетик! на крылья бутылочек добавить!» Играют «Дунайские Волны», вальс. Фирсанов машет, велит: «Черноморов марш» грохайте, кушать когда пойдут, а пока «Невозвратное» валяйте, поспокойней». Скорняк радуется — «акое же пышне богатство вида!» Для затравки, обносят пирожками, с икрой зернистой. За новобрачными, кото-

рые с утра говеют, — старушенции подают, косоглазого мать, оказывается! Говорят — коровница, молоком торгует, такая скря-га! Схватила, как когтями, три пирожка и зернистой икры черпну-ла... — официант даже закосился. Женька шипит: «карга, под шаль пирожок спустила, мешок у ней!» Фирсанов приглашает: «в буфетик для аппетиту... все мужские персоны там». Идем сардинки попробовать, а там и не подойти, такое звяканье: мясники, булочники, мучники... Прасолов голос слышно: «Глебыч... огорчимся?..» Иван Глебыч чокается со всеми, подергивает пенснэ, и очень бледный. Хлобыстов сига гложет, пальцы всё об портьеру обтирает. И Муравлятников, и Баталов... — все с тарелочками, едят, на окошке буфет устроили, из графинчика наливают. Учитель рисования — под-шефе, козлиной бородкой дергает, притоптывает всё ножкой. Протодиакон Примагентов в углу засел, все его ублажают: надо ему загрунтоваться, многолетие будет возглашать. Огромный, страшно даже смотреть, как ест. Голосом лампы тушит! Женька просит какого-то: «пропустите, пожалуйста, закусить», а тот ему — «а в котором классе?» Фирсанов углядел — сиротами мы стоим — нам по килечке положили и балычка. Прасол манит Фирсанова: «видал, бычки-то мои, бодаться уж начинают», — на завитых пареньков из практической академии, запасные шафера которые, — «женить скоро тебя возьму». Слышим — «Черномора» тарахают, — и нет Фирсанова. Валят гуртом, притиснули нас в дверях. Иван Глебыч бежит вприпрыжку, прасол бухает в пол ногой — та... ра-ра... та... ра-ра.., — под «Черномора», под барабан турецкий.

Отходит шумно «вечерний стол». Уже прочел по записочке Фирсанов — «за здоровье». За новобрачными

— старушенцию: «за здоровье глубокоуважаемой родительницы...» какой-то... кажется, Епихерии Тарасьевны. Уже поднялся протодиакон, и всё покрывает рыком — многая... ле...т-та-а-а-а!.. Расхватывают на память «свадебные конфекты». Старушенция так и вцепилась коршуном, цапнула полной горстью. Еще кричат молодым, — го-рько!.. горь-ка-а!.. Молодые целуются. И вот «По улице мостовой» играют, танцы сейчас начнутся. Иван Глебыч раскатывается, придерживая пенснэ, — «господа кавалеры... ангажируйте дам!» За ним ковыляет прасол, — плывет саженками. Фирсанов перехватывает мягко: «в стуколочку-с... отец протодьякон ожидают». В карточной уж трещат колоды.

«Невозвратное время»... — и вот, Иван Глебыч с Феней, — молодой танцовать не хочет, — «бычки» за ними, подхватили сестер Араловых; накручивает землемер Лощенову, экзекутор выписывает с Коровкиной, винтит с присядцем — фалдами подметает — козлоногий учитель рисования подцепил рыбничиху Головкину — не обхватишь, сшибает стулья.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»... — кавалеры отводят дам в «прохладительное», к аршадам. Молодого утянули в стуколочку, по три рубля заклад. Иван Глебыч — без флердоранжа: нашли в буфете, Феня ему прикалывает. Он склоняется к ней и шепчет, она его ударяет веером. Обносят сливочным и фисташковым мороженым, несут подносы с мармеладом и пастилой — старушкам. Говорят — будут и пирожки с зернистой, протрясутся когда маленько. Старушенция задремала на диване. Женька шепчет: «на кресле мешок забыла, рябчики даже там... наплевал ей, и пепельницу еще... а не щипись!» Козлоногий зельтерской окатил кого-то, кричат — «платье изгадили!» Гремит — «ах, и сашки-канашки мои...» Иван Глебыч выносится на середину залы, мундир расстегнут... — «гран-ро-он!.. ле-кавалье, ф-фет-ля-

шен!..» Говорят — «шафер-то уж нагрелся». Козлоногий вырезывает вприсядку — «сени новые — кленовые — решетчатые!» Скорняк всплескивает — ух-ты-ы!.. Врываются вереницей из гостиной: Иван Глебыч, головой вниз, вытягивает Феню, за Феней, — вот разорвут ее, — головастый «бычок» с толстухой... «Тарелки» секут на хорах — «ах, вы, сени мои, сени...» — «бычки» скорняка подшибли, у каждого по две дамы, вниз головой несутся, — бодаются... — «ле-каввалье-э-... шерше-во-дамм..!» Около козлоногого гогочут, — какие-то рожи строит — нашептывает: — «ах, вы, сени мои, сени... так при-ятель мой по-ет... и своей мо-рдашке Фене...» — за хохотом не слышно. — «Вью-шки-и!!..» Музыканты полы ломают, бухает барабан — «вери-вьюшки-вьюшки-вьюшки...» — стучат по паркету каблуками, — «на барышне башмачки... сафьяновые!..» Полугариха — сваха, в шали, ерзает на ноге — «ах и что ты, что ты, я сама четвертой роты...» Бежим за другими в «прохладительный», допиваем аршады-лимонады, официант даже удивляется — «и как вас только не разорвет!» Феничка раскраснелась, откинулась на спинку, веером на себя, смеется... Иван Глебыч, зеленый, волосы на лбу слиплись, глаза рыбьи какие-то, галстух мотается, пенснэ упало, — за руку всё ее, чего-то шепчет, качается. Дамы шушукаются — «страмота какая лезет, прямо, при публике... чего ж молодому-то скажут?» Екзекутор посмеивается: «клещами не оторвешь, сотенки скорняковы продувает, — в любви везет... протодьякон всем там намноголетил». Иван Глебыч совсем склоняется, а Феня веером его всё, хохочет... — с шампанского, говорят, от непривычки. Аралиха так и ахает — «до безобразия дойтить может!» Иван Глебыч дергает Феню за руку и кричит: «уйдем от них!.. ту-да... где зреют апе..льси-ны... и л-ли... моны!»... Феня старается вырвать руку, прижалась к столу, а он всё — тянет. Козлоногий топает на него — «вы пья-ны!.. извольте оставить молодую... особу!» Иван

Глебыч не отпускает Феню, качается, вскидывает пенснэ... — «к чорту... пьяней меня...» Кричат — «не выражайтесь при дамах!.. позовите же молодого... безобразие!..» Фирсанов упрашивает — «прошу вас, ба-ла не страмите... вас ждут в буфете...» Иван Глебыч выхватывает шпагу... — «прочь, ха-мы!..» Молодой схватывает сзади, Фирсанов вырывает шпагу и отдает косоглазому. Косоглазый кричит официантам — «убрать пьяного нахала!» Феня... глаза такие, будто чего-то увидала, вся бледная, руками отстраняет... кричит — «да что же это?!» — ее подхватывают. Официанты тащат Ивана Глебыча. Он кричит — «хамы... мою шпагу!.. погубили жизнь!..» Чтобы не слышно было, музыканты играют «Сени». Косоглазый размахивает шпагой... и — в форточку! — «Вот его место, на мостовой!» Мы проскальзываем на лестницу, сбегаем и смотрим кверху. Ивана Глебыча волокут с площадки, торчит манишка, пенснэ разбили. Он вырывается и вопит — «молодую жизнь... ха-мы... на дуэль... темное царство!..» Косоглазый вверху кричит: «дайте ему, скотине!» Мне жалко Ивана Глебыча... И вот я слышу — будто знакомый голос, баском таким: «ве-селенькая свадьба!»

Возле зеленой двери — *он,* писатель! В сером пиджаке, в пенснэ, с грустно-усмешливой улыбкой. Кто-то еще за ним. Женька меня толкает — там *он*... смотри...» — но дверь закрылась.

После, мы прочитали, на карточке: «Антон Павлович Чехов, врач». Он жил внизу, под вывеской — «для свадеб и балов». Он видел! Может быть, и нас он видел. Многое он видел. Думал ли я тогда, что многое и я уви-

жу — «веселенького», — свадеб, похорон, *всего*. Думал ли я тогда, что многое узнаю, в душу свою приму, как все, обременяющее душу, — для чего?..

Сентябрь, 1934 г.

Алемон.

ПЕРВАЯ КНИГА

Два месяца писал. Перечитал, переписал, прорезал, еще переписал, еще прорезал. Ну, куда *такое!* Стало грустно. И спокойно, будни. Послать — куда? Вспомнил редактора: «пишите, приносите». Принес. — «Зайдите... так, месяца через два». Стало совсем покойно: еще не скоро.

Через месяц — письмо, полуславянским в заголовке: «Русское Обозрение». Удача! Не совсем: «зайдите переговорить». Иду, в волнении. Усач швейцар, когда-то недопускавший до *самого,* — «гимназистов никак не допускаем!» — распахивает двери к *самому:* «пожалуйте-с», — усы играют весело и строго. Всё то же: груды на столе, «леонтьевском». Пальма еще пышней, как куща. В седых кудрях, редактор, Анатолий Александров, приват-доцент: — «а, садитесь... вот в чем дело...» — сердце тук-тук-тук... — «недурно, можно напечатать...» — сердце, по-другому: тук-тук. — «Интересно дали. Напечатаем... получите недурно...» — приятный взгляд, — «а для студента и совсем недурно...» — черкает на бумажке, множит, рублей четыреста!» Думаю: куплю Шекспира, Гёте, «Историю Земли», Неймайра — «Но вот в чем дело. Надо кой-что урезать. В цензурном отношении, и... редакция не может согласиться с вашим взглядом на аскетизм... Погодите. Вы легко разделались с этим... «аскетизм плоти!» — строгий взгляд. — «Постойте... Дух нашего монашества...» — лекция минут на двадцать. Слушаю с восторгом. Начинает листать, отчеркивать. — «Это неуместно. Что это за... «благо-уха-ние», с тире, в кавычках?.. Старец, двадцать лет не обмывав-

ший тела, преставился, и «от его тела истекало неизреченное благоухание»... это жи-тийное! а вы — в кавычки! вам смешно...» И снова лекция о «преображении плоти». Интересно. — «Даете живую речь, прекрасно... но не всё *выносит* книга: надо от-би-рать. Искусство слова...» Лекция о *слове*. Я в восторге. — «В общем, предлагаю сократить, вот, где синим... страниц тридцать. Вы согласны?» Я: нет, не могу. — «Почему?! «На скалах Валаама» мне нравится, будет читаться с интересом. При некоторой игривости... — это у вас пройдет! — внутренно вы духовно-близки...» Ласково глядит. — «Ваша душа чувствует красоту святого...» Я рад, но на урезку не согласен. — «Не по-ни-ма-ю... — встряхивает кудрями, — вы же получите... и еще могу вам предложить... сделаем для вас триста оттисков, в рубашечку оденем, можете раздать по магазинам, как книжечку. Это вам даст больше ста рублей...» Я что-то говорю: это *мое,* а если выбросить, это уже будет... Он поднимает руки к пальме: — «Вы чудак! не понимаю, что за... упорство!» — «Не могу». — «Но... цензу-ра!» — восклицает он. Это дает мне силы: — «Я не желаю подчиняться произволу!» — «О, ка-кой вы... Ну в таком случае...» — Холодный взгляд, холодное прощанье. Провожает усач, сочувственно: — «Вернул-с?» Дал ему целковый, за сочувствие.

«Как книжечку...» Самому издать? Прямо на Моховую, к К-ну, — мой поставщик «брошюрок». — «Да на что же лучше! такую книжицу закатим-с!..» Ловкий, ярославец, «с пеленок, скажу-с, при книжечках». — «Слушайте-с. Типографщица Е. Г., слыхали-с? Первый пионер, сам Гольцев поздравлял... женский труд ввела... облагодетельствовала, как сказать, про-грес-с... и в таком

случае может брать дешевле все, не Кушнерев-с! Денежки вперед, понятно. Одно заглавие-с — «На скалах!..» — из рук рвать будут. А с картинкой, монастырек там... да пустим копеек 80 — тыщи пролетят! В глаз чтобы било покупателю, повеселей обложечку... ну, два завода, 2400, — на счетах чик-чок-чук, — вам тыщенку чистых, не меньше-с. Можете... рубликов 700 вперед? Чудесно. Завтра сама примчится, шрифт, бумагу...»

Завтра сама примчалась. Громада, шляпа в лентах, запыхалась. — «Женский труд, я первая... Гольцев поздравлял, дорогу женскому труду! В наших условиях...» — понизив голос, — «вы понимаете, полиция косится, обыски... первая ласточка... женщина — субъект гражданских прав, вы понимаете?.. Значит, вы мне 700 авансом... Завтра и в набор. Цицером? Прекрасно, я люблю цицеро... Цензура? Обойдем. Я в восторге, всю ночь читала... есть зацепки, но, по закону, свыше десяти листов... разгоним, — без предварительной. Отпечатаем, три дня сроку... Не беспокойтесь, у меня рука...» — миг-миг, — «сколько раз сам Гольцев! Нет наличных?.. Ну как же?.. Ах, облигации? кредитного, московского? Охотно, по курсу, скидка на комиссию...» Трубка облигаций, тугая, крутится. Отсчитываем, сколько надо. Кладет в мешочек, вся красная, в удушьи.

Книга будет.

Корректуры, запах краски, радость. Первые листы — чудесно. Клише: скала над озером, под ней монахи, в лодочке, — «в глаз чтоб било покупателю». Ноябрь. Первая книжка, — красота!

«На скалах Валаама»

Тут обрывается: Бутырки, две недели. Университет — Манеж — Бутырки.

Дома, наконец. Телеграмма: «Книга задержана, будьте в Цензурном Комитете... Е. Г.» Гром с неба! Вспомнился редактор, Шекспир, Гёте... «по магазинам раздадите». Было бы уже в журнале. И — горделивое сознанье: жертва гнета! Ах, юность, юность...

Цензурный Комитет, на Кисловке. Накурено, казенно, палачи. Вот главный: князь Н. В. Шаховской, — как будто и непохож на князя: одутлое лицо, мочалистое что-то на лице. Прищурясь: — «Вы... автор? Это что же, пикник из Валаама устроили? Не возражайте. Так нельзя-с. И порнография... Да позвольте, у вас бабы моют в банях... мужчин! Ну, не на Валааме... еще бы вы — на Валааме! В Финляндии, но в книжке о Валааме! И про пьяных купчиков и девок... В диалогах, да, но!.. Можете полюбоваться...» Показывает экземпляр «цензуры»: всё красно, залито. Затерзанная жертва гнета. — «Не возвышайте голоса, г. студент. Да, потеряли, сами на то̀ шли, — «без предварительной»! Вам сколько лет?» — Даже благодушно: — «Э-эх, ю-нец, пи-сатель. Вот что. Не волнуйтесь. Приходите вечерком, и мы поборемся: будете отстаивать свое, а я свое».

Пьем чай. Князь — будто и не цензор, а добрый дядя, «благородный человек». В кабинете — комфорт, культура. Шкапы, в зеленых занавесках, книги, книги. Есть один, «секретный»: «мученицы», сожженные. — «Может попасть и ваша, если не согласитесь на «опера-

цию». Горько, но соглашаюсь. Князь — мягче: — «В чай коньячку?..» Чудесный человек, обворожительный, культурный... про-грессивный! я почти влюблен. Страница за страницей, проверяем. Князь уступчив: — «Хорошо, оставим. Да... вы в этом смысле?.. Ну, оставим. Больно, а? Не по живому телу. Ху-же? Это так кажется, обтерпитесь». После работы — говорим друзьями. Нет, он либеральный, прогрессивный, сам под гнетом... какой он цензор! Двадцать страниц отбито. Четыре вечера боролись. В итоге: вырвать 27 страниц. — «Перепечатают и вклеят, только. Да, приплатите: за грех и наказание». Князь сверх-любезен: показывает тайны: «мучениц», сожженных: — «Вот «Прогресс нравственности», Шарля Летурно, пустая книжка! Ка-ак, читали?! Странно, сожжена». Показывает парижские журналы, каррикатуры на приезд царя. Нет, он хороший. Я открываю ему душу, про книгу. Он тоже: — «Покаюсь, я немножко виноват. Дал одному приятелю... драматург Невежин, знаете? Ему понравилось — розговор народный. Дал другому — Ширинскому-Шихматову, синодальному. А тот — «интересно, но!..» Запросил К. П. Победоносцева. Вот телеграмма, *самого:* «задержать». Чего вы удостоились! Что делать... Посадили вас не мы, а типография, советчики. Дорогонько, вдвое-с», — помял он книжку. — «А сколько припечатают? Мо-гут. Снимут сливки... бывает это».

Приятный человек. Погиб при взрыве, на Аптекарском.

Книга вышла, израненная, в пластырях, — февраль, 1897 г. «Била в глаз». «Сам Гольцев» написал о ней страницу, в «Русской Мысли». «Русское Богатство» — тоже благоприятный отзыв: понравилось про «общину» и про «народ». «Новое Слово» — красная рубашка, рождав-

шийся марксизм, — разделало: слог бойкий, но о чем: о затхлой жизни, об «изжитых предрассудках», «эксплоатация труда религией». Книга продавалась. — «Плоховато, 247 всего!, — морщится К-н, — зарезала цензура». Я вспомнил князя: «снимут сливки». Не знаю. Так и тащилась: 248, 260, 293. Через год, К-н: — «только занимает место, лучше забирайте раз недовольны... не пошла». Продал букинисту за гроши. После мы *с ней* встречались — на Сухаревке, в Нижнем, в Твери, в Архангельске... предлагали переиздать. Не согласился: ошибка юности.

Десять лет — ни строчки, не тянуло. Удручило? Не думаю. А просто — не исполнилась душа. Исполнилась — заговорила.

Давно ее не видел — свою *ошибку*. А посмотрел бы.

Февраль, 1934.

Париж.

МАРТЫН И КИНГА

Приехали на Москва-реку, полоскать белье. Денис, который приносит нам живую рыбу на кухню, снимает меня с полка и говорит: «а, щука про тебя спрашивала, ступай к ней в воду!». Раскачивает меня и хочет бросить в Москва-реку. Я дрыгаюсь, чтобы он думал, что я боюсь. Горкин велит тащить на плоты белье. Я гляжу, столкнет ли Денис в воду нашу Машу-красавицу. Она быстро бежит по мостику, знает Денисову повадку, прыгает на плотах. Денис ставит корзину, говорит — «нонче полоскать весело, вода согрелась, — и сразу толкает Машу. Она взвизгивает, хватает Дениса за рубаху, и оба падают на плоты. Горкин говорит мне — «чего глазки на глупых пялишь, пойдем лучше картошечку печь на травку».

Хорошо на Москва-реке, будто дача. Далеко-далеко, зеленые видно горы — Воробьевку. Там стоят наши лодки под бережком, перевозят из-под Девичьего на Воробьевку, и там недавно чуть не утоп наш Василь-Василич Косой, на Троицу, на гулянье, — с пьяных, понятно, глаз, — Горкин рассказывал, сам папашенька его вытащил и накостылял по шее, по самое первое число, и при всем народе. Иначе нельзя с народом с нашим. Василь-Василич после даже благодарил — проспался: папашенька так и нырнул, в чем был, пловец хороший, а другой кто, может, и утонул бы, — очень бырко под Воробьевкой, а Косой грузный такой, да пьяный, как куль с овсом, так и пошел ключиком на дно. Ну, теперь поквитался с Косым папашенька: Василь-Василич его тоже от смерти спас, разбойники под Коломной на них напали.

Ну, чего еще рассказывать, сто раз рассказывал про разбойников, — говорит Горкин, — мой, ступай на реку, картошку, а я огонек разведу. Ну, я помою, ты разводи.

Горит огонек, из стружек. Пахнет дымком, крепкой смолой от лодок, Москва-рекой, черными еще огородами, — недавно только вода с них спала, а то Денис на лодке по ним катался, рыбку ловил наметкой. Направо голубеет мост, — Крымский Мост, — железный, сквозной, будто из лесенок. Я знаю, что прибиты на нем большие цифры, — когда въезжаешь в него, то видно: 1873, — год моего рождения. И ему семь лет, как и мне, а такой огромный, большой-большой. Я спрашиваю у Горкина: «а раньше, до него, что было?».

— Тогда мост тут был деревянный, дедушка твой строил. Тот лучше был, приятней. Как можно, живое дело... хороший, сосновый был, смолили мы его, дух какой шел, солнышком разогреет. А от железа какой же дух! Ну, теперь зато поспокойней с этим, а то, бывало, как ледоход подходит, — смотри и смотри, как бы не снесло напором... ледобои осматривали зараньше. Снесет то если? Ну, новый тогда ставим, поправляем, вот и работка нам, плотникам. Папашенька то? Хорошо плавает. Его наш Мартын... помнишь, сказывал тебе про Мартына, как аршинчик царю нашему, батюшке Александру Миколаичу, вытесал на глаз? Он и выучил плавать, мальчишкой еще папашенька был... он его с мосту и кинул в реку, на глыбь... и сам за ним. Так и обучил. Нет, не Кинга его сперва обучил, а Мартын наш, я-то знаю. Кинга это после объявился. Теперь он капитал нажил, на родину вон уезжает, папашенька говорил. Ему Куманины почет оказывают какой, на обед позвали, папашенька поехал нонче тоже: все богачи будут, говорит. Ну, какой-какой... обнаковенно какой, Кинга... англичанин. И верхом обучал ездить, какие ему деньги платили господа! А наши казаки лучше его умеют. Это всё пустяки, баловство. Господа набаловали.

— Какие господа набаловали?

— Всякие. И барин Энтальцев, пьяница-то наш, тоже баловал, когда деньги водились. И Александров-барин, у которого стоячие часы папашенька купил, от царя были, и тот баловал, покуда не промотался. Вот теперь поедет Кинга к себе домой и будет говорить ихним там — какие деньги везу, сто тыщ везу, набрал от дураков, плавать их учил. Вот какую славу заслужил... за что! Я его помню годов тридцать, у него тогда только дыра в кармане была. Нашему Мартыну-покойнику никакой славы не было, а он лучше его умел. Вот и скажи, с чего такое ему счастье? От неправды. А вот, от такой. Ну, что-о за охальник, за Дениска! Не балуй, что ты, всамделе?.. Машку-то в Москва-реку пихнул. Нет, уж больше не возьму ее на реку.

— А почему она за Дениса замуж не выходит? Он тогда ее будет всё в Москва-реку, да? боится она, да?..

— Понятно, боится. Дурочка, ишь, гогочет. Как городом-то мокрая вся поедешь. Иди, сушись у огню, глупая.

Маша ругается на Дениса, хлещет его бельем. Бежит к нам, а юбка прилипла, все ноги через нее видно, не хорошо. Горкин плюется, — «бестыжая», говорит, — «глядеть страм!». Маша садится у огонька, захлестывает мокрую юбку на ноги. Горкин отчитывает Дениску, грозится всё доложить хозяину, говорит:

— Мне, старику, и то зазорно, не хорошо глядеть. Поду-май своим мозгом, — тычет он себе в лысину, — разве можно так с девушкой, в хорошем доме служит... и ты солдат, порядки знаешь. А тебя, дура, я приструню, тетке пожалуюсь. Я этого дела не оставлю, повадки твои давно вижу.

От машиных ног дымится парок, — от огонька, от солнышка. Горкин велит Глашке, белошвейке, которая приехала тоже с нами, бежать домой, принести от Марь-

юшки-кухарки платьишко для мокрой дуры, только не сказывать, Господь с ней, больше она не будет. И Маша просит — «голубушка, принеси, с голубенькими цветочками какое, в гладильной у меня висит... оступилась, скажи». Денис приносит из домика-хибарки, у которого стоят, выше крыши, красно-белые весла, новую рогожу и накрывает Машу.

— Вот тебе шуба бархатная, покуда рогожи не купил. — И заливается, глупый, хохотом. — Будешь тогда корова в рогоже, всех мене дороже!

Горкин велит ему итти на плоты, заниматься делом, покуда не прогнали вовсе. Спрашиваю: «нет, ты скажи, от какой неправды?».

— А-а... Кинге-то такие деньги? Известно, от неправды. На моих глазах было. Давно было, тогда Кинга молодой был, только приехал, в конторщики на заводе, к англичанам. И надумал плавать-выламываться. Александров-барин ему и помогал. А как дураков нашел, — и с завода расчетался, сам по себе стал. Ну, вот, раз и навернись к нам, на Крымский Мост, в эту пору вот, годов тридцать тому, папашенька еще мальчишкой был, в Мещанское училище ходил. Чинили мы мост, после половодья. И дедушка твой был с нами, Иван Иваныч, покойник, царство небесное. Перестилаем мы мост, работаем. А тут Кинга и навернись... давай нырять, показывать себя ребятам нашим. Стал форсить, а с ним Александров-барин, горячит его, ругаться учит, честное тебе слово. На смех всё. Самыми нехорошими словами. А Кинга-то не понимает, англичан он... и ругается... думает, может, хорошие слова говорит... Я тебе этого не скажу, какие он слова кричал... ну, зазорные слова... Ребята гогочут, задорят его, понятно, тоже ругаться начали, кроют англичана. Дедушка воспретил уж, не любил зазорного слова. А барин всё задорит, покатывается, выпимши, и бутылка с ними. А Кинга весь полосатый, как матрос,

для купанья приспособлено у него. И кричит: «дураки-мужики!.. вы, — кричит, — такие-едакие... ... вы собачье!» — вот тебе слово, хорошо помню. «Выучу вас плавать, ...собачье!». Дедушка рассерчал, кричит ему: «ты у меня не ругайся, а то ребята мои тебе законопатят глотку! а ты, барин, не подучай англичана лаяться, они и так собаки, без подучения!». Не любил их, — «они, говорит, нашу землю отнять хотят», — знал про них. Хотел наш плотник в Москва-реку прыгнуть, успокоить их, — дедушка воспретил, скандалов не любил: «собака лает — ветер носит», — сказал. А Кинга кричит свое: «все русские дураки!» — Александров-барин научал его, гоготал всё. Тут Мартын встал, силач был, страшно смотреть... — «утоплю обоих сейчас, искупаю!» Я его схватил, несдержный он, а меня слушался... сказывал я те про него, — на меня полагался, доверялся. А они кричат: «четвертной даем, вызывает Кинга любого, наперегонки с ним до Воробьевки!» Работаем, нельзя, при деле, хозяин здесь. А они свое: «а-а, испуга-лись...» ругательное слово, обидное, значит — обморались, вежливо сказать. Всё Александров-барин, а тот лопочет за ним, как глупый, думает — хорошие слова, ласковые, кричит: «не можете против англичана выстоять, он вам накладет!» Тут дедушка топнул в настил, го-рячий... — «Братцы, кричит, неуж мы ему не утрем сопли?! Красную от себя даю, кто возьмется?..» Робят семеро было нас; стариков четверо, со мной, да с Мартыном считать, нам сорок уж годов было, с малым... один хромой был, нога проедена до кости, костоед был, да двое парнишек, годков по семнадцати. А Кинга в самом соку, грудища какая, складный весь, рыжий на щеках бу-рдушки небольшие, рыженькие, как у кондитера нашего, у Фирсанова, поменьше только, состригал он, морда в веснушках... — прямо, в цирки показывать себя мог. А до Воробьевки версты три, да супротив воды, а напор сильный. Думаю — не выдержать мне, сухощав я. А загорелось сердце, не из

корысти, а обидно стало. А Мартын молчит, топориком тешет себе. Молчим. Ну, дедушка видит — отзыва нет, — тоже замолчал. А они донимают: «не можете, он в Питере всех матросов перестегнул, у него три медали с разных земель, прыз золотой, ку-да вам, крупожорам!» А Кинга выкручивается! То стойком плывет, то головой вниз, то колесом пойдет, на манер парохода... что говорить, форменно умел плавать, по-ученому. И голенастый, как Мартын наш, моложе только. Махнули мы на них: Бог с ними, не наше дело, он по воде хорош, а мы топориком хороши. А Мартын свое думал. Гляжу, защепил топорик... — «Берусь, коли так. Смолоду хорошо умел... ну-ка, тряхну!» Я его за рукав — «да что ты, старик... сбесился, страмиться-то?» А он водочкой зашибал, сказывал я тебе, и сердцем жалился, — «Пусти, померюсь!» Даже задрожал, лик побелел. — «Не утерплю, пусти». Стянул через голову рубаху, порты спустил — бултых, с мосту, на самую глыбь, в напор, — так все и ахнули. Выкинулся, покрестился... — «ставься, кричит, такой-сякой... покажу тебе крупожора!» Дедушка твой картуз об-земь, «ставлю, кричит, за Мартына четвертной! валяй!

Маша даже взвизгнула под рогожкой, очень нам интересно стало. И Денис подошел, послушал.

— А вот и не скажу... — засмеялся Горкин. Стали мы упрашивать, а он уперся: не скажу и не скажу, за ваше безобразие. Ну, Маша упросила: «кресенькой, дорогой, скажи-и... не буду больше», — крестил он ее, сирота она была. — Ну, ладно, глупая, бестыжая, прикройся, а то застудишься».

Денис подбросил в огонь щепы, даже смолы подкинул.

— Ну, струмент побросали, побежали мы на берег. Дедушка крикнул нашего портомойщика, лодки чтобы давал, две лодки большие, свидетели чтобы плыли. В одну меня взял с парнишкой, в другую Александров-барин с

двумя ребятами посели, а остальные берегом побежали, и бутошник с нами побежал, службу бросил. А Кинга ощерил зубы, во-какие костяшки, с гармоньи лады будто, кричит: «чего старика послали, помоложе нет?» Он по-своему кричал, а барин нам говорил. Ну, дедушка им — «на тебя и старика нашего хватит!» А Мартын большой был силы: свайную бабу, бывало, возьмет за прошину середним пальцем и отшвырнет, а в ней к тридцати пудам. С Волги мы с ним, к водяному делу привышные. Стал Мартын вызывать Кингу на стрежу, на самую бырь. Велел дедушка лодкам по стреже держать, ход указывать, без обману чтобы: всурьез дело, четвертной закладу, да и обида от Кинги нам. Дедушка в ладошки хлопнул, — по-шли, голова в голову, саженками. Смаху Кинга его обплыл, по сех пор вот выкидываться пошел, по самый пуп, на пружине чисто его оттуда вышибает, ско-ком... глядим — эн, уж он хлещет где! И то стояком, то на спинку вывернется, то боком — лик на нас завернет, защерится — смеется. А Мартын всё саженками, вымеряет, не торопясь, с прохладцей, чи-сто-отчетливо, будто сажнем накидывает. Мещанский Сад проплыли, к первой градской больнице стали подплывать, — просветец маленько поубавился, стал набирать Мартын. На веслах гоним, насилу поспеваем, Мартына задорим все. Иван Иваныч ему к красной своей еще пятишну накинул, — только не удавай зубастому! А Мартын нам кричит: «вот робята... под Нескушным к бережку возьмет стрежень, ключи там, водичка похолодней... способней будет!» А верно, к Нескушному и с-под берега, и со дна ключи бьют... народу сколько там потонуло, судорга там схватывает, опасное там место. Дедушка кричит, знал тоже: «не отставай, робята, место тут пойдет опасное, в случае багор готовьте». Как же, багры при нас. А что багры! Бырь, схватила судорга, он камнем ко дну, его нижним напором снесет, — и не ущупаешь. Я и сапоги скинул, готовлюсь. К Нескушному, гля-

дим, Мартын наш совсем поровнялся с Кингой, чешет, как на парах, колесами набирает, головой вниз, волну режет, дело сурьезное, Кинга уж и оглядываться не стал, не выкомаривает уж то-се, на саженки тоже передался, плывет чисто, залюбованье. Дедушка, го-рячий, покойник, был, даже побелел, губы дрожат, на лодке не усидит: «Мартынушка, голубчик... поддержи честь-славу... пятерку еще набавлю!» — двадцать уж целковых наобещал. А по берегу робята гонят, Мартына подганивают. И огородники бегут, и девки-бабы, и бутошник наш от мосту, и про службу свою забыл, разобрало-то. А Мартын наш — вот-вот настигает, за ногу уж хватает Кингу, кричит: «стой, рыжий пёс... иде у те пятки, дай — погляжу!» А плыть еще больше версты, самая бырь пошла, к ключам подплываем, Нескушный вот. Грачи шумят, гнезда у них на березах по берегу, и вода поглубела, почернела. Александров-барин, как увидал — Мартын-то наш накрывает Кингу, из бутылочки водочки глотнул, Кингу показывает, кричит по ихнему, трясет бутылкой, задорит, духу дает. А Мартын уж перекрывавает, голова в голову. Тут барин... — а он на руле сидел, — стал напрорез воды править, от напору Кингу укрыть, легче, чтобы, хитрый такой. Ну, мы закричали, — «не балуй, а то по башке веслом!» Понятно, все разгорелись, на спор идет. А Мартын уж перестегнул Кингу, справа набирает, кричит нам: «сейчас его в лбище пяткой, сукина кота!» А Кинга уж не смеется, се-рая морда стала, захолодал. Ждем — сейчас его на ключах возьмет, пожалуй, что-то он ногой стал мотать, — высунет, помотает, опять высунет. А Мартын на спинку перевалился, ноги нам тоже показал. Никак и у него что-то, ноги-то показал?! А это он — баловаться стал, разогрелся. Опять на грудь повернулся, стал по пояс выскакивать. Выкинется по самый пуп, по грудям себя шлепнет, крякнет, для прохлаждения, — опять стремит. Тут и случилось... Выкинулся Кинга колесом, канул головой вниз,

чисто живая рыба, — и нет его, и пятки не увидали. С минутку прошло, — нет и нет. Потоп! Кричим — судорга свела, потоп! И Мартын услыхал, перепугался, бросил плыть, на спинку повернулся, передыхает. Дедушка кричит: «засудят нас теперь, черти! спасай англичанина, серию даю, спасай!» Ну, тут все, рубахи долой, — в Москва-реку! И Мартын нырнул, и я тоже. Глыбко, а до дна достал, цапаюсь за песок, вода, сту-деная, невтерпеж, ключи. Видать, как робята шарят, Кингу ищут. Выкинуло меня на волю, слышу — кричит дедушка, обкладывает Кингу, страсть осерчал: «жу-лик, сук-кин кот! эн, он где чешет... нырнул, зубастый!» Тут-то мы и поняли: на хитрости он пустился, напугать нас. Мы-то, дураки, проваландились сколько, его искамши, а он под водой, по дну плыл сколько — не задохнулся... вперед и вынырнул, сажен на двадцать! Мартын-то покуда его искал-нырял. И поустал Мартын, занырялся-перепугался. Дедушка кричит: «а ну его к лешему, за него еще ответишь, потопнет ежели... с квартальными не разделаешься! будя, назад, отдам ему четвертной билет!» А Мартын — «Не-эт, батюшка Иван Иваныч, я его не отпущу так... я его за обман такой... достигну, я его замотаю, зубастого... Я их обеих дойму!» Упрямый Мартын был, настойный, не сговоришь с ним, как до сердца дойдет. И мы стали просить хозяина: не дадим потопнуть, не беспокойтесь. Опять погнался Мартын за ним, скоро опять накрыл. К Андреевской Богадельне стали подплывать, самая-то где бырь, заворот там, — Кинга опять нырнул! Крикнули мы Мартыну — «гони, не стой!» а сами опять в Москва-реку, нырять-шарить, всамделе не потонул ли. Нет Кинги! Нашаривали-нашаривали... — нет и нет. Выкинулись — и напереди нет, нет от него обману, потопнул. Вот мы перепуга-лись!.. А Мартын не знает, плывет, эн, уж где. Кричим — «потопнул Кинга, на-зад!» Дедушка сам не свой, за голову схватился: — «Пропали мы! Человек из баловства потопнул да еще

англичан, не свой, власти за него ответят!» А бутошник с берега кричит: «эн, он где, отнесло куда!» А он — назади, сажен сто, на спинке отдыхает, к берегу поплыл, на огороды. А за ним и Александров-барин, с его одежей, ребятам к берегу велел гнать. Тут мы все и закричали — ура-а! Шабаш. Мартына воротили, на лодку приняли, дедушка его расцеловал-заплакал. Очень перепугался. Дедушка-покойник полицию смерть не любил, боялся. Ну, влез Мартын, ничего: «водочки бы, говорит, теперь, согреться». Своротили к Кинге, а огородники нам уж штоф волокут, на огородах у них дом-то, знакомые нам, отец Павла Ермалаича, — кого знаешь-то, капусту нам поставляет. Выпили, соленым огурчиком закусили. А Кинга на травке сидит — зубищами стучит. Александров-барин ему из бутылки дает, ро-мовой. Мы к нему — давай четвертной! А он молчит, Кинга, не понимает словно. Ну, дали отдышаться: давай заклад! Всё молчит, только бу-рдышки свои гладит — щерится. И барин Александров молчит. Бутошник подошел, говорит: «что вы, махонькие, всамделе, что ли... давайте четвертуху, я сам слыхал, как рядились». Ну, послушался бутошника барин, вынул из кинговых брюков кошелек, а там и всего-то целковый с мелочью. Как так?! А это его Александров-барин подучал, кричать то, а он сам еще не понимал нашего разговору... это уж он после в славу-то пришел, сто тыщ нажил, — сколько он... годов тридцать жил? — с купцов нажил наукой, теперь на родину собирается. А тогда только расходился. Ну, ничего он не понимает, не сказывал ему барин, что четвертной-то. И барин то прогорелый. За барина мы — давай. А у него полтинник только, глазами хлопает. Робята говорят — бить их надо, поучить. Ну, дедушка плюнул, сказал господам: «э-э, дрязгуны вы, мразь-мзя! не потоп хоть, и на том спасибо». Дает Мартыну двадцать рублей, обещанные, и еще четвертной, за Кингу. Только Мартын не взял, — это не порядок, говорит. Значит, не вышло де-

ло. И награду не взял. «Ни мое, говорит, ни ваше, а выставьте нам для удовольствия ведерко водочки на артель». Весь день ребята гуляли на огородах. Нет, Кинга потом прислал... пятерку прислал. Больше уж и к мосту не показывался. Ну, а после разжился, теперь его рукой не достанешь, как поднялся. Вот он, с какой правды-то капиталы нажил. А его вон обедом Куманин угощает, и папашенька поехал. А у Мартына нашего... — помер, царство небесное, рассказывал я тебе намедни, — царской золотой только и остался, в долони зажал — преставился. Вот те и правда вся. Ну, т-а-м воздастся, правильней нас Господь. Да что еще-то... К мосту мы воротились, а струмент наш, бросили-то мы... жулики и покрали, все сумки наши, и пилы, и топорики... всё свистнули. Бутошник убежал — они и покрали. Ничего, не ругался дедушка, — «моя, говорит, вина», — справедливый был человек.

Отъезжаем с выполосканным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижу *тот* мост, приятный, который пахнет смолой, леском, — живой мост... и живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю у Горкина:

— А тот мост лучше... деревянный лучше, правда?

— По-нашему, деревянный лучше. Хороший, сосновый был, приятный. Как же можно, дерево — оно живое дело. Леском от него давало, смолой... солнышком как разогреет... а от железа какой же дух! А по тебе какой лучше, железный ай деревянный, наш?

— Наш, деревянный, лучше... приятный.

Ноябрь, 1934 г.

Париж.

НЕБЫВАЛЫЙ ОБЕД

У нас в доме большая суматоха: небывалый обед готовят, для англичанина, — за Гаранькой из Митрева трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина: «это почему, небывалый? он важный, англичанин? на царя похож, а?» А он сердится, говорит: «еще чего скажи — на царя... набрал денег с дураков, а ему уважение!» — «С каких дураков, почему?» — «А, ну, тебя... папашенька еще услышит».

Сам Василь-Василич побежал за Гаранькой, только вряд ли захватит свежего: воскресенье; — Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете — отец с Фирсановым. Как парадный у нас обед, — всегда Фирсанов. Войну праздновали, когда Скобелев Плевну взял, — тоже Фирсанов был. Он сидит на диване; во рту сигара, — прыгает под губой, — и я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым; отец не любит, и жавороночку вредно, но Фирсанов смолоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами, — такой дух от него, кондитерский. Английский обед Фирсанов готовить не берется, может только сервировать; взял бы, пожалуй, Лабунова, от графа Шереметьева, да тот, на грех, к Преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька.

— Справиться-то он справится, а сами знаете, какой человек... каверзник самондравный, зато и из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от Бога. У князя Долгорукова жил — и то — нагрубил, гене-рал-губернатору! Его князь в двадцать четыре часа

из Москвы выкинуть грозился, да... очень, подлец, расстегаи хорошо умеет, нет-нет и посылает за Гаранькой, два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силой не заставить... хоть в Сибири, говорит, сгноите, вон какой. Как уж он год у Судака-паши продержался... на Зацепе у нас Судак-паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке.

— Он, с... с..., говорят, кошек ему зажаривал.

— Кошек не кошек, а галку за рябчика подавал. Такой ему дар от Бога.

Отец говорит, что купечество уважило англичанина, на прощанье, и ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести: поедет к себе, будет рассказывать про Москву.

— И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо. Губонин в Московском его кормил, Куманин на французский манер, всякие салаты были, а я хочу его удивить, в сюрприз, настояще-английским угостить.

Просовывается в дверь вихрастая голова Василь-Василича, глаз весело стреляет, распухшее лицо красно, — Косой уж успел заправиться.

— Привел-с, — шопотом говорит Косой, славно какую тайну, — свежего захватил-с... — и радостно встряхивает хохлом.

— Ты чего радуешься? — говорит отец, — запраздновал? Давай Гараньку.

Выходит рыжий взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие, калоши на босу ногу; в волосатом кулаке картуз с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие; худой, высокий, — живой разбойник, Горкин его всё так.

— Ну, вот я... — говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки.

— Э, Гараня... — трясет бакенбардами Фирсанов, — порядка не знаешь, не здороваешься? В дом тебя позвали, а ты с Хитрова рынка чисто.

— Ну, здрасте... — нехотя говорит Гаранька. — А не нужен, дак я... — и он поворачивается боком.

— Ненужен — не звали бы, — говорит отец. — Английский обед можешь?

— Чего-ж не мочь! — через губу говорит Гаранька. — У Судака-паши не то готовил. Вам как... парадный или простой?

— Парадный. Англичанина провожаем, известный человек.

— У-у... самый английский? — мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть калошу.

— Нет, сперва проспись, после поговорим! — говорит отец, хмурясь.

— Это как же?.. — встряхивается Гаранька, дерзко. — Не желаете, могу и уйтить!.. — и опять повертывается боком.

— Вот за что тебя из дворца прогнали... — грозится ему Фирсанов, — за твои каверзы! А ломаешься — Лабунова возьмем.

— Зовите Лабунова. Беспокоите только... Ла-бу-нова!.. — и он уходит.

— Вот, с... с...! — говорит отец, и сбрасывает костяшки-счеты.

— Дозвольте доложиться-с... — просовывается Василь-Василич. — Не ушел-с, сейчас обойдется... маленько не при себе, не свеж-с.

— Настояще-английский вам? — слышится за Косым, — когда изволите?

— Одумался? Завтра надо.

— Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов — первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем — сомовины возьму, под лимончиком с синдереем, уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, захреновым. Индейка, опять под синдереем... можно и баранье филе, под чесночок, соус мадерный, с диким медом на битых сливках, желе брусничная. Ну, пудинги, понятно, с пламем... да уж, послов кормил! Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно...

— Это уж Фирсанов оборудует.

— Дозвольте, скажу-с... — просовывается голова Косого, — горькую шибко уважают, с перехватцем-с!

— Для ихнего сыру... рябчиков тертых, печенков, на коньяке. Зайчий пирог... да без зайца обойдусь: паштет из рябчишной требухи — не отличишь. Хотите — сами по моему леестру, а то я в Охотный могу?.. Сами. Только полная, чтобы воля мне, подручных и медную посуду, очистить кухню... окромя положеного, две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю! — и, мотнув головой, уходит.

— Ах, с... с... — говорит отец.

— А во дворце-то как мучились... — говорит Фирсанов, — главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели... выгнали-таки.

— Дозвольте сказать, — опять просовывается Косой, — господин Энтальцев, поздравлятель... приятели с Кингой. — И могу, говорит, для конпании, для разговора, умеет по-ихнему... у Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал, с Кингой. Просится пообедать, для разговору.

— Вон что. Хорошо бы, правда... — говорит, обдумывая, отец, — у Куманина гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромлея. Хоть и может Кинг

по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился... и одежи у него нет приличной. Ну, можно, ему сюртук дать.

— Теперь одетый ходит, после тетки тыща рублей ему досталась. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте.

— Пусть вечерком зайдет, посмотрю. Хлопочешь... вместе теткину тыщу пропиваете, знаю тебя!

— И никак нет-с, разок только угостил, по случаю тетки.

В кухне шумит Гаранька. Марьюшка даже образа вынесла и гераньку, сидит-пригорюнилась в передней, без причалу, вздыхает-шепчет: «нечистая сила, окаянный»! Я показываю ей, в утешение, картинки в поминаньи, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку: «вон *он,* в аду горит... живой Гаранька! и рыжий, и глаз зеленый, злющий... такой же окаянный». В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как шпареные, затылки всё потирают: скалкой Гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита так и полыхает, — как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на-цыпочках, поднявши руки: «ох, чего вытворяет, мудрователь!» Затребовал льду корзину, дров, чтобы без сучка, березовых... такой леестр прописал — половины в Охотном не достали, к Андрееву погнали, на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меду палок, перцу самого едкого, хвостов бычачьих... на рябчиков и смотреть не стал — «с прострелом, не годятся!» На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал... Поварята визжат: «мельчей колите, в лучину велит щипать!» — дровами недоволен. В

кухню войти — Боже сохрани! Дворник носил дрова... — «глядеть страшно, говорит... — ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед!» Все говорят: «он и так-то въедлив, а как при деле — и не связывайся с ним лучше, ножом запорет». Я и к кухне не подхожу.

Вечером, Горкин со скорняком сидят под сараем на досках, что-то всё шепчутся. Я спрашиваю опять, почему обед небывалый, а Горкин только: «папашенька чудит, не наше с тобой дело». Скорняк говорит: «им не обед, а по шеям бы... мы турков победили, а они нам навредили!» Я спрашиваю — «кому по шее?» А Горкин сердится: «нечего тебе встреваться». И вдруг, из кухни бежит Гаранька! И — прямо под колодец. Кричит Косому: «качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и, из горлышка — буль-буль-буль. Глаза у Гараньки страшные-кровяные, на фартуке — нож огромный, болтается. Садится на доски, страшный. — «Перцем этим глаза проело... Капризные, черти. Каждый человек ест и хвалит, а энти... всё не по их, Навидался во дворцах послов этих! Он не глядит на тебя, а... мычит, с... с... такой-сякой я, первый человек»! Скорняк уважительно говорит Гараньке:

— И вот что, обратите внимание... почему они нам воспрепятствовали? мы турков победили, а они...

— Дармоеды, больше ничего! — кричит страшным голосом Гаранька, и опять булькает. — У Судака жил... галок им подавал, ло-пали! С ими, как надоть?.. Ло-пай! А то — к лешему под хвост!..

— А ему почет-уважение, обе-ды! — говорит Косой. — На наших глазах вылупился. Панкратыч знает, как Мартына обманул... перешиб его наш Мартын, на

Москва-реке плавали. Господа избаловали, сто тыщ вон нажил, ездить учил! Без его не уме-ли... Десять годов тому казаки наши на Ходынку его заманивали, сто рублей закладу: пожалуйте потягаться, можете скусить гривенник с земи, на всем ходу? А наши скусывают. — «Желаете скусить?» — «Не желаю. Не желаю морду об земь бить... у вас морда казенная, а у меня заморская». Хитрый, отказался. Пальцы-мейстер умолял, Козлов: «Господин Кинга, скусите гривенничек, покажите ловкату!» Казаки ему вперед давали: «на суконку гривенник положим, морды не повредите, докажите!» Не стал, не может. — «Я, говорит, по-ученому учу». Набаловали. Сто-о рублей на день выгонял! Барин Александров вдрызг прогорел, с ним крутился, все дороги ему открыли. И господин Энтальцев, пьяница наш... тоже весь израсходовался. Они вон кончились, а Кинга сто тыщ набрал, и почет-уважение ему. Чудит папашенька... — говорит мне Василь Василич, пыряя глазом, — а ты не сказывай, чего Косой говорил... мы промежду себя говорим.

— Чего-ж чорту такому в брюхо еще пихать? — кричит Гаранька, а Горкин ему ласково: «не шуми, не шуми, Гараня». — Не шуми... Знал бы — не взялся бы нипочем... из уважения только к заказчику. Три ему перец, чорту!.. Вся охота у меня пропала. Чертенята мои как бы чего...

Булькает из бутылки и уходит шуметь на кухню. Поварята, выглядывавшие в окошко, скрываются. В воротах показывается господин Энтальцев, в чесучевом пиджаке, в шляпе и с тросточкой: идет, помахивает. На нем даже и воротничек крахмальный, и помолодел будто, только нос еще больше раздулся и посинел, и серые мешочки под глазами обвисли ниже.

— Легок на помине, — говорит Косой, — садитесь господин Энтальцев.

— А, милашка... — сипит Энтальцев и треплет ме-

ня по щечке, — доложи папа, Валерьян Дмитрич, мол, по приглашению, для разговора.

— Я доложу, — говорит Косой, — не беспокойтесь, дело ваше на-мазу, пировать будете, сюртучок вам, и жилетку бархатную, в цветочках, подобрали.

— Погляжу, пойдет ли еще мне. Сигар, главное, не забудьте, англичане без сигар не могут. Бывало, курил — целковый штучка!

— Вот и прокурился.

— Не прокурился, а... благодетельствовал. Кингу, бывало, на сапоги давал, а вот — двести тысяч от нас везет! Встречаю намедни — дай четвертной, до завтра... деньги в банке, банк на замке, праздник. Трешник! Ну, не сквалыга?.. Чорт с ним, приду на пир, доставлю удовольствие, для шику.

Горкин крутит головой и машет: «а, грехи с вами!» — и уходит к себе в каморку.

Съезжаются к обеду — Кашины, Соповы, Бутины-лесники, Болховитин-прасол, — в длинных сюртуках, важные. Барыни, в шумящих платьях, в шалях, с золотыми длинными цепочками в передвижках, рассаживаются в гостиной. Фирсанов оглядывает парадный стол, заваленный серебром и хрусталями. Из коридора мне видно, как Энтальцев сидит под фикусом и потирает руки, а то заведет пальцы за пальцы и потрещит, покрякает. Оглядывает на себе сюртук, голубой бархатный жилет в цветочках. Смеясь, спрашивают его — «от Живого или от Мертвого?» Это такие магазины. Он потягивает повислый ус и старается рассмешить, — стыдно ему, как будто: «не пора ль нам, братцы, выпить? Не пора ли закусить?» Говорят — пора, да Кинга вот за-

поздал. На парадном кричит Косой: «Кингу привезли, примайте!» Отец говорит: — «Пантелеймона, что ли привезли... примайте!» Входит Кинг, в важном сюртуке и в серых брюках, лысый, сухой, высокий, в рыжеватых бачках, ставит палку с собачьей головкой, и его ведут в столовую закусить. Энтальцев расшаркивается с Кингом, Кинг смеется: «а, ма-шейкин!» Отец подбадривает: «разговаривай, не робей». Официанты юлят, с тарелочками. Энтальцев причмокивает: «Ам-брэ с гвоздичкой!» — и говорит — «альон!» — должно быть английское словечко. — Говорят — «нальем!» И Кинг говорит, совсем хорошо — «выпьем». Фирсанов просит: «самый английский сыр-с, с синдереем-с!» Наливают Кинге «можжевеловой», которая называется по-английски — «жин». Энтальцев пристает к Кингу: «скажи — можжевелка!» Говорят — «а ну-ка, выверни!» Кинг говорит — «мижи-мелка!» Смеются — мышья-елка. Энтальцев ходит с двумя бутылками, напевает «Стрелочка»: «я кочу вам наливайт, наливайт, наливайт...» Косой за дверями шепчет: «сейчас нарежется, никакого разговору от него не будет». Черный Кашин, крестный, кричит Энтальцеву: — «Варя, шпарь ему по их!» Энтальцев говорит быстро, знакомое: «ангки-дранки-дивер-друх-тибер-фабер-тибер-пух», а сам приплясывает. Кинг лопочет ему — «гау-лау», а Энтальцев наперебой: «зендель-вендель козу гнал, Кинга денежки забрал!» Покатываются, кричат: «загвазживай!» Кинг берет Энтальцева за нос: «ти зулик, ма-шейкин!» Энтальцев говорит в нос: «все родимые слова знает, обучили мы его с Васькой Александровым... скажи — «чорт!» Кинг устраивает губы, чтобы свистнуть, и выговаривает: «тчарт». Потом говорит — «а ти... ши-тра-па!» Фирсанов просит «опробовать самое которое англичаны уважают, зовется «спай-де-нас», — все послы кушают, повар нахваливает». Говорят: «а ну, каков-таков «спать-не-даст»? Кинг пробует вилочкой что то густое, красное, пучит глаза и набирает духу. Гово-

рит, поперхнувшись: «у-у... казица... пи-пик... соус наш!» Пьет «можжевеловку» и набирает себе «пики-пик». Пробуют и другие, говорят: «у, злющий, не продохнешь». А Кинг ест с удовольствием, хрипит: «не весь мокут пик-пик наш!» Энтальцев тоже накладывает «пик-пик», — не то едали! Хвалит — облизывается: «медом... маслится хорошо... под него море выпьешь!» — поглаживает жилет. Отец отводит его подальше. Кинг накладывает еще «пи-пик-у», говорит — «ма-шейкин», — хорош.

Двигаются к обеду, в залу. Подают суп из хвостов «заячий пирог». Нахваливают, такого никогда не ели. — Кинг говорит: «эта такая... как ват, мякий гразь», и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, всё крякает. Пахнет от него водкой, глаза остановились, страшные. Всё уходит в столовую, закусить. Несут сомовину с красным соусом, потом индейку под синдереем... У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят — «ну-ка, поговори!» Энтальцев встает со стаканчиком и начинает — по-английски: «гаулау... мики-вики... дую-вздую...» — как самый настоящий англичанин. Косой шепчет: «гляди ты, как отличается». Все смеются, Кинг говорит — «ти... ма-шейкин!» Несут «пудинг с пламем», самое главное, — на серебряных блюдах башенки, румяные, в пупырьях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно — «браво, наш поддинг, ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в залу и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся! Ничего, потушил Косой, вернулся ко мне, говорит: «всё во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать. Шампанского! Хлопают пробки. Тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную, на кофе. Кинг разваливает-

ся в креслах, закуривает «царскую» сигару. Всех обносят сигарами. Берут «на память» и некурящие. Энтальцев сует в карманы. Стелется облаками дым. Разносят кофе с какими-то «кеки-пряниками», на ананасе. Кинг в восторге, кричит — «сами ма...шейкин!» — значит, очень уж хорошо. Мы с Косым пробуем за дверью: совсем не пряники, а кулич с вареньем и миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит: «идем, пропой англичанину песенку, мастер ты». Приносит и ставит перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит — «на костинцы, на чай... купи сахарни-сладки... спей песеньку-маленьку... бау-бау». Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю — «ах, попалась птичка, стой», смотрю в пуговку на животе у Кинга и вижу, как он... уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю — «отпустите полетать, развяжите сети....» — и вдруг жилет поднимается, и серые коленки идут куда-то... Говорят — «чего-то с ним, смотрите, какой!..» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот. Просит — «ведите меня... пожалиста... очень скоро... непотерплю». Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот, все давятся говорят: «это вот угостили, по-английски!» В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат: «не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводят кверху, в другое место. Отец отчитывает Косого: «чего заперся, мошенник?» — «Ну, мочи нет!» — говорит Косой, бледный, на себя непохож. Бежит Энтальцев, качается — «ножками режет!» — кричит в сенях. — «Уж не отравились ли, Боже упаси?» — говорят кругом, — «с огнем то ели!» — «Нет, это не от огня, а... пик-пик-то этот... он сколько съел! и барин наш напробовался... с пика это».

Косого официанты уводят в мастерскую: совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли на Хитровом, говорят,

трое вчера скончалось. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят — не давайте сырой воды, дать ему водки с солью. Ведут Энтальцева, укладывают на подушки, на пол. Дают капель д-ра Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином, Эраст Эрастычем. Отец растерян: еще трое недомогают. Клин — в городской больнице, рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше, компресс... Возможно, что и отравились, говорит.

Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит: «перело-жил... дикого меду... три палки...» Это вот в тот, в «пик-пик». Из кухни приходит Марьюшка, кричит: «чего там, он, разбойник... касторка стояла в уголку, верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростал, с озорства, поварята сказали!» Клин говорит — «ну, это ничего, только полезно... да с перцем еще, вот и оказало скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Фирсанов докладывает: «что было — всё Василь-Василич вылизал, очень понравилось».

Уж и было смеху! Так все и говорили после, в поговорку: «смотри, много не ешь, «кинги» не приключилось бы». На утро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ль, себе! Это старуха мне со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божатся — ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семеныч отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она — хоть иконы сымать, всеми святыми божится: «да что я, нехристь какая, что ли? людей травить!»

Так ничего и не дознались.

Декабрь, 1934 г.

Париж.

КАК Я ПОКОРИЛ «НЕМЦА»

Рассказ моего приятеля

Раздавая нам бальники за 2-ю пересадку, «Воронья Головка» насмешливо закончил: «и 27-ой, по-следний... родителям на утешение, решительно развратившийся лентяй...» — и пустил веером через весь класс, ко мне. Бальник метко попал мне в руки, и жирное «27» неотвратимо удостоверило, что я решительно развратился.

— Не всем, конечно, быть Соколовыми... сколько кому отпущено... — продолжал «Воронья Головка» долбить меня носом в голову, — но мог бы и постараться... хотя бы пред-последним!..

— Захотел бы — и первым был! — вызывающе крикнул я.

— При общем смехе, надзиратель пригрозил вызвать меня на воскресенье.

Ничего удивительного не было: я не учил уроков, читал запоем и писал исторический роман из жизни XVI века. Роман начинался так:

«Зима 1567 г. выдалась лютая, какой не запомнят старожилы: налету замерзали галки. В один из дней января, когда термометр показывал 40 гр. мороза, по сугробам Замоскворечья пробирался вершник с притороченной у седла собачьей головой и метлой. Читатель догадывается, что это был опричник. Встречные шарахались в подворотни, а почуявшие запах собрата псы яростно завывали по дворам...».

Дома сестра сказала ужасным шопотом:

— Боже мой, ка-ак ты па-ал!..

И начала наставление о выработке характера, иначе я потеряю уважение окружающих и докачусь до Хитрова рынка, как Евтюхов, стоящий в опорках у Никиты Му-

ченика, против Межевого Института, который он кончил с золотой медалью! Я сказал, что вот же, и с золотой медалью... Но она не дала сказать:

— Да... но с тобой будет еще хуже! Ты превратишься в жулика и, может быть, даже в каторжника!..

Я представил себе, как меня гонят по Владимирке, в кандалах, и все грустно качают головами: «и за что пропал! из-за каких-то аористов и «пифагоровых штанов!». В заключение, она велела мне прочесть книги, которые меня подымут, — знает по опыту: «Характер», «Самодеятельность» и «Труд» — Смайльса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватал ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю и характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась:

— То-ник... если ты только захочешь, ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. Ну, постарайся за 3-ю пересадку... ну, хоть 15-м!..

Я сказал, что буду 10-м даже, только трудно по математике, и еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки. Она сказала, что по математике мне наймут репетитора, а по-немецки займется она сама. Она, сама?!.. Она начнет с самого начала, по Кайзеру... с «рычание льва устрашает человека»!..

— Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь! А это твое маранье... — и она показала мне тетрадку с моим романом, — помни: я изорву в клочки, если ты не поправишься.

Я поклялся, что буду даже 8-м, — «только, ради Бога, не разорви!..»

Зять, межевой, привез инженера Евтюхова, прямо от Никиты Мученика, велел сводить в баню, поприодеть, — «и за четвертной этот гений сделает из него самого Лобачевского!». Смущенный я смотрел на смущенного

тоже Евтюхова: этот, низенький и широкий, в опорках, с клочьями ваты, вылезавшей из грязной кацавейки, с напухшими глазами, головастый, курносый, лысый, похожий на Сократа... — инженер с золотой медалью? ге-ний?!..

Начал он непонятно, с самого трудного: с «задачи о курьерах». Я взмолился, но он прохрипел мрачно: «это моя система! я потащу тебя в необъятные сферы мысли, и ты познаешь великое блаженство!».

Я смотрел на его необъятный лоб, на котором дышала жила, в виде алгебраического знака — радикала.

И он так потащил меня, что математика стала для меня блаженством.

— Жизнь...,— хрипел он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара, — грязь и свинство. Уйдем из нее в необъятные сферы мысли! — тыкал он в воздух циркулем. — Какая красота, когда точка... мыслимая точка, проецируется в своем движении... пронзает бесконечность... молнией!.. Мы поднимаемся до геометрии в пространстве, через полгода — к Лобачевскому!..

За Святки я одолел все трудности. Евтюхов сказал: «ты наш брат! ты а-ри-хмед пока, но через месяц станешь и Архимедом!» Через месяц он пошел за папиросами в лавочку и пропал. Через месяц классный наставник сказал: «по-греческому... четверка?!» — и выставил за Овидия пятерку. Математик выслушал доказательство «пифагоровых штанов» по Евтюхову, прищурился, погонял по всей геометрии, пожал плечами... погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор «задачи о курьерах», по Евтюхову тоже, — и поставил решительно пятерку. Греку я отхватал, сверх заданного, двести стихов из Одиссеи, объяснил все тонкости «гар» и «ге», и костлявая рука «Васьки» вывела мне пятерку. Только Отто Федорыч, немец, ставил всё тройки с минусом. Как ни переводил ему любимые его каверзы — «он, казалось,

был нездоров», «он, кажется, будет нездоров», «он, казалось бы, не был бы нездоров», даже — «он, не казалось бы, что, будто бы, будет нездоров»... как ни вычитывал Шиллера и Уланда, как ни жарил все эти фатер, гефеттер, бауэр и нахбар... — ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза, и румяное, в пятнах, лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием: «ошень ка-ашо, драй!»

Но почему же — драй?!.

Руски ушенник не мошет полушайт фир, немецкий мо-шет.

Соколеф? Он каврит, ви айн Берлинер. Бу-лы-тшоф? Он полюшайт фир с минус: «нихьт айн ошипка ф-диктант». Мне нужен был не фир, а — фюнф; у меня выходило — на первое место в классе, я брал последний барьер с канавой, выходил уже на прямую, но... проклятое это драй! Круглая голова была неодолима: «руски ушеник не мо-шет!». Я ненавидел щегольской галстук немца — зеленый с клюковками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда, расстроганный, декламировал нам, шиллеровскую «Лид фом Глокэр» или «Уранэ, Гроcмуттер, Муттер унд Кинд ин думпфер Штубэ бейзаммен зинд»... — как накануне Тройцы убило молнией четверых. «Жестокий, он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже: «Унд моэн ист... Файэртаг!..» — у, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством «Дер Монд ист ауфгеганген, ди гольдене Штернэ пранген» — драй и драй! — только 2-ое место. Вспоминал Евтюхова: «жизнь грязь и свинство!» На эту тему я написал стишки. А, плевать!.. Просил у сестры роман, но она сказала решительно: «когда докажешь, что...» — «Но у меня же всё круглое — пять и пять!...» — «А по-немецки?..» Я поклялся сжечь Кайзера и хрестоматию Бертэ. Да, задано перевести из Бертэ «Ди Рахе дес Эреманнес». «Мщение честного человека, целых

полторы страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: «это ушасни истори... сами пляшевни... о, тяшоли!..» — и закатил ясные глаза. У, фальшивый!..

Я перевел, выписал слова. Правда, история была ужасная. И я начал переводить... стихами:

Настала ранняя весна,
Златое солнце сильно грело,
В прозрачных рощах не одна
Певица звонкая запела...

Жизнь — грязь и свинство, драй! А вот... —

На берегу глубокой речки
Стоит избушка лесника.
Я был недавно в том местечке...
Избушка та теперь ветха,
Она совсем уж развалилась...

Я вижу, чего совсем нет в Бертэ...

На крыше пять иль шесть жердей
Торчат, как руки великана,
Всё мертво, только пеликана
Гнездо под крышею висит
И о минувшем говорит.

Лесник, по имени Ятамар..., но как же рифма на Ятамар?..

В сторонке горестно лежит
Остаток старого амбара,
И речка быстрая бежит
Вблизи избушки Ятамара.

Я горел до зари, пока не затухла лампа. В слезах, дописывал:

Теперь я понял, что за мщенье
Считает честный человек!
Молю, отец... молю прощенья,
Готов молить его весь век!..

Я уже не мог заснуть, я видел:

Ятамар встречает жалкого старика, набравшего хворосту, чтобы согреться, грозит ему, хватает вязанку и бросает в реку. Старик рыдает. Проходит пять лет. Весна, всё ликует, скоро ледоход. Сын лесника идет из школы. Лед трогается. Из леса выходит старик и кричит: «мост рухнет, остановись!» Лесник бранит старика и велит сыну переходить. Мост рушится, ребенок тонет. Старик бросается и после долгой борьбы со льдами спасает мальчика. Лесник падает в обморок. Старик... Боже, как хорошо!

«Твой сын здоров! очнись, лесник!»
Лесник вскочил и зарыдал:
«Благодарю, о, старец честный!
Теперь, теперь я увидал,
Что ты святой, что я бесчестный...»

Пора в гимназию. Немец на 4-м, как долго ждать!

Стихи — у сердца. Немец «выводит» за 3-ю пересадку...

— От-то Федрыч... позво-льте поправиться!..

— Я сказал, сажайтесь... кругли драй! ви нетофольни?!..

— Но я перевел стихами! Пусть драй... но я хочу прочитать, стихами!..

Он пучит стеклянные глаза. Я показываю листочки, они трепещут...

— Ну, ка-ашо. Будем стлюшайт... стики. Штилль! Шетверть кончен.

А мне всё равно...

В руках он нес ветвей вязанку,
Их собирал он целый день,
Тащил к себе домой, в мазанку,
Устал и сел на старый пень.

— Ошень ка-ашо... сел на пень? Ка-ашо! — и удивленно оглянулся.

Вскипел лесник, увидя старца,
Схватил за шиворот рукой...

— За ши...ши-ворот? Этого нэт, но... ошень ка-ашо!

«Я задушу тебя, мерзавца!
Эй, говори, кто ты такой?»
— «Я честный человек», — сказал
Старик несчастный Ятамару, —
«И топоров моих удару
Никто в лесу здесь не слыхал.
Сегодня рано я поднялся,
Бродил голодный целый день...»

— Та, та... голедни и холетни... — прошептал Отто Федорыч, и на его лице я уловил сострадание.

«Ты лжешь, старик, пустой бездельник!
Еще в запрошлый понедельник
Я липу старую срубил,
А ты, презренный лжец, обманщик,
Украдкой сучья обрубил?..»

Лицо немца всё больше напрягалось. Он прошептал — «ушасно!» — и посмотрел через мою голову, моргая.

«Охотник, Бог тебе судья!
Порубок ты нигде не видел,
Напрасно ты меня обидел...».

— Та, та... о, шю-стфо, шюстфо!

Немец моргал всё больше. По его доброму лицу я видел, что он жалеет несчастного старичка. Нет, он вовсе не фальшивый... и тогда... — «унд мо-эн ист Файертаг»... — он вздыхал искренно... нет, он не фальшивый! И я продолжал, с жаром:

Старик несчастный прослезился,
Рукой дрожащей шляпу снял
И на колени опустился...
И горько-горько зарыдал...
. . . .
...Вязанку взял у старика,
Взмахнул рукой полоборота
и бросил в глубь водоворота.
И в миг исчезло всё в волнах...

Немец прошептал — о!.. — и из ясного его глаза, как будто, выкатилась слеза: он вынул платочек в розовых клеточках и ткнул у глаза. Вот никогда не думал... Но — дальше:

Прошло лет пять. Весна настала.
Вода на речке скрыла лед.
Семейство лесника уж ждало,
Что вот, наступит ледоход.
Сын лесника под вечер раз...

Начиналось самое страшное. Немец вытянул палец...

— Ви... ти писал драма... большой драма!

«Постой, постой!» — раздался крик,
Ребенок вздрогнул, обернулся,
Взглянул — и в страхе отшатнулся:
Из леса выходил старик.
«Меня не бойся, я не злой,
Не зла, добра тебе желаю», —
Сказал старик, — «и заклинаю:
По мосту не ходи домой!»
Мальчик колеблется, лесник... —
«Ага, тебе старик проклятый
Такие страсти насказал?
Ага, мошенник бородатый,
Опять ты здесь? — лесник вскричал...

— О, Поже мой... и мальшик итет... и... — ужасно!..

Мост дрогнул, жутко заскрипел.
Взломался лед, погнулись балки,
С ребенком вместе рухнул мост...
......кипит и пенится вода,
И шепчут волны, злобой полны:
Погиб твой сын, и навсегда!

Немец тычет в глаза платочком. Губы его скосились...

«Мой сын», — кричал отец несчастный,
«Мой сын, мой сын... приди сюда!..»
Не слышен вопль под рев ужасный,
Гудит, кипит, шипит вода.
. . . .
Но, вот и берег. Слава Богу!
Старик приплыл. Ребенок жив.
С тревогой в сердце, понемногу
Ребенку чувства возвратив,
Он на колени опустился
И молча, горячо молился...
«Твой сын здоров... очнись, лесник!».

Немец... закрылся платочком в розовых клеточках... и вдруг, взглянув на меня сияющими, влажными глазами:

— О, шю-ство, шюство! у тепья... руски душ... немецки душ, фесь душ! Тут... — ткнул он в Бертэ, — сукой слово... у тепья шюство, фесь!..

И тут... — мог ли я думать! — он схватил перышко, ткнул — проколол чернильницу, уронил огромнейшую, густую кляксу, чего никогда не случалось с ним, и всем своим плотным телом поставил мне... думаете — фир? Нет: *фюнф!* Мало того: соскочил с кафедры и крепко пожал мне руку. И взял у меня листочки, чтобы читать всем классам. Соколов, в крахмальном воротничке, с масляным хохолком, наклонил в книжку голову: я стал первым! Потом я, правда...

Сестра не поверила, когда я крикнул — «немец — фюнф!» Я перекрестился.

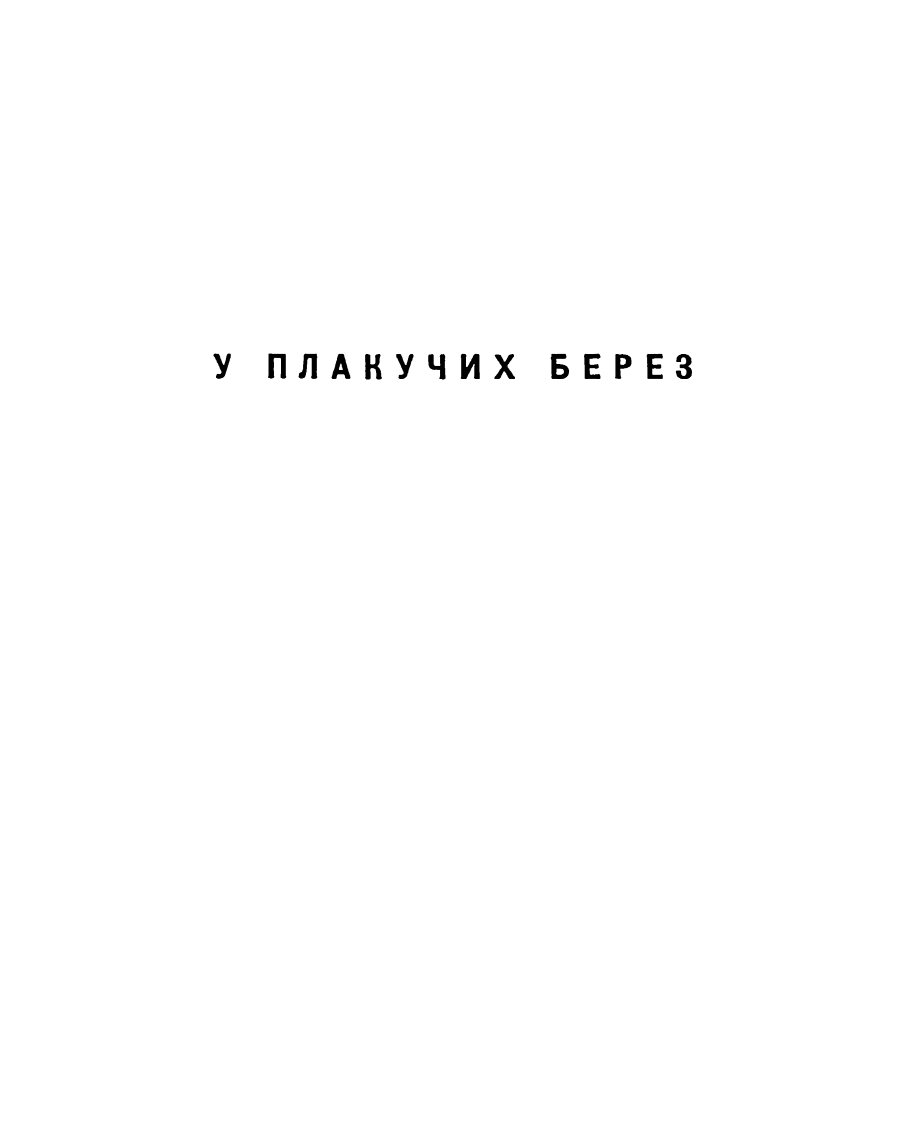
— Вот видишь, что значит воля! Мы все, с самого начала...

Я кричал, что это стихи, мои... чего и в книжке-то не было!.. Она не верила. Однако, всё это правда.

Ноябрь, 1934 г.

Париж.

У ПЛАКУЧИХ БЕРЕЗ



Памяти павшего в бою кап. Е. Е. Пиуновского.

I

Мы идем в дальнюю дорогу, с котомками, с палками, в помятых гимназических фуражках. Впереди — много радостного, впереди — радостная жизнь наша. Идем к Угоднику. Впереди — святое. И кругом — святое: березовые рощицы, на взгорьях; тонкие пики ровного молодого ельника; пробитые лапотками тропки. Вон, в овраге, часовенка. Мы пьем студеную воду из колодца, увенчанного крестом. Над колодцем плакучая береза. Старый монах рассказывает нам и богомольцам о «тихой смерти»: вчера, вот на этой лавочке, сидел старичок, пел молитву и за молитвой помер. И неизвестно — кто он; лежит вон под рогожкой, полиции дожидается, и некому над ним поплакать. — «Только береза плачет... плакучая, называется». Мы смотрим на страшную рогожку, видим мертвые, босые ноги. И правда: плачет над ним повислая береза. — «Ах, горе-то какое... родные и не знают», — говорит жалостливо баба.

А у нас нет никакого горя. Светла перед нами жизнь, и невнятны нам слышимые слова о горе. А оно тут, кругом: и в запеченном лице старушки, и в деревянной ноге старого солдата, который тоже идет к Угоднику. Плачет за рощей печальная кукушка.

Монах ведет нас в часовню, берет с окна книгу и спрашивает, не запишет ли кто «на поминовенье». Солдат вынимает две копейки, кладет на книгу: «пиши новопреставленного Петра... то сын был, а теперь вот остался один на свете». Записывает монах кого-то у старушки. Молодая баба записывает «во здравие» младен-

чика: «Васеньку моего запиши». И другая, с ребенком, выглядывающим из-за холстинки у ее груди, ласково говорит: «и Ванюшечкю мово пиши во здравие».

А мы кого запишем? Приятель подмигивает мне, берет перышко, что-то пишет — за упокой, и читает унылым голосом: «утопшего отрока Сидора и угоревшего Тита». Все жалеют, расспрашивают, как это утонул Сидор, и как же угорел Тит. Мы говорим-придумываем ужасное. Старушка жалеет нас: «горе-то у вас какое, косатики!..»

И весело нам: нет у нас никакого горя, не по нас плачут старые березы, для нас — веселые, молодые. Только отойдя подальше, рассказываем мы солдату, что пошутили, и монах теперь будет поминать Сидора и Тита, которых нет. Солдат говорит: «найдутся... всего будет, мно-го впереди будет». А впереди — веселый ночлег, молодость, молодость без конца.

А впереди — и для нас насадила жизнь плакучие березы. По дорогам стоят они, неведомые нам, опустив плачущие ветви. В тихую пору они неслышно плачут, в ветер — звенят уныло. По тебе они уже отзвонили, товарищ детства. Мои же еще позванивают...

Откатились года назад, — и нет уже будущего без края и неизвестности светлой-светлой.

II

...Я живу на той самой большой дороге, по которой, четверть века назад, бежали мы к радостному — вперед. Я узнаю деревни, узнаю и березовые рощи. Окраины их стали строже, выпустили усталые ветви-плети, плакучие. А зеленое молодое войско елок куда выше подняло строевое свое оружие и потемнело. Но тропки — те же, и люди те же, и так же бредут к Угоднику. Много их идет в это лето. Вижу я крест часовни, погнувшийся шатер колодца. Здравствуй, хмурый свидетель далекого радостного дня! Я оглядываю — до лоска затертую скамью: не найду ли царапин от наших перочинных ножей. Нет царапин: всё затерто годами, ничего не понять в трещинах, в которых возятся муравьи. А вон часовня. На этих плитах стояли мы, на этом окне лежала раскрытая книга поминаний. Лежит и теперь. Монах, такой же старый, как и тогда, спрашивает меня, не запишу ли. Я оглядываюсь назад, хочу сделаться маленьким, хочу вспомнить невозвратимую легкость в сердце. И тихий июньский вечер, всё такой же, заглядывает в часовню червонным золотом.

Я беру книгу: самое то — за упокой и о здравии. Опять «младенцы» и — рабы Божии. Но всё потонуло в новом и страшном численностью: одно и одно я вижу — «убиенные воины», «болящие воины». Их занесло сюда и несет каждый день дорожным потоком бабьим. Монах заносит их в придорожную свою книгу скачущим почерком. Да, теперь больше «за упокой». — «А вы не пишете?»

Есть у меня, кого бы я мог вписать. Когда-то стоял он здесь, выдумывая Сидора и Тита. Я перелистываю книгу, хочу найти... Нет это другая книга. — «А прежние где?» — «Нарушены», — говорит монах.

Прежние книги нарушены, и я не увижу знакомого почерка, милых Тита и Сидора, и младенцев, имячки которых ласково повторялись матерями и спесно-скрипуче заносились монахом — «о здравии». Теперь и они *нарушены*. Они рушатся час за часом, неведомые, переходят незримо с левой страницы на правую, и сплошь чернеют страницы, принимающие «убиенных», — и рушатся с ними жизни поколений.

Я подымаюсь на пригорок. Вот местечко, где мы тогда сидели, вот и плакучие березы, те самые. Я присаживаюсь, смотрю на них, спрашиваю тоскливым взглядом, — узнают ли они меня, помнят ли мальчугана, который лежал под ними, глядел в голубое небо сквозь червонно-вечернюю их листву, и которого уже нет на свете. Я молчаньем рассказываю о нем: он стал большим, с сердцем мужественным и сильным... теперь он лежит в неизвестном далеком поле, куда не найти дорог, братски-рядом с тысячами других. Березы видали их: они проходили здесь мальчуганами, матери носили их на руках к Угоднику, чтобы вымолить для них лучшей доли. Березы знают, за что они все легли. Они всё знают... шепчут... — позванивает в них ветром.

ЛАМПАДОЧКА

Говорят — скоро ледоход, где-то была «подвижка». Я спрашиваю Горкина, что такое «подвижка», а он смеется: «то всё знаешь, совсем грамотей стал, а тут не знаешь». Мне стыдно, что я грамотей, а про «подвижку» не знаю. «Да ты сам сказывал», — говорю, — «всего дознать нельзя»... «каждому человеку... что-то, ты говорил, положен... чего положен?..» — «Ишь, хитрый какой! верно, каждому предел положен». Он доволен, что и я говорю, как он, что каждому человеку от Бога предел положен, и объясняет про «подвижку»: «как водополью быть, стронется чуть ледок где-там — и станет; а это нижний лед не пускает, ра-но... а как прибудет еще воды, он и пойдет, пой-дет... — полный уж ледоход тогда».

Все только и говорят про водополье: какая-то вода будет! как бы наши плоты не раскидало, барки с причалов не сорвало. У Горкина в мастерской, в каморочке, «водяная» лампадка теплится, Петру и Павлу: вчера зажег, и она будет теплиться, пока ледоход не кончится. Как-то рассказывал:

— Папашенька вот всё шутит — «у тебя, Горка, старый хрыч, на всякое дело по лампадке!» А чего плохого... святой огонек теплит, — и душе весело, и от дурного отнесет, а то и человека пожалеешь. Как пожалеешь-то? А вот подрастешь, я тебе расскажу. Вот синенькая у меня горит... как март-месяц на Алексея Божия Человека и затеплю... и так, вспомнится когда, тоже зажигаю, человека пожалеть. Это нарошная у меня, по зароку. Образ видишь, «Усекновения Главы», Крестителю главу усекли, от Ирода-Душегуба... это чтобы за грешную душу помолиться. Да это... мал ты еще, не понять тебе. И дело это

страшное. Нет, и не приставай, рассказывать не стану. Я те про «водяную» лучше, про Петра и Павла... Да сказано тебе — дорости! А про Петра и Павла, потому «водяная»... апостол Петр тонул на водах, а Христос его за ручку по водам и повел, невредимо. А апостол Павел сам весь корабль уберег от погибели, Господня благодать на нем... «Деяния» еще с тобой вычитывали, как ехидну в хворосте зацепил? Вот-вот, тоже невредимо. Это как его сотник в город Рим судить вез. Потому у меня «водяная» и горит, по нашему делу, по речному. Ну, верно говоришь, и Никола Угодник по этому делу помощник, и ему-батюшке теплится у меня, как Михаил-Архангелу своему зажигаю... он сбочку висит, и ему озарение достает, всегда на памяти у меня.

Весна, говорят, ранняя: середина марта, а уж «подвижка». Василь Василич под Звенигород покатил, распорядиться: там наши дрова ждут сплава. Горкин здесь помогает, объезжает портомойни и перевозы, осматривает лодки, доглядывает, обколоть ли лед у портомоен, а то ледоход захватит — плоты сорвет. Он побывал и у Краснохолмского моста, и у Москворецкого, и под «Воробьевкой». К Крымскому мосту обещается и меня взять. Там у нас Денис, парень надежный, солдат, да Господь его знает, что с ним творится, — «совсем без головы стал!» В прошлом годе чуть у него портомойню не унесло в ледоход: запьянствовал, и всё по Москве-реке с наметкой, всё рыбку ловит, дурак-дураком: «душа не на месте у него». Я понимаю что-то, ухом одним слыхал: горничная Маша над ним смеется, и за конторщика замуж всё собирается, — ну, он и зашибает. Горкин мне говорил, но у него что-то не поймешь. Маша про Дениса говорит всё — «пьяница он, на чего он мне сдался!» А Денис говорит — «это я с горя зашибаю, что за меня нейдет». И за конторщика не идет, — ничего не понять. Горкин говорит — дело не наше. Денис, должно быть, во святые подвижники скоро выйдет, — живет, как подвижники во

святой пустыне в хибарке-сторожке, кругом огороды, ни души, только Москва-река. Отполощут бабы белье за день, — и нет никого, до света. У Дениса удочки в сторожке, наметка-сетка, гармонья и собачка «Мушка», — от какой-то знаменитой «Мухи». Про эту «Муху» тоже, должно быть, интересно, и Горкин всё обещается рассказать, только говорит, — «вот, подрастешь, а то не поймешь... да еще напугаешься». А я уж совсем подрос, всю хрестоматию прочитал.

К Крымскому мосту нас везет в лубочных саночках «Смола», старая рабочая лошадка, а не выездная, как «Кривая» наша. Хотели ее недавно к коновалу вести, под нож, но мы с Горкиным отпросили папашеньку погодить: Господь даст, может и сама протянет ноги, без коновала. Денис на реке, сидит у пролуби на коленках, ершей на «кобылку» ловит, — от моста еще приметили. Горкин сказал сердито: «нашел время! а плоты кто-то за него обколет... намылю ему голову сейчас». Съезжаем к его сторонке, и Горкин начинает бранить Дениса: разбойник эдакой, голова садовая... держи таких работничков! да тебя, такого, не плоты стеречь... самого-то с плотами унесет». — «Наплевать, пускай унесет!» — говорит Денис и трясет серебряной сережкой, — сережка у него в ухе, солдатам так полагается, — «пьяница я, туда и дорога, конто-рщика за меня возьмете!» Совсем несуразный человек. А золотые руки, когда возьмется, так и горит работа. При нас взялся, — половину плотов ото льда обколол, — живой огонь. Горкин сказал мне: «наша Маша дуреха, такого мужа поискать надо... ломается чего-то, человека губит... а что я, не вижу... сама скучает...» Я стал спрашивать, почему скучает, а он мне — «не встревайся, всё равно не поймешь».

На реке ветрено, Горкину, в армячке на зайце, — и то зябко. Денис ставит нам самоварчик, — такой у него, зеленый, на трех ножках, под четвертую щепочку кладет, — и показывает на розовую красавицу, приклеена у

него к окошку, с мыла обертку наклеил: на крестницу вашу, Михал Панкратыч, похожа маленько... из уважения посадил». Это про Машу он, она крестница Горкина. — «Ты из уваженья лучше за портомойкой гляди да по стаканчикам не звони!» — говорит Горкин. — «Покушайте пирожка, Михаил Панкратыч...», говорит ласково Денис и ставит перед нами... пирог с морковью! Откуда у него пирог?! Горкин спрашивает, на-знак чего в посту у него пирог, и кто ему преподнес. Денис сам удивляется, — не знаю, прихожу давеча с реки... — пирог на столе стоит! тут я и вспомнил, что именинник нонче, а кто мне пирог испек — знать не знаю». Горкин только рукой махнул «сказывай кому другому... зубы с бабами полощешь на портомойке, делом бы лучше занялся». И я вспоминаю, что видел сегодня у Марьюшки на кухне пирог с морковью, и Маша чего-то вертелась тут, — а пирога нам не подавали. Шепчу Горкину, а он опять — «не в свое дело не встревайся». Пирог ужасно вкусный, Денис всё угощает нас, но Горкин даже отодвинул пирог, не хочет. — «Не на именины приехали... и не ем с морковью, убери свой пирог». Правда, он никогда не ест пирогов с морковью. И чай не стал допивать, поднялся. — «Расстроил ты меня, Дениска!» — даже кричать стал. — «Мне эти пироги... грехи с вами!» Расстроился и расстроился. Заспешил, с Денисом даже не попрощался.

Выбрались мы на мостовую с огородов, подъехали к мосту, Горкин и говорит: «ты уж не серчай, чайку тебе всласть попить не дал и пирожка в охотку поесть»... — а я два куска съел, успел, — «да и домой нам пора, и Дениска меня расстроил». И показывает на дикую будку, у въезда на мост, где будочник живет: «видишь, будка»... это новая, а годов пятнадцать тому другая тут была, только ее сожгли... там мы с Василь Василичем пирога досыта наелись, с морковью с этой... больше не ем с морковью». — «Объелся, да?» — спрашиваю его. Он так и не ответил. Доехали молча, без удовольствия. Я на него

обиделся, и не попрощался, и к нему в мастерскую не зашел, в его каморочку.

Вечерком он пришел в кабинет к отцу докладывать, как и что, и всё говорит невесело. Отец даже сказал: «чего ты такой, нездоровится?» Пошел я его проводить до кухни, жалко его мне стало, он и говорит: «ты на меня серчаешь и в каморочку не зашел... ты не серчай». И мы поцеловались. — «Хочешь, — говорю, — зайду к тебе в каморочку?» — А мне очень к нему хотелось. — «Ну, зайди... я уж всё тебе расскажу, всё равно я расстроился, будет полегче, может... про синенькую лампадочку расскажу». Я запрыгал, а он и говорит: «не прыгай, веселого тут нет... думаю, надо тебе сказать, а то помру, кто тебе скажет!»

Пришли в каморочку. Теплится синяя лампадка, невесело так горит, совсем темное стеклышко. Вот он и стал рассказывать.

— Ишь, невесело как горит, *скучает*. А вон, «водяная», розовенькая, как весело горит. А эта скучней голого стекла, — постной. И огоньку *передается*. Эта лампадочка покаянная, будто и огоньку невесело, а? скорбит словно?.. А вот, слушай. Я не на Дениса давеча осерчал, а за-сердце меня взяло — затомилось... будто вчера всё было. И место самое то, и пора та же, перед половодьем было, чуть не день в день. А ты на «Усекновение» смотри, на огонечек, тебе и не будет страшно... смотри и молись, за несчастные души... Алексея и Домну. Да и еще семеро, может, душ, прикинуть надо. Ну, за тех есть кому помолиться, да и венец приняли... А за этих двоих лампадочка и теплится, самое теперь время помнить. Тому годов пятнадцать было. Пришли мы с Василь Василичем на портомойку, распорядиться тоже, на самого Алексея Божия Человека было, 17 числа марта месяца. Домой уходить, — нас бутошник от моста кличет, Алексей, фамилия ему Зубарев, солидный мужчина, старый знакомый наш: «заходите, именинник я, откушайте пи-

рожка!» А Василь Василича разобрало, с реки-то, клюнуть в стаканчик захотелось. Зайдем, Панкратыч! А мост тогда был старый, деревянный. И место глухое было, отчаянное самое. Ночью ходить опасались, потому под мостом жулики хоронились и грабили-раздевали, случалось. А тут, уж и душегубы завелись... и первым делом зарезали купца из Таганки. Ехал запоздно, от невесты, богатый, молодой, на рысаке. А дорогу развезло, в весеннюю капель было, рысак на ухабе оглоблю и поломал. Его по утру нашли, на огородах, в снегу увяз. Дело темное, никто не видал. А купец как сквозь землю провалился. И не доискались. Спрашивали Зубарева, не видал ли чего. Видал, говорит, мчал рысак, да ночь, не видать, мало ли пьяных катается, невдомек было, а фонари слепые, и ничего такого не слышно было, караул не кричали. А отходить ему с того места воспрещено, охраняет понятно, место, сторона глухая. Так и пропал купец. Другая зима — опять, трое уж пропало. У свидетелей доискивались... говорят — в Зубове их видели, по ту сторону реки... значит, в этом месте надо искать. Ну, Зубарева судебное начальство спрашивало, не видал ли. Видать не видал, а слыхали с женой, с реки, от больших пролубей, против Хамовников, караул пьяные кричали и песни пели. Сойтить с поста не смею, говорит, в свисток подал, — ну, поутихло. На Святках было, и те по льду, будто ехали, спьяну, что ли... а куда тут по льду ехать на пустые огороды? Он, Зубарев, начальство просил: «дайте мне помощника, не справиться одному, место глухое, и мне лихие люди грозятся, самого зарезать могут». А начальство не приняло во внимание. А он место стерегет, отойтить не может, важное место, мост самый. А под мостом душегубы сидят, цельная шайка, видал он их. А облавы на них не делают. Хорошо. Ну, и еще трое, что-ли, попропало, да темное дело: одни говорят — Крымским мостом должны бы ехать, а кто говорил — через Каменный хотели... Ну, только пропали тоже, зимой бы-

ло. А тут, как нам к нему зайти, с неделю, не больше, — богатый огородник пропал, с Воробьевки. Поехал на Бутикову фабрику за капусту получать, сотни три, и жене говорил, — заеду к Зубарю чайку попить, знакомые они, огороды здешние арендовал, Зубарева давно знал. И пропал: лошадь с санями домой пришла, а огородника так и не нашли. Спрашивали Зубарева. Сказал, что был огородник у него и чай пил, а потом к Бутикову поехал, по делам. Больше ничего. А обратно ехал ли — не видал. И опять говорит: два раза начальству докладывал — дайте на смену помощника, не дали. А ему впору только днем выспаться, уж жена у окошечка смотрит за порядком, а он за ночь отсыпается. И говорит властям: довольно намаялся, брошу место. Ну, зашли мы к нему, а он в расстройстве: «сыщики эти замотали, — говорит, — всё допросами донимают, а больше пьянствуют, каждый им день бутылку ставлю. Уж не они ли и орудуют, ночным делом, народ-то темный, сыщики эти». А сыщики уж всегда конпанию с ворами держут. Ну, сидим у него, угощение нам выставил, севрюжка была, и настойки у него; и горькая у него, Василь Василич горькую уважает... и селедочка, и чаек, и постный сахарок... И супруга его, Домна Ивановна, сурьезная такая женщина, хозяйственная, в черном платке всегда, потчует нас пирогом с морковью. А я тогда любил с морковью. И образа хорошие, и ланпадка горит, помню, — настоящие именины. С пирога да с севрюжки, Василь Василич и разрешил, хлоп да хлоп, а с масленой всегда у него зарок до Пасхи, ни капли чтобы. А тут разрешил. И меня не послушался. Сразу нахлопался, с зароку-то, его уже и развезло. Зубарев и стал жаловаться: опять вот купец пропал! хошь с места уходи, покою нет. Что это, говорит, за сыщики, найтить не могут, не иначе, как с душегубами стакнулись». А тут — стук-стук, в окошко! Сыщики, говорит, опять. А они все дни-ночи кругом кружили, душегубов изловить. Днем у него пируют, а ночью на

Москва-реке дежурют, стрегут душегубов. Начальство настращало, значит. Трое сыщиков, и собачка с ими, махонькая совсем, «Муха». А это сам Ребров пришел, который в славе по Москве был. Он на «Воробьевке» целую шайку душегубов изловил, пять лет грабили-убивали, а он с этой «Мухой» как-то изловил, ему медаль дали. Заявился сам Ребров, в первый раз. Ну, Зубарев их в гости позвал, на пирог. Вошли они во дворик, а «Муха» сейчас по снегу носом, носом... Сыщик и говорит — с чего это «Муха» моя елозит так? А Зубарев ему — «это она кровь чует». Как, почему? «А это я кошку пришиб поленом, рыбки на именины купил, а она цельный фунт севрюжки слопала, я сгоряча и пришиб. Вон, за дровами валяется». Глядят — лежит мерзлая кошка, вся голова в кровище. А собачку в горницу не допустил: «у меня образа, и супруга не любит». Оставили на дворе собачку. Стали выпивать-закусывать, Ребров с Василь-Василичем на-обгонки, хлоп да хлоп. А Зубарев только наливает. И сам тоже, не пропускает. А Ребров хитрый был, пьет, а сам ни в одном глазу! Умел так, глаза отводил, через плечо выплескивал. Поднял я Василича, домой пора. И Ребров с нами поднялся, да в самых дверях и упади, пьяный, на самом пороге, двери настежь, лежит... а «Муха» за дверь всё цапалась. Как вскочит в горницу, да носом, носом, по полу-то... фырчит-ищет, прямо над творилом в подполье, кольцо было в твориле... когтями дерет. А Ребров, будто спьяну, за кольцо ухватился, творило подымает! А «Муха» как заво-ет, он сейчас скок на ноги, «чего у тебя в подполье?!» Поднял... как шибанет оттуда!.. Сыщик, прямо, на Зубарева пистолетом: «попался, вяжи его!» Тот и повалился на колени: «мой, грех, враг попутал, из корысти!» Они и повинились во всем. Семерых они загубили, а на этом попались, на огороднике. Он у них восьмой день лежал, а в пролубь не успели сплавить, в ту ночь что-то им помешало, а тут всё сыщики кругом стерегли, не дали им спустить. Вот уж по-

пировали мы... поели пирожка. С того дня глядеть не могу, с души воротит. А они скорого богатства захотели, торговлишкой заняться. Уж бросали службу: страшно, мол. Ну, судили их. И нас с Василичем допрашивали. Дело ясное. Его на каторгу бессрочно, а ее на десять годов. Плакали на суде, греха страшно стало. Сходил я навестить их в остроге. Жалко, тоже человеческая душа. Сказал им — не отчаивайтесь — помолются за вас, и я свечу когда поставлю. Чайку-сахару принес, бараночек. Так мне обрадовались, заплакали. Как же не пожалеть. Ну, душегубы... да Господь вон разбойника на кресте простил, в рай призвал, за одно слово — покаяние: «помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!» Она и говорит: «возьмите, Махайла Панкратыч, на маслице, ланпадочку когда за нас зажгете, помяните, за души наши грешные, ваша молитва доходчива». Ну, чья доходчивей, это Господь знает. И дает мне красенькую, десятку. Я не стал принимать, а она шепчет: «не опасайтесь, это не от *тех*... это казенные, за службу, я их не мешала с *теми*». Принял я, купил ланпадочку, эту вот, стал теплить, «Усекновение». Так рассудил: сходственно, Крестителя душегуб убил. Их на Конную возили срамить на всем народе, и на грудь им дощечку повесили, и написали — «душегубы», и к столбу ставили, и в барабан били. Они вставали на колени и народу кланялись, молили: «простите, православные, нас, душегубов... согрешили мы незамолимо... помяните убиенных...» Им денег народ всё клал, на помин души. Страшно было глядеть. Погнали их в Сибирь, ходил я проводить их. Она мне еще из тех копеек, жалостливых, два рубли дала, на маслице, опять всё: «помолитесь, свечку-ланпадочку об нас потеплите». Вот и теплю. И Василич когда подаст, и другие плотники когда... артельное масло, от папашеньки дозволено. Вот и всё. Да... он-то еще в железе сидит, каторжный, а ее уж годов семь как выпустили, она при монастыре служит, в глухих краях, работает ради Гос-

пода. Года два тому заезжал человек оттуда, с ним прислала мне рублик, помолиться за души, пожалеть. Вот и теплится, жалостливая, синенькая... огонек-то невеселый. Зажгу — и вспомню: «всё во грехе, буди милостив, Господи... разбойника благоразумного разрешил... и нас, грешных помилуй... и раба каторжного Алексея и Домну разреши...» Будто и огонек взывает, ску-шный только, самый постный...

Я смотрю на огонек: скучный, постный. Спрашиваю Горкина: «а веселый будет, огонечек... а, будет?.. Господь их простит, а? тогда и веселый будет?» Горкин молчит, не знает. Господь знает.

Декабрь, 1936 г.
Париж.

КРОВАВЫЙ ГРЕХ

Рассказ сестры милосердия

Привел меня Бог видеть злое дело,
Кровавый грех.

А. Пушкин

...Вспомнить не могу без содроганья. Много пришлось мне видеть на войне, но был и свет, какие души открывались, исповеди какие слышала. А тот кошмарный месяц, в сибирском поезде...

После ранения на фронте меня назначили сестрой на поезд Земского Союза. Служить было приятно, и персонал попался дружный. Старший доктор был человек гуманный и тактичный. Революцию мы встретили, как радость и необходимость, и мечтали, что теперь настала светлая весна России. В первые дни революции мы доставили в Москву очередных раненых, готовились к отъезду, но получили распоряжение приготовить поезд «для миссии особенной»: в Восточную Сибирь, вывезти освобожденных революцией борцов за освобождение России. Все приняли с восторгом. Я была счастлива хоть этим проявить участие в великом деле.

В десятых числах марта мы двинулись. К нам прикомандировали почетных делегатов от армии, человек двадцать — унтер-офицеров, ефрейторов и нижних чинов, ново-обмундированных, в новеньких басонах и галунах, с красными бантами на груди, на шапках и даже на штыках винтовок. Ни одного офицера не было. Может быть, не нашлось охотников, а может быть, хотели придать «встрече» вполне демократический характер. Солдаты, фельдшера и мы, сестры, разубрали наш длинный поезд — чуть ли не из тридцати вагонов — елками, красными флагами, — не было ни одного российского! — полотнами с изречениями: тут были и «цепи рабства», и «кошмары тирании», и всё «да здравствует» и «вперед». Тогда это казалось очень ярким. Доктор заморщился,

увидя на груди паровоза щит из кумача с золотыми словами — «кто был ничем — тот будет всем», — посоветовал заменить более «сильным», — например, «Свобода», но машинист с кочегаром заявили, что в таком случае отказываются вести поезд. Предлагали поставить щиты и на вагонах, но убедились, что так не проедешь под мостами.

Начальник хозяйственной части постарался. Мы везли груду окороков, портвейн и коньяк, для ослабевших, пуды шоколада, конфект и мармелада, английского печенья, варенья и пастилы, икры, колбас, сыров, сардин... Мяса и масла в Сибири было вдоволь. Начальство пустило телефонограммы по пути, революционным комитетам, — призывать население проявить чувства признательности и жертвенности к великим борцам освобождения.

Но первые же версты показали, что нашему народу всё — «как с гуся вода». До Самары поезд наш получил только пук метел от плутоватого мужичка, сказавшего нам с ухмылочкой — «пригодится вам» и попросившего «приклимаций каких-нибудь, потоньше», — очевидно на курево. По поводу метел у нас острили, что «прутики березовые свеженькие», и мужичок «видно, не без ума». Дело в том, что началось разочарование. Военная делегация и кой-кто из санитаров везли горы «литературы», и когда доктор, ознакомившись с содержанием, возмутился, что «мы разлагаем армию», фельдшер из делегатов заявил: «ведите вашу санитарную часть, а политическая наша!».

В Самаре задержались. Как раз прибыла из Сибири «бабушка революции», Брешко-Брешковская, ее чествовали в театре, заставленном красными знаменами, лобызали в разрумянившиеся щеки и клялись в верности заветам революции. Я тоже ее приветствовала, и она потрепала меня по щеке, сказав: «почему бледненькая?». Я даже заплакала от счастья. На вокзале загулявший купец угощал нас шампанским, «под секретом», — было

еще запрещено, — благодарил за «раненые труды» и обещал... «сорвать гидру-революцию» — напутал. Про эту «гидру» говорили на все лады. Мужик на заволжской станции, послушав ораторов, говоривших о «гидре самодержавия», раздирательно крикнул во весь поезд:

— Ша-баш! теперь уж начнут добираться... гидры!..

Перевалив Урал, мы не нашли ничего, что напоминало бы о свершившемся. Мужики хмуро и недоверчиво глазели. Не было приношений, даже мётел. Только железнодорожники из депо махали флагом из кумача, да две трубы дудели что-то нетвердое. Пришлось заведывающему хозяйством закупать масло и говядину. На одной станции принес мужичок-охотник мешок рябчиков. Его спросили — «в дар борцам?». Он ответил: «сорок копеек пара, свеженькие». Мы прикупили, сложившись, для себя. Но тут явился армейский делегат и объявил, что «персонал должен быть в общем котлу, а потому рябчиков надо поделить». Доктор почесал нос и промычал — «слобо-да...» Взаимное непонимание начинало углубляться. «Армия» заявила, что нет равенства: персонал роскошничает на диванчиках, а делегаты должны протирать бока досками... — «и где это видано?». Стало грустно.

Однако и в Сибири начинала проявляться революция. Мальчишки бежали под поездом и орали — «азе-эт... а-зе-эт!..» Им швыряли кипы «литературы». Линейные сторожа редко выходили с флажком, а больше сидели в будках и попивали чаек. К поезду заявлялись неведомые люди, глядевшие исподлобья и называвшие себя «пострадавшими от царского режима», — просили «подвезти до городка». Это были пущенные революцией на волю уголовники. Они зорко поглядывали с откосов, высматривали на полустанках. Чаще встречались остовы слетевших с рельс поездов. Вспоминалось сибирское словечко: «пьяная весна настала».

В Иркутске мы погрузили человек семьсот освобожденных «политических каторжан». Встретили их восторгом и почетом. К нашему разочарованию, совсем не было ослабленных и больных. Были только нервно-развинченные и капризные. Одеты были прилично, хотя и разношерстно. На привезенное нами, пожертвованное в Москве, платье посмотрели обидчиво: «не нищие мы». Иные возмущались, почему прислан за ними какой-то санитарный поезд, а не «почетный»? Кто-то сострил, из персонала: «ждали, очевидно, царский». Между каторжанами слышалось: «штаб-каторжане», «сливочки революции», «иконы»... — намекали, очевидно, на «бабушку», на Марусю Спиридонову и прочих шефов, которые укатили в экстренных поездах, по личному вызову Керенского. Всё это были обиженные люди «вторых ролей». Но протесты стихли, когда тактичный доктор сказал красноречиво, что «вся Россия смотрит на вас, кровно с народом спаянных, и потому послала за вами этот поезд, где каждая дощечка пропитана кровью ее боевых сынов».

Мы повернули на Россию, — и началось испытание. Мы собирались в нашем вагон-салоне и поверяли друг-другу впечатления. *Что же это? Они* даже заглядывают на кухню и проверяют, всем ли дают одно и то же. Протестуют, почему одних разместили по купэ, а других «зусунули под нары?». Зачем кричат *они* на всех станциях обгоняемым военным эшелонам, подвигающимся на фронт, — «расходитесь по домам!», «бросайте винтовки!», «отбирайте у бар землю!». Почему сеют только злобу и ненависть? как *их* унять? почему они вносят разлад в нашу дружную до сего санитарную семью? почему *они* так ненасытно говорят и спорят? почему никто не сказал о России ласкового слова, а всё только о пролетариате и «трудовом народе»?

Начали приоткрываться «ужасы». Один из *них,* ткач из Иваново-Вознесенска и бывший член Государственной Думы, купил в Иркутске пять фунтов зернистой икры —

все получили «ассигновки» — и жрет ее ложками, закусывая сладкой плюшкой. И он же кричит на станциях солдатам и мужикам: «берите землю у помещиков-кровопивцев и ломайте ноги всем, которые будут к вам иттить в шляпах и брюках!» *Что это?!* И помещиков-то не было никогда в Сибири. И почему — ломать непременно ноги всем, кто в брюках? А сам в брюках.

Мы приходили в ужас и возмущение. *Кого* же мы везем! И это — наше, родное, русское. Призывают брататься с немцами и обратить ружья против своих. После всего пережитого на войне, после жертвенности солдат, увидали мы узость, тупость и ненависть. Светлое, что встретилось нам в пути, было — совесть народная и народный разум. Ораторам иногда и отвечали:

— Мы, сибирские, были всегда свободные! не знаешь, чего плетешь!

— А ты нас не мути! Ты, в шляпе-то, нашего не понимаешь, чего на кровь воротишь? Мы ее знаем, красную... *Про такое* не годится слушать!..

Я слышала эти выкрики, но они утопали в реве. Я радовалась им, гордилась за наш народ, в котором живы вечные семена добра. Я видела их на фронте, в больном бреду, на ложе смерти. Мне было больно за *нас:* ведь *эти,* разжигавшие ненависть и злобу, были, какие ни на есть, а интеллигенты, *наши.* Сестры — не все, увы! — были подавлены, смущены, иногда плакали. Доктор боялся «внутреннего разрыва». Пошли слухи, что нас грозят выселить из купэ, где месяцами мы жили в переездах, отдыхая короткие часы после тяжелых ночных дежурств. Мучила мысль, что мы *везем этих...* везем в Россию, в светлую, новую Россию, и вот, *они* понесут по городам и селам отраву. *Они* кричали: «вранье! революция только начинается! и ни-когда не кончится!» Ужас, ужас. — «Мы всё разроем!». Бездонный ужас.

И вот, захватила нас в дороге Пасха, — Пасха 17-го года.

Уже бесснежны, голы были сибирские просторы, — конец марта. Весенняя тишина дремала в тайге. Наступил вечер Великой Субботы, солнечной только что, вдруг померкшей, захмурившейся к ночи. Вдруг повалило снегом, и белая, зимняя, Сибирь побежала за окнами.

В салон-вагоне и по столовкам освобожденные разговлялись. И *они* — тоже, *разговлялись.* Должно быть Пасха будила в них казавшееся давно отмершим. Сестры украсили их столы бумажными цветами, наделали пасох и куличей, — на станциях жертвовали «кооперативы», — накрасили яичек, — может быть похристосуются. Но никто из *них* и не подумал. Притихли только. Мне было грустно. Я глядела, как они кокали яички, как жадно глотали пасху и тут же курили, курили беспрестанно. Мне было не по себе, что на пасхах выставлены кресты, на куличиках сахарно полито — X. В. Это им было безразлично: вкусно, только. Доктор, еврей, христосовался с нами, сердцем понимая *наше.* А *эти,* кровные... — только ели. Правда, были и между ними не всё еще растерявшие. Помню, один долго вертел яичко, и было в его лице *что-то,* светло жалеющее. Это был матерой революционер, эс-эр. Принимая от меня тарелочку с пасхой и куличом, спросил:

— Вы что, сестра, печальная такая... в *наш* праздник?

Меня передернуло про какой он праздник? С горечью вырвалось у меня, из сердца:

— Больно, больно всё это видеть, слышать... теперь у нас больше не будет Светлого Дня... я чувствую!

Он не понял. Сказал уверенно:

— *Теперь...* все дни будут светлые... мы воскресим народ.

— Как вы слепы! — крикнула я, в слезах, досадуя на себя за слабость. — Или сами себя обманываете? Если сеется только зло, откуда же быть свету?! Что вы делае-

те с народом, с добрым, мягким, доверчивым? Я знаю его, я столько видела светлого в нем, чудесного, истинно благородного, самоотверженного... всё мы видели на войне. Да, и другое было, но все вам скажут, что светлого было неизмеримо больше, перед чем нужно преклоняться, что выше, лучше, чище всего *нашего,* надуманного, фальшивого, интеллигентского! Вы отнимаете Бога у народа, вы его убиваете... народу не *это* надо!..

И я заплакала. Мне стало дурно. Меня увели в купэ. Но я не могла лежать, мне было душно. Я вышла в коридор, прислонилась к окошку и всё смотрела на бежавшую снежную Сибирь. Намело целые сугробы в тайге. Сторожки были занесены до окон. Ко мне подошел тот самый «старый революционер», взял меня за руку.

— Милая, успокойтесь. Вы слишком всё остро принимаете. *Это* молодое еще вино, вино революции, и оно шумно бродит. Есть между нами крайние, есть и прямые идиоты. Вы учтите разбитые жизни, личное... А сколько жертв! Большинство же идеалисты, а... только вот *исковерканы.*

Я молчала. Было ужасно тяжело, предчувствия сжимали сердце.

Утро. За окнами зима. Метель утихла, проглядывало солнце, какое-то больное, хладное. Снег плыл, валился с крыш. Наш поезд стоял на какой-то станции. Говорили за окнами — зима, зима! Я спросила, какая станция.

— Зима.

— Станция какая?..

— Да говорят вам — Зима!

Действительно, это была станция Зима, в глуши Сибири. Длинная, низенькая казарма, с поленницами дров, с голыми лиственницами, с мужиками в лохматых шапках и трухах. Я подумала: неужели и тут, сегодня, в Светлый День, будут кричать обычное, ужасное? И

увидала, что из своего купэ вышел «почетный», ткач иваново-вознесенец, что-то прожевывая. Неужели он опять про свое — «ломайте ноги?». Он спросил пробегавшего товарища: «начинать, что-ль?». Тот удержал его: «нет соответствующего настроения толпы... что-то тут случилось, кого-то укокошили... до следующей остановки лучше».

Кто-то вбежал и крикнул:

— Слышали, какой ужас? Уголовные каторжане ночью вырезали целую семью! Ну да, на самой этой станции, вон, тот домик, красноватый... семеро душ хватили! Народ весь там, какие уж митинги.

Я слушала, потрясенная. Слышала: «вырезали, семеро душ, домик...» — и эти слова, без смысла, проскакивали в звоне, в пасхальном трезвоне-перезвоне. Этот звон показался мне страшным, кроваво-красным. Я бросилась из вагона, побежала в звоне... слышала — всё залито... даже детей не пощадили...»

Случилось то, что сибирский мужик, на той же «Зиме» определил буквально по-пушкински: «грех кровавый». Так я и записала.

В метельную ночь, первую революционно-пасхальную ночь России, в конце марта 1917 года, в глуши Сибири, на станции «Зима» пущенные на волю каторжане вырезали семью товарного машиниста, семеро душ, считая с заночевавшим неизвестным солдатиком: молодую жену, подростка-свояченицу, мальчика и двух девочек, и прапорщика-шурина. Вырезали двое болтавшихся с вечера «матерых», двое «волков из тайги». Зарезали, ограбили и пропали в метельной ночи.

Ходило по вагонам:

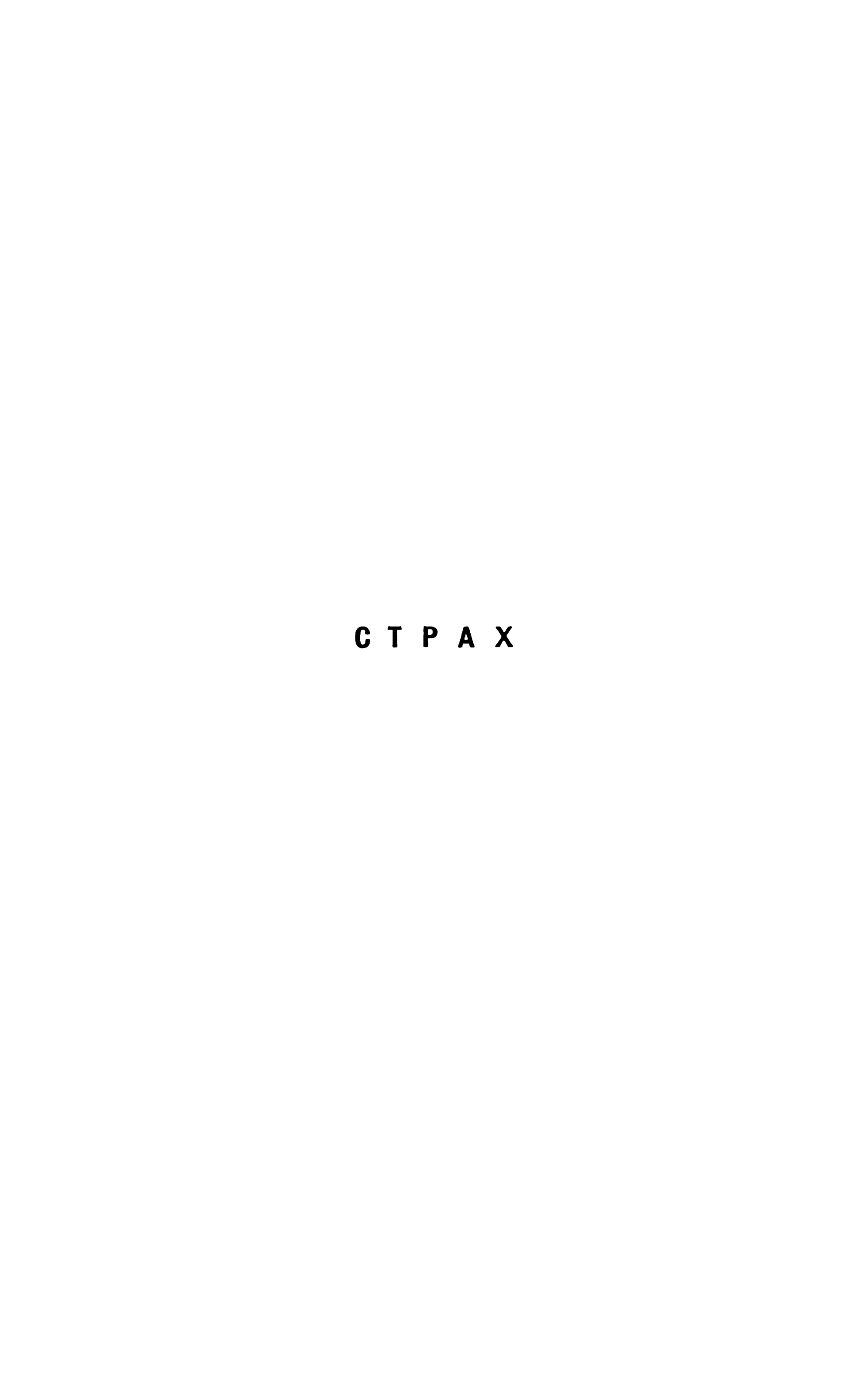
— Слышали, товарищ... вырезали семью... семеро душ...

Все слышали, многие даже видели, и вряд ли пони-

мали, *что* случилось. Весь день тот я пролежала в своем купе. «Кровавый грех» представился мне *ясным знаком,* знаком в пути, — нашему поезду Свободы: «Вот *смотрите!*».

Не смотрел никто. Поезд в грохоте шел к России, к ее сердцу.

Апрель, 1937 г.
Париж.



С Т Р А Х

С грустью гляжу я на снеговую гору в саду: она размякла, течет, продавили ее салазки. Март на дворе, кончилась зима. Вчера в первый раз подавали к чаю «жавороночков» из булочной. Такие они красивые, румяные, не наглядишься. Румяная головка, с глазками из черничинок, выглядывает из заплетенной косы как-будто; но это не коса, а так сложены крылышки. Жавороночки прилетели — весна пришла. И радостно мне, и грустно. Всегда грустно, когда уходит хорошее. Много было зимой хорошего.

Я стою на размякшей горе и слушаю, как уныло благовестят. Я знаю, что начинается Великий пост. Но почему Горкин такой печальный? Он любит Великий пост, а теперь ходит, повеся голову. И все в нашем доме и на дворе какие-то другие, — все шепчутся и украдкой заглядывают в окна. А сегодня утром матушка велела позвать кучера Гаврилу и спрашивала тревожным голосом, шепотком: «в городе был... ну... как... ничего?» Гаврила смотрел испуганно, и говорил боязливо как-то печально: «так-то на улицах ничего, тихо, а... чего-то будто опасаются, *энтих* боятся... а никого не видно, *энтих... да их* так-то не увидишь, *они* по чердакам хоронятся... в народе слышно так, говорят... бунту нет, а опасаются... всех дворников в часть скликали, и чтобы все ворота закрыть и на-запоре держать». Я расспрашивал и Горкина и плотников, но они ничего мне не объяснили, только руками машут. Что такое — не знаю, а что-то страшное. Про *энтих* я что-то знаю. Это пожалуй, *мигилисты,* которых мясники бьют. Недавно били ножами, а то *они* хотят всех порезать и под свою волю покорить. Еще я знаю, что они

какую-то *химию* вытворяют, гоняют зеленый дым. Будто даже и наш Леня гоняет зеленый дым. Он учится в реальном училище, вот и вытворяет *химию,* и такая вонь в комнате у него, — ихняя горничная Настя говорила, это дядина горничная, они на одном дворе живут с нами, только забора у нас нет, общий двор, родственники наши они, троюродные, — такая вонь, говорит, как самая нечистая... и будто он *энтих* вызывает на зеленый дым... по ночам и являются к нему, душу *им* продает, как пан Твардовский, скорняк нам читал недавно. Я знаю, что это глупости, и Горкин мне говорил, но всё-таки про *это* лучше не говорить. А старшая сестра сказала, что напрасно Леня «этим увлекается», — *химией?* — «может и в *петропавловку* угодить». Я спросил, что это такое — «петропавловка», а сестра сделала страшные глаза и сказала, что я еще маленький, не пойму. А Горкин и совсем не знает, и не велит мне болтать пустое. А про *мигилистов* у нас и на дворе говорят, ругаются. Недавно дворник Гришка, известный озорник, — его скоро рассчитают, только вот году исполнится, как отец скончался, — обругал старого кучера Антипушку: «мигилист плешивый!». Антипушка перекрестился на такое слово и отплюнулся: «язык отсохнет, каким ты словом человека обзываешь!». Это всё равно, что нечистым обозвать. И вот, все боятся, что и Леня будет *мигилистом.* Он уж и теперь не желает постное есть и не ходит в церковь, а дяденька его балует. На свою голову и набалует, долго ли до греха!

Я смотрю на продавленную гору, всхожу на нее в последний разок: хорошо глядеть сверху, через забор, на Донскую улицу, сверху она совсем другая. Сажусь на забор и вижу — жандармы куда-то скачут! Никогда тут жандармы не скакали, только за крестным ходом ездили всегда два жандарма, а тут целая толпа проехала, и офицер главный впереди. Случилось что-то?.. Потому-то должно быть, и боятся, все шепчутся... и ворота велели на-запор. Неужели *энти* начнут всех резать и под свою

волю покорять? Меня забирает страхом, как бы не увидали на заборе. И все боятся, ни души народу, вся улица мертвая, пустая.

Слезаю с горы и вижу Горкина. Он ходит чего-то по мокрому катку, прямо по луже шлепает, не чует, что валенки промокли. Я кричу ему: «ты же ноги промочил, как же ты в валенках и по воде, а меня всё останавливаешь...» Он только отмахнулся, потопал на снежку, проворчал: «не до валенок теперь». А что? Я беру его за руку. Он на меня не смотрит, и на глазах слезы у него. Спрашиваю его, чего это он плачет, папашеньку всё жалеет? Он говорит, что всегда помнит папашеньку, да чего ж о нем плакать, в раю он у Господа... кому же и в раю-то быть, если не таким... ни одного человека не обидел, все о нем молятся... — «Так о чем же ты плачешь?». — «Страшно тебе и говорить», — только и сказал. И я ему сказал, что и мне что-то с самого утра страшно, боюсь чего-то, и все, будто, боятся, а сейчас совсем страшно стало, жандармы куда-то поскакали.

— Разве поскакали? ты когда видал? — спрашивает он тревожно.

— Да, вот сейчас, с забора я видал... много поскакали, всё к рынку, и офицер с саблей поскакал, очень страшно... А что, чего-нибудь страшное будет, а?

Он крестится на березы и говорит чуть слышно, всё боится:

— Страшное дело, милок... Царь-батюшка наш преставился, царство ему небесное. Ты только не кричи про это, страшно про *такое* говорить. Господь попустил *такое... злое дело!..*

— Чего попустил? какое злое дело? почему ты так особенно говоришь, всё крестишься? это очень страшно, а? — упрашиваю его сказать мне всё.

— И не приставай, не могу тебе сказать, маленький ты, страшно тебе сказать про *такое*. Нет, нет, и не приставай...

Он отмахивается и опять идет по воде, не видит. Я бегу в дом узнать, какое это «такое, злое дело», вижу у ворот Гришку и кричу ему: «слыхал, Горкин-то сказал... наш царь?..» Гришка грозится на меня, шипит — «не ори, разве про *это* можно орать?!». Он какой-то особенный, очень строгий: на картузе у него медная бляха, на шее свисток железный, для скандалов, когда надо опасных людей ловить, и стоит у запертой калитки, дежурит на часах. У калитки стоит и Василь Василич. Василь Василич пошатывается и грозит мне пальцем, присел накорточки и манит меня, шопотом шипит: «иди сюда, чего скажу-то...». Я подхожу к нему и слышу, что он «не в себе», пахнет от него смирновкой. В такое-то время, в Великий пост! Этого еще никогда не было, он всегда зарок принимает на Великий пост, а теперь даже стоять не может, и смотрит, будто рыбьими глазами, Горкин так говорит. — «Это я с горя», — говорит Василь Василич, — «у нас такое горе...» — «Царь помер, да?», — говорю ему. — «Это что, ежели бы сам, *а то энти...* губители...» И дальше не говорит. — «Иди домой и сиди тихо-смирно..., а то страшно теперь, такое время... теперь страшные дни пришли... без царя мы теперь живем... конец подходит!».

Мне очень страшно. Мы теперь живем без царя! Это тот царь, с хохлом... портрет его, в золотой раме, висит в столовой. Тот, особенный, кто всё может... может и казнить, и миловать? Его *помазал* сам Бог, — рассказывал мне Горкин, — и он не простой человек, а как угодник и святые люди. Его поставил Бог, и он особенно близкий к Богу. Ходит в золоте, и ест на золоте, и ест не то, что едят все люди. Что же он может есть? — я не могу придумать. И он — по-мер! Даже не помер, а его... *энти,* губители... убили?! Как же мы теперь без царя? А если придут враги? Должно быть придут враги... все вот и сторожат... и шепчутся, и боятся, и жандармы куда-то поскакали, и велят запереть ворота, так боятся. Могут

придти враги и всех нас перережут! Враги его боялись, а теперь он помер, и... конец подходит, всех порежут. Недавно мы пели песню и зажигали плошки на тумбочках: «царствуй на страх врагам!». А теперь — какой теперь страх врагам!

В доме тихо, канареечка только чуть-чуть журчит. После смерти отца всегда у нас в доме тихо. А теперь еще тише и страшнее. Брат еще не вернулся из училища, сестры запрятались куда-то, матушка разбирается в бумажках, приводит дела в порядок, после отца. Нянька Домнушка метет полы, всё тычет в глаза комочком платка и воздыхает. Я спрашиваю ее, тихо:

— Домнушка, скажи мне... могут придти враги?

Она молчит, шмыгает только носом и возит щеткой. Я дергаю за щетку и не даю мести.

— Нет, ты скажи... царь помер, без царя мы живем теперь... могут придти враги... резать нас?

Она вырывает у меня щетку, пихает меня в угол и топает:

— Да отвяжешься ты от меня, смола? — шипит она страшным голосом, как змея, — разве теперь так можно безобразить! страшное такое, а ты как бесенок прыгаешь! ступай на свое место, возьми книжку, читай в книжку..., что я тебе говорю? слышишь, за упокой души благовестят, помолись — поди за батюшку-царя! У, страха на тебя нет... погоди, вот... погоди-и!..

И тут слышно, как благовестят уныло. Я не могу усидеть на месте и бегу к Горкину в мастерскую. Он затворился в своей каморочке и не отвечает на стук в дверку: должно быть молится. Если молится — ни за что не пустит к себе. Я пробую дергать дверь: не отзывается. Бегу к Антипушке на конюшню.

— Антипушка, милый... это правда, сущая правда, будто царь помер, преставился?

Антипушка чинит большой хомут. Он сдвигает на

лоб медные очки, ставит хомут к ногам и говорит шепотком — боится. И в глазах его чувствую я страх.

— Да, преставился наш царь-батюшка, царство ему небесное, вечный покой. Не простой он был царь, а отец родной, царь — Освободитель... нас, крестьянский народ на волю выписал, выкупил у господ... и крепостных теперь нету, и меня выкупил... годов двадцать как выкупил... царь благой, наш Ослободитель..., а его лихие губители вчера в Питере убили, лиходеи..., что нас вот ослободил...

Я кричу, в изумлении и страхе:

— Уби...ли?! убили... царя!.. *мигилисты?!..* Врешь ты, его Бог поставил... его нельзя убить!..

— Не ори ты так, чумной!.. — зажимает мне рот Антипушка, озираясь на дверь конюшни. — Убили, *энти...* губители-лиходеи, которые душу продали, самые последние...

— Подписали *ему...* кровью подписали... это самые враги? да?

— Не кричи ты, а то забрать могут! — шепчет Антипушка, озираясь. — Теперь неизвестно, куда обернется, кто будет над нами... все опасаются, как можно кричать... сиди неслышно... начальство думу думает, а то...

— А то что? а?.. могут враги, а? нас теперь резать будут? будут резать? ну, скажи всю правду... Антипушка...

— А ты почем знаешь? — крестится на меня Антипушка. — Теперь всё могут, без царя. Страшные дни пришли. Всё могут... и резать начнут, и... всё могут погубить... *с ними, с энтими* сам главный враг, *нечистый...* Ну да уж все пойдем... смотрит он на волосатый морщинистый кулак и стучит им по хомуту, — кто с чем, а все пойдем!..

— Я шкворень возьму... можно, Антипушка, этот шкворень, а? — шепчу я, чувствуя страх, до дрожи в жи-

воте, и в глазах жжет слезами. — Я буду шкворнем..., а ты чего возьмешь?

Антипушка трясет кулаком.

— Уж ежели начнется... хошь с оглоблей пойду, а то вот вилы...

— А... начнется?.. а чего начнется... резать? скажи, Антипушка... а?..

— Кто знает, как оборотится... Успеют присягу поцеловать... ну, может, оно и обойдется..., а не успеют...

— Какую «присягу»? что такое «присяга» как его целовать?.. Нет, ты скажи... я всё пойму... это чего.., страшное, да?..

— Ступай ты, грехи с тобой... гонит меня Антипушка, — барыня запрягать велела, в церкву сейчас поедут, на панихиду...И уж гордовой приходил, всем велел, чтобы шли присягу целовать, в церкве листы лежат, на канунах, на золотой бумаге, с орлом, и полиция стоит, очень строго.

Я бегу к воротам, маню Гришку:

— Скажи, кто царя убил? зачем присягу целовать?

— Ори еще! Разве можно теперь?!.. — шепчет Гришка и озирается: и он боится!

— А «присягу» успеют поцеловать?

Он глядит на меня, прищурясь, и говорит раздумчиво:

— Тебе не надоть, ты еще маладенец.

«Присягу» успели поцеловать. У нас опять царь, и враги не придут нас резать. Прежнего царя перенесли на боковую стенку, рядом с бисерной барыней, а над столом повесили нового царя. Все у нас говорят, что этот царь очень сильный, может даже сломать подкову. Это хорошо враги будут его бояться. Новый царь весело гля-

дит, глаза у него синие, большие, лицо большое, как у Василь Василича, и борода такая же, широкая, золотая. А лоб высокий, с залысиной, «мудреющий». А *мигилистов* поймали и будут казнить. Их никому не жалко. Скорняк говорил, что будь он царь — он бы их в смоле смолил и в котле варил. И все плотники придумывали, как казнить. Даже и Горкин не пожалел их, а всегда всех жалеет. Сказал:

— Надо людей жалеть, а *энти* уж и не люди стали, душу продали князю зла. *Энти* все законы преступили, и для них нет милости — закона. На них не закон, а страх надо. Тут власти их не помилуют земным законом, а... *там*... Господь рассудит правдой Своей.

Январь, 1937 г.

Париж.

КАК Я ХОДИЛ К ТОЛСТОМУ

Про графа Толстого я слыхал еще в раннем детстве. Он жил за Крымским мостом, в Хамовниках, и его дворник и еще какой-то «человек» ходили мыться в Крымские наши бани.

Говорили у нас, что он страшный богач и большой чудак, всё чудит... а пожалуй, что и скупец: дворник и «человек» ходили в «дворянские» бани, за гривенник, а граф Толстой, — от таких-то капиталов! — всегда в «простые», за пятачок. Возьмет веничек за монетку и парится-мается, и всё сам, без парильщика, потереть даже спину не покличет. Видать его не видали, а, говорят, бывает... рано придет, никто и не уследит, что, мол, граф Толстой, а так, мужичок и мужичок, в полушубке и в валенках. И еще говорили, — не то, будто, во святые собирается, не то в голове у него чего-то... чу-дит! Сам за водой на басейну ходит, а «человек» ему кушать подает, в перча-тках!..

Потом, когда я стал постарше, я узнал, что этот самый граф Толстой много книжек печатает, и такие капиталы ему идут... — не знает, куда девать, — с того и чудит, пожалуй. И ходит к нему на-роду... — «человек» его в банях рассказывал, — поесть даже не дадут, вот как. Со всего, говорят, свету на поклон к нему приезжают, такая ему слава. И даже самому царю известен.

Потом, поступив в гимназию, я узнал, что граф Лев Толстой — самый знаменитый писатель, другого такого нет.

Помню, было на Рождестве. Пришли к нам батюшки Христа славить. Сели после молитвы чайку откушать, выпили-закусили — батюшка и стал рассказывать про

графа Толстого. Такое рассказал — всех нас напугал, очень кощунственно.

— «Что говорить, высокого дара человек, знамениты́е написал ро-маны, и дар, что уж говорить, на весь свет романист... да только видно Господь его наказал... помрачение ума стало, от гордыни. Сказать страшно... Е-ва-нгелие, говорят, написал, сво-е!.. До чего занесся, а?! новую веру проповедует... тол-стовскую!..»

Так мы и ахнули! У нас тетушка сидела, из Сущева, чаем горячим поперхнулась, от потрясения, на всех и фыркнула, даже на рясу батюшке. А еще сидел арендатор банный, Иван Кондратьич, пришел поздравить. Ужасно толстый, глаза с белыми ресницами всегда закрыты, и всё зевает. Зевнет — и покрестит рот. Наслушался про Толстого, и стал рассказывать.

— Чего же это начальство допускает, а?! А потому, что графы, им всё дозволено. Тебя, за непорядок какой, — штраф сейчас, а им против Бога дозволено. Зло-то, сразу его не прижечь, оно вот какие последствия может оказать... не угодно ли послушать. Мой Ванюшка так через него и погиб, через Толстого-графа. А вот так и погиб. Всё книжки читал — и дочитал, про графа про Толстого. Как его, значит, разобра-ло... и купил это фотографию-портрет, за два рубли. А к нам его «человек» мыться ходил. Ванюшка и дай тому «человеку», пя-ать целковых!.. Откуда-откуда, — понятно, таскал из сборки. И уломал того «человека»: попросите, дескать, графа Толстого на память подмахнуть... расписаться, понятно. Ну, тот и... подсунул хозяину, — подмахните, ваше сиятельство, чего вам стоит. Тот и подмахнул, жалко, что-ли, ему чернил-то! — граф, мол, Толстой. Хорошо-с. Как получил мой Ванюшка прописанный тот партрет, — совсем и одурел. Под золото разукрасил, повесил в передний угол, будто икона у него, все его книжки купил, дни-ночи всё читал, дело забросил... ну, в башке у него и перемутилось, стал заговариваться... да сухие веники

и поджег! Знаете наши сухие веники... порох, чисто. Помните сами пожар-то наш, больше месяца бани не торговали, — прямо, нас подкосил. Потушить-то потушили, а все книжки и тот партрет графа Толстого... начисто всё спалило... все книжки поганые погорели и его за собой потащили, через год от чахотки помер, царство небесное. Я про него слышать не могу, про графа, про Толстого! В старину бы такого на кол бы, прямо, посадили, либо живьем сожгли, за такое дело.

Совсем был необразованный. А я уж тогда многое понимал. Прочитал «Детство и Отрочество», и мне понравилось. Потом «Смерть Ивана Ильича», купил у носящего за гривенник, не понравилось мне, скучно написано, про одного чиновника, как заболел и помер. А «Казаки» очень понравились, про дядю Ерошку и про очаровательную Марьянку... влюбился в нее даже, очень хотелось на Кавказ поехать. А в пятом классе гимназии прочел «Войну и Мир», дни и ночи читал на Святках. Неинтересные разговоры пропускал, а про Наташу очень понравилось, и тоже в нее влюбился. И про войну понравилось, про Кутузова и про Наполеона. Про Наполеона я и раньше слыхал, прабабушка Устинья много про него рассказывала, чего и у Толстого не записано, как он к нам во двор заходил, на Калужской улице, и прабабушку защитил от грабежей, велел заарестовать мародеров, и как наша Москва горела, а мой прадедушка ушел на Воробьевы Горы с мужиками и ловил по ночам французов.

В эту пору я и сам начал писать романы. Написал почти полромана, из русской жизни XVI века, про Ивана Грозного, но сестра отняла у меня тетрадку, и спрятала, сказала — «нечего пустяками заниматься, учи уроки!» Я тогда всё литературой занимался, и меня чуть из гимназии не выгнали.

И стали меня мысли одолевать, про разные романы. Всего Загоскина прочитал, и Лажечникова, и «Князя Се-

ребряного», и Пушкина. И учитель русского языка, замечательный человек, Федор Владимирыч Цветаев, меня хвалил всё: «старайся юноша, допишешься до чего-нибудь». И решил я написать роман в четырех частях. Придумал хорошее заглавие, помню, — «Два лагеря», всё разметил, набрал героев, придумал фабулу... А я тогда уж все тонкости понимал: где описания природы надо дать, где лирическое отступление, поэтический восторг, эпилог... всё как надо. Целое лето провозился, даже и про рыбную ловлю забыл. Даже плакал, когда писал. И написал к осени все четыре части, двенадцать тетрадок исписал. А во мне уж давно засело: пойти к графу Толстому, достукаться до него через того «человека», умолить, чтобы прочитал роман и сказал мне по чистой совести, можно ли мне писать романы. Роман вышел у меня отличный, прямо — захватывающий, и читался с громадным интересом. Я хранил его в глубокой тайне, прятал на чердаке, чтобы сестра не выкрала. Но она как-то изловчилась и вырвала у меня одну тетрадку. Я ее на коленях молил — не рвать. Ну, она снизошла, не разорвала. Прочитала — и говорит:

— Знаешь что, писатель... у тебя всё-таки ничего выходит, только зачем ты на каждой странице всё описания природы... то заход солнца, то восход солнца, про луну даже на двух страницах, а про грозу даже на четырех. Никогда у Тургенева на четырех страницах про природу не бывает, не ври. Бери лучше пример с Толстого. И потом, зачем у тебя всё — ах, да ах! У Гоголя... У Гоголя, во-первых, не так часто... А это что еще... — «и пруд светился, как... опрокинутое зеркало»?... Куда опрокинутое? Да у Гоголя мало ли что есть.. ты не Гоголь. И почему у тебя девушки на каждой почти странице плачут? Ах, несча-стные они!.. Ну, хорошо, допустим, что несчастные... отчего несчастные? От... любви? Много ты понимаешь про любовь... Ну, не спорь. Да не надо же самому их жалеть, пусть читатель сам пожалеет. А ты

— «ах, несчастная Аничка!..» И вот, это еще: «неужели согревающий луч счастья никогда в жизни не озарит ее грустные глаза... ла-ни?» Ну, на что это похоже — «глаза-ла-ни»! У девушки — и вдруг «глаза-ла-ни?! Мало ли что у Купера твоего! У Лермонтова?.. Не помню, чтобы было — «глаза газели», выдумываешь про газель. А почему я тебе подчеркнула? Нет, не только это, не только неудачное сравнение... почему еще? А потому, что: после отрицания ставится, после глагола... ка-кой падеж?.. Родительный, а не ви-нительный! Ну, исключения бывают, а надо ухом слушать, как приятней. А описание сада... прямо, у Гоголя содрал! Это же «сад Плюшкина»! И про хмель у тебя, и про сухую березу. А клятва на могильной плите... у Марлинского про эти клятвы.

Сестра очень много читала, хорошо знала теорию словесности, и мне пришлось признать, что ее критика во многом справедлива... хотя «глаза лани» мне страшно нравилось, я только для виду согласился и вычеркнул, а потом опять вставил. Я многое поисправил, посократил «лирические места», но описаний природы не сокращал. Даже у самого Толстого они встречаются, особенно когда действие переносится в деревню. А у меня весь роман развивается в деревне, в роскошном барском имении, где старые пруды и развалины былой роскоши, где «мать-земля рассыпает щедро свои дары», где «Божье солнышко льет свои благотворные лучи в тела и души», где «благорастворенный воздух мощно вливается в юную грудь, не знавшую никогда корсета»! И как же выбрасывать описания природы, когда природа у меня — главное действующее лицо, — пусть угадают критики.

Я красиво переписал, прочел за один присест, и мне показалось замечательно, не хуже Тургенева, пожалуй. Роман был такого, помнится, содержания:

Ранней весной, в распутицу, пожилой господин едет инкогнито, чтобы сделать приятный сюрприз, в глушь Н..го уезда, одного из живописнейших в России, к сестре

в имение. Едет он из Сибири, где у него богатейшие золотые прииски. Везет его бедный мужичок на тощей лошаденке. Следует подробный рассказ мужичка про деревенскую бедность и про злодея-управителя, который выжимает последний сок из крестьян. И путник с ужасом узнает про назревающую в имении драму. Сестра вверилась хитрому и низкому поляку-управителю, подпала под его влияние, — у него были лихие усы, в стрелку! — и хочет насильно выдать за него свою единственную дочь, красавицу Аню, с глазами лани. Путешественник потрясен и велит погонять лошадку, чтобы предупредить грозящее несчастье. Дорога ужасная, лошаденка выбивается из сил, падает и издыхает в студеной луже. Мужик убивается над ней, но тут сибиряк вынимает тугой бумажник и дает мужичку сотнягу-катеринку. Мужик потрясен таким великодушием и не решается взять, говоря: «Дорогой барин, за что мне такая от вас награда, помилуйте!» — «Зато, что ты открыл мне глаза на готовившееся свершиться преступление! за то, что ты, может быть, спасешь этим прекрасное и невинное существо, дорогую мою племянницу!» И с этими словами направляется пешком в показавшееся вдали селение. Потом в имении начинается борьба. Образуются два лагеря. Один лагерь — поляк-управляющий с помещицей, которая, на старости лет, как г-жа Гурмыжская в «Лесе» Островского, как будто сама неравнодушна к тонкоусому поляку, лихо танцующему мазурку и краковяк, и заодно с ними подкупленный поляком становой, мошенник из мошенников. Другой лагерь — прекрасная Аничка, сельский учитель — бывший студент, «по независящим обстоятельствам» уволенный из университета и решивший «служить народу». Аничка и учитель горячо любят друг друга, но таят это в глубине души, втайне страдают и любуются красотами природы. С ними дядюшка-сибиряк, решивший оставить им по духовному завещанию несметное свое богатство, которое они употребят на улучшение кресть-

янской жизни. С ними же и энергичный сельский священник с женой, на которых молятся мужики и бабы. Батюшка с матушкой занимаются самообразованием и читают такие, например, сочинения, как Бокль, Смайльс, Спенсер и проч. Злодей управитель кует свое злое дело, уже готов силой умчать Аничку в Польшу, как вдруг дядюшка неожиданно находит в парке оброненную поляком записную книжку с документами и узнает, что управитель не что иное, как беглый каторжник, убивший в Сибири инженера и завладевший его бумагами. Крестьяне, доведенные до отчаяния поборами управителя, собираются бунтовать, но тут влетает на тройке лихой капитан-исправник с урядниками. Пока исправник говорит речь мужикам, увещевая их разойтись, иначе будет худо, управитель со становым заманивают Аничку в парк, как бы для того, чтобы охранить от разбушевавшейся толпы, а на самом деле — чтобы умчать на приготовленной тройке. В этот критический момент в толпу врывается дядюшка и потрясает бумагами. Общее потрясение: правда теперь открылась. Управителя хватают, мужики мирно расходятся, хватают и станового, который оказался беглым солдатом и разбойником. Помещица падает в обморок, кается со слезами и дает согласие на брак Анички с учителем. Все идут закусить за роскошно сервированный стол, дядюшка произносит речь о красоте души нашего народа, Аничка с будущим мужем дают клятву до самой смерти служить этому прекрасному народу, и даже старик исправник, потягивая ус, роняет слезу в бокал и говорит, садясь в экипаж, растроганный: «дети мои, благословляю вас!»

И вот, в благоговейном трепете, направился я в Хамовники, чтобы умолить графа Толстого прочесть роман и решить судьбу автора.

Я не спал ночь, не пошел в гимназию, и после обеда, часа в три, двинулся со стопой тетрадок через замерзшую Москва-реку. Было в начале зимы, день сумрачный,

с оттепелью, каркали по садам вороны в снегу. Присел помню, на замерзшей барке, смотрел на тот берег, к Хамовникам, на казармы, на красную церковь Николы-Хамовники, приход графа Толстого. Смотрел и мечтал, в волнении, как увижу сейчас великого Толстого... — и в воображении проходили чарующие и страшные картины.

Мне ярко представлялось, как Толстой узнает от «человека», что пришел гимназист-писатель, нерешительно морщится, но благородное чувство снисхождения берет в нем верх, и, несмотря на то, что он пишет сейчас роман, который затмит все прежние, велит впустить в кабинет странного молодого человека. Он, по обыкновению, в суконной блузе, подпоясанный ремешком, как на портрете, с великими лишениями купленном за целковый, хранящемся у трепетного сердца, под курточкой, для заветной надписи — «на добрую память от... Льва Толстого»! Мохнатые его брови насуплены, когда он впивается всевидящими глазами гения в бледное исхудалое лицо неизвестного молодого человека. Конечно, он прозревает, как его обожают и как страшатся. — «Садитесь, молодой человек», — аристократически-плавным жестом показывает он на роскошное бархатное кресло у письменного стола, — «не смущайтесь, будьте, как дома!» — «Ничего-с...» — едва лепечу я, хочу добавить, что могу и так, постоять, но голос замирает, и я присаживаюсь, едва осмеливаясь коснуться кресла. В волнении рука моя выпускает тетрадки, и они рассыпаются веером у ног гения, обутых в смазные сапоги собственного изделия. — «Ничего, не волнуйтесь», — говорит он, помогая мне собирать тетрадки, — «я подозреваю, что вы написали роман? Очень приятно. Чего же вы от меня хотите?» Я хочу ему высказать, как обожаю его, как счастлив, что вижу его и могу теперь умереть спокойно. Но волнение не дает сказать. Он понимает всё. Кладет свою гениальную руку на мою... — это она, могучая, написала гениальные романы! — и, читая во мне проникающим в душу

взглядом, ласково говорит: — «Не волнуйтесь, молодой писатель. Когда-то и я тоже начинал, и все мы когда-то начинали...» На его столе груды листов, исписанных его характерным, гениальным, почерком. — «Вы хотите?..» — «Вашего великого суда...» — хриплю я, как удушаемый, — «ради Бога, нельзя ли про...читать...» — я не дерзаю сказать — «роман», — «эти... это... эту... страницы, и..,» — голос срывается. — «Понимаю», — быстро и даже весело говорит он и потирает руки, как наш зубодер Шведов, перед тем, как схватить щипцы, — «не будем терять золотого времени, я по опыту знаю, как вам не терпится узнать поскорей мое мнение». Гений провидит самое сокровенное. И кто знает, может быть, сейчас позвонит и скажет «человеку»: «а подать нам сюда два стакана крепкого чаю с печеньем и вареньем!» — «Крепкий, конечно, предпочитаете?» — спрашивает он предупредительно-радушно, — «мы писатели, любим крепкий, хотя я принципиально против крепких напитков. А варенье какое любите?» Я не смею сказать — черносмородиновое, и едва вздыхаю: — «ах, всё равно-с, какое-нибудь, могу и вприкуску, так-с...» — «А я, рябиновое люблю и... малиновое. Но не будем терять драгоценного времени, вы мне сейчас же прочтете сами страниц тридцать... а там посмотрим». На бархатных стенах всюду классические картины, портреты гениев и мраморные бюсты мудрецов. Я беру тетрадку № 1 и начинаю читать, давясь от страха. Он прикрывает рукой глаза. Захватывающая сцена, когда падает лошаденка... — «Чу-де-сно!..» — взволнованно говорит он, — «я потрясен, покорен... вы меня так...»

Сумерки сгущались. В казармах начинали светиться огоньками окна. Волоча ноги, я прошел мимо церкви Николы-Хамовники, мимо пивоваренного завода, откуда густо потягивало бардой. Старик-фонарщик ковылял с лесенкой, зажигал лампы в фонариках. В благоговейном трепете прошел я мимо высокого темного забора с реше-

точкой по верху. Воротился, прошел опять, всё не решаясь позвониться. Под развесистыми березами темнел дом. И тут каркали вороны, в снегу. Глухо брехала собака, — должно быть, старая. Дом двухэтажный, деревянный, обшитый тесом, наверху мезонин, и в нем засветилась лампа с зеленым абажуром. Я, наконец, решился и позвонил, чуть слышно. Долго не отпирали. Собака всё брехала, сиплый голос ее срывался. Во дворе хрупала лопата, — сгребали снег. Чей-то недовольный голос крикнул: «да буде баловать, махонькие, всамделе, что ли!» В забор со двора плюхнуло комом снега, и забрехала яростно собака. Я подождал и позвонил опять. Лениво зашмурыгали шаги, и в забор глухо ляпнуло. — «Говорю, за ворот натекло!» — крикнул свирепый голос, — «возьмусь вот — узнаете у меня тогда баловать!» — и калиточное кольцо отстукнуло.

— Вам кого?.. — не сказал, а рявкнул сердитый дворник, в руке лопата.

Снеговым комом ляпнуло его в загривок, брызнуло и в меня. Он стал выковыривать из-за ворота мокрый снег, а сам глядел на меня сердито, собираясь закрыть калитку. Я растерянно показал ему тетрадки и сказал невнятно, что... «графа Толстого бы...» Дворник посмотрел на тетрадки, на мою потертую гимназическую шубу... —

— Много у нас графов... самого молодого вам?..

Я сказал, что мне надо знаменитого писателя графа Льва Толстого.

— Во-он кого вам!.. Нету их, уехали к себе в деревню... и хотел затворить калитку.

Должно быть мое лицо что-то ему сказало; он опять поглядел на синие тетрадки:

— «По ихнему делу, что ли... сочиняете-ли? Нету их, в «Ясной» они, там для их дела поспокойней. И графиня не велит таких бумаг принимать, не беспокоить чтобы».

В этот ужасный миг кто-то, голенастый и прыщавый в гимназической фуражке и синей курточке, обшитой серым барашком, ляпнул огромным комом в загривок дворнику, и меня залепило снегом. Дворник хлопнул калиткой, чуть не прихлопнул мою руку и погнался за голенастым: «ну, стой теперь су-кин кот... я те покажу, чортов баловень!» — слышал я сиплый голос, и топот ног. Я вытирал слезы и мокрый снег, а в глазах смеялось большеротое, некрасивое лицо щеголя-гимназиста, — может быть, «самого молодого графа»? Собака брехала яростно, рвалась и гремела цепью. В доме зажгли огонь, и сразу стемнело в переулке. У Николы-Хамовники печально благовестили к вечерне. А я продолжал стоять. Потянуло жареной рыбой с луком, по-постному. В голых березах, осенявших чудесный дом, лег желтоватый отсвет, — должно быть, из нижних окон. Глухо захлопало: затворяли ставни в невидном мне нижнем этаже.

Я побрел пустынным переулком, к Москва-реке. Зажигались фонарики. Навстречу сыро тянуло ветром, липко постегивало снежком. В конце переулка вспомнилось: «портрета-то не оставил «человеку»!.. а может быть и «человек» уехал?..

Так я и не повидал Толстого. Не повидал и после.

У СТАРЦА ВАРНАВЫ

К 30-летию со дня его кончины

17 февраля 1936 г. — по старому стилю, — исполняется 30 лет со дня кончины замечательного делателя духовного, которого знали и почитали миллионы людей в России, — «утешителя и кормильчика», иеромонаха о. Варнавы, у Троице-Сергия, или, как называли его в народе, — «батюшки-отца Варнавы».

Я не могу писать о житии его, о высоком его подвижничестве: слишком мало я знаю об этом святом старце. О нем написана обстоятельная книга безыменного составителя, изданная «Иверской Обителью при селе Выксе». Я лишь позволю себе, в память его, рассказать то немногое, чему сам был свидетелем, что слышал от близких мне людей, и что имеет отношение ко мне. В безоглядное и безутешное наше время полезно оглядываться на прошлое, в котором забыто много чудесных людей и дел.

Еще в раннем детстве не раз я слышал, как говорили у нас в семье, когда надо было решать что-нибудь важное: «к Троице-Сергию надо съездить, что батюшка Варнава скажет». Этот неведомый «батюшка Варнава» мне представлялся похожим на нашего батюшку о. Виктора, от Казанской, где меня крестили, и мне казалось, что и «батюшка Варнава» тоже всех крестит — *окунает в святую* воду. Почему так казалось? Потому, должно быть, что с батюшкой о. Виктором в детской душе моей переплетались слова «батюшка» и «крестит — окунает». В притворе храма Казанской Божией Матери стояла жестяная купель, и няня говорила, что в этой вот «купельне» меня крестили, — «батюшка отец Виктор окунал». И еще во мне было странное сочетание: «Варнава» и

«Варавва». Не только эти слова мешались, а и события путались: мне, младенцу, казалось, что разбойник Варавва, о котором говорится в Евангелии, — а я и в церкви слыхал про него, и дома рассказывали у нас, — и есть тот самый разбойник, который пожалел Господа на Кресте, и которому Господь сказал — «ныне будешь со Мною в раю». И вот, в воображении моем спуталось — «Варнава» и «Варавва», и в имени «Варнава» чудилось мне святое, райское. В детской душе бывают странные сочетания. Вот, к слову, вспомнилось: в раннем детстве, в словах — «чаю воскресения мертвых» казалось мне, что *там,* — в раю? — тоже, как и у нас, празднуют воскресенье и всем умершим — и воскресшим — дают по воскресеньям... чай! и даже — с булочками! И так было это радостно! Милая детская наивность.

Словом, с «батюшкой Варнавой» во мне сочеталось светлое и святое. И — жуткое. Откуда же это жуткое? А вот откуда. Мне казалось, что «батюшка Варнава» *всё знает*. Бог всё знает. А «батюшка Варнава» всегда при Боге, молится за всех грешников, всех утешает и — *провидит*. Потому-то к нему и ходят со всякими важными делами. Одна женщина повезла к нему свою дочку, перед свадьбой узнать, можно ли выдавать замуж за такого вот человека, и его карточку показала. А батюшка Варнава поглядел на дочку и говорит: «а, Христова невеста!» И дал ей «Троицкий листочек», а на листочке была нарисована картинка, как апостол Петр тонет, а Христос ручку ему дает, и написано на листочке — 29 июня. Стали думать, что бы это могло значить. Решили, что к хорошему. Веру надо иметь, как Петр, и будет хорошо: апостол Петр поверил и Господь спас его. Не поняли сказанного батюшкой Варнавой: «а, Христова невеста!» И вот, что вышло. В самый Петров день, 29 июня, каталась та девица с женихом на пруду в Царицыне, на лодке, и с ними были гости. Стали местами меняться — лодка и опрокинулась, девица и утонула, «Христова

невеста» стала. Этот случай так на меня подействовал, что я и теперь помню, будто это вчера случилось.

Вот это «жуткое», эта чудесная сила — *знать, что будет,* сочеталась во мне с именем — «батюшка Варнава». Даже когда я вырос и был студентом, рождалась во мне тревога, когда я думал о батюшке Варнаве: а вдруг он скажет?!.. Заглядывать в будущее страшно.

Помню, было мне лет пять-шесть. Меня еще не брали к Троице-Сергию, но старшие ездили туда каждый год. Как-то приехала матушка от Троицы. Была она у батюшки Варнавы, и он сказал ей: «а моему... имя мое назвал, — «крестик, крестик...» Это показалось знаменательным: раза три повторил, словно втолковывал, «чтобы запомнила», говорила матушка: «а моему... крестик, крестик!» Другим детям — кому образок, кому просвирку, а мне — «крестик, крестик». — «А тебе вот крестик велел, да всё повторял. Тяжелая тебе жизнь будет, к Богу прибегай!» не раз говорила матушка. И мне делалось грустно и даже страшно. Сбылось ли это? Сбылось. Много крестов и крестиков выпало на долю многим. И мне выпал.

Эта история с крестиком *повторилась,* по новому осветилась в моей душе года через два-три, когда я ходил на богомолье к Сергию-Троице с нашим старичком — плотником Горкиным. Я описал ее в своей книге «Богомолье».

Но почему толковать этот «крестик» только как провидение страданий! Страдания — земной человеческий удел, Страдания — испытания, «одержка»: *помни.* Быть может, в этом «крестике» было предвидение не только испытания? Теперь я знаю, что и *это,* как-будто было.

Не могу не вспомнить одной знаменательной встречи с батюшкой Варнавой. Эта встреча связана с началом

писательской моей работы, с первой моей книгой «На скалах Валаама».

Это вышло совсем случайно. Написать книгу? Об этом я и не помышлял. Правда, мой первый рассказ только что появился в журнале «Русское Обозрение». Сам редактор, «друг Константина Леонтьева», жал мне руку, — «детская рука какая» и ободрял: «пишите, приносите». Но о писательстве я не думал. Писатели — это совсем особенные люди. Я разглядывал себя в зеркале и видел глаза, глядевшие так пугливо. Разве писатель может родиться в Замоскворечьи, на шумном дворе, где только простой народ, где совсем не читали книг, где и книг «настоящих» не было, а только старенькое Евангелие, молитвенники, да на полках в чулане «Четьи-Минеи» прабабушки Устиньи? Напечатал *выдуманный* рассказ, а мне заплатили деньги. Стыдно было смотреть на Пушкина. И я скоро забыл об этом.

Тут подошло другое: я женился. Студент, юный из юных. Незнакомые спрашивали: «братец и сестрица будете?» А если бы узнали, что я — «писатель»?! И вот, мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но — куда? Крым, Кавказ?.. Манили леса Заволжья, вспоминалось «В лесах», Печерского. Я разглядывал карту России, и взгляд мой остановился на Севере. Петербург? Веяло холодком от Петербурга. Ладога, Валаамский монастырь?.. туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был, если не безбожник, то никакой. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченева. Летурно... стопки брошюр с книжных прилавков на Моховой улице, где студенты требовали «о самых последних завоеваниях науки». Я питал ненасытную жажду «знать». И я многое узнавал, и это знание уводило меня от самого важного знания — от Источника Знания, от Церкви. И вот, в таком-то полубезбожном настроении, да еще в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло... к монастырям! Потянуло в детство. Вспомнилась Троица,

как ходили пешком, бывало... с Горкиным к Троице ходили.

И вот, перед Валаамом, — к Троице, «благославиться». Благословляться, студенту-то благословляться!.. — *стыдно.* Но так *надо.* Помню, — конец июля. Светлый-светлый день. В окно вагона — перелески, тропки, выбитые лаптями богомольцев. Бывало, с Горкиным ходили, шли по зорьке, молитвы пели, дремали в полдень в жарких елках. Милый Горкин, преставился, давно. Говорил, бывало: «благословиться надобно, косатик...» Ну, вот, благословимся. Сохранилась связь с Горкиным, с далеким прошлым: как и *тогда,* — батюшка Варнава, жив еще. Всё еще «на пещерках», у Черниговской, всё еще *утешает.*

И вот, прошлое, далекое, — вернулось. Знакомый дворик, у Черниговской. Сколько лет прошло... пятнадцать лет! А он такой же. И люди те же, бедные, родные, все — *мои.* Келейка, с крылечком, с тем же... когда-то поднимался по ступенькам, робкий, мальчик, боялся — «всё он знает, все грехи». Теперь — *другой:* студент, с «сестрицей», почти безбожник, *никакой.* Старые рябины, в гроздьях. Толпа народа, вздохи, как и тогда, давно. Там вон стояла Домна Панферовна с Анютой, Анюта сорвала рябинку, Домна Панферовна отшлепала ее по ручкам. А тут, под елкой, мы с Горкиным. Всё та же елка, черная, густая, только повыше стала. Когда-то батюшка благословил меня: «а моему... — имя мое назвал — крестик, крестик». Дал из кармана крестик. Все шептались: «ишь, крестик ему *выпал*!» Теперь я знаю: *выпал крестик.* А тогда, в блеске, — не думалось.

Ждем долго. Говорят батюшка устал, не выйдет больше. Юные нетерпеливы: ну, что же, и без благословенья можно. И стало как-то посвободней на душе, а то пугало, «безбожника» пугало: вдруг, скажет что-нибудь такое... «испортит настроение»! Теперь не скажет, не

увидим. Сейчас в Москву, на Николаевский вокзал, посмотрим Петербург, а там — на Ладогу, на Валаам... Мы хотим идти — и слышим оклик, *знакомый* оклик: эй, *петербургские!..*» На крылечке — *он,* отец Варнава, давний, и всё такой же, только побелей бородка. Смотрит на нас через толпу и манит: «эй, *петербургские!..*» «Сестрица» спрашивает, робко: «кто из Петербурга... батюшка зовет?» Нет никого из Петербурга. А он, так весело, на нас: «идите-ка!..» Мы удивлены, подходим нерешительно. На нас глядят, дают дорогу. В Петербург мы... — будто и «петербургские». Как же он *узнал?!* Подходим. Бокль, Спенсер, Макс Штирнер... — всё забылось. Я как-будто прежний, маленький, ступаю робко... — «благословите, батюшка, на путь...» Думал ли я тогда, что *путь* — пойдет за Валаам, во всю Россию, за Россию?.. Не думал. А *он*? Он благословил — «на путь».

Смотрит *внутрь,* благословляет. Бледная рука, как та, в далеком детстве, что давала крестик. Даст и теперь?.. — «А, милые... ну, живите с Господом». Смотрит на мой китель, студенческий, на золотые пуговицы с орлами... — «служишь где?» — Нет, учусь, учусь еще. Благословляет. Ничего не скажет? Надо уходить, ждут люди. Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: «превознесешься своим талантом». Всё. Во мне проходит робкой мыслью: «каким талантом... *этим,* писательским?» Страшно думать.

Валаам прошел виденьем: богомольцы, люди, плеск Ладоги, гранитные кресты, скиты, молчальники и схимонахи... кельи в глухих лесах, гагара — птица на глухом озерке, схимонах Сысой с гагарой — птицей... — «все во Христе, родимый... и гагара-птица во Христе...» — олени на дорогах, как свои... в полночный час за дверью — «время пе-нию... моли-тве ча-а-ас!..» — блеск белоснежный Храма, лазурь и золото под небом, над лесами, жития... — и написалась книга, *путь* открылся. Ба-

тюшка-Варнава *благословил* «на путь». Дал *крестик* и благословил. *Крестик* — и страдания, и радость. Так и верю.

Январь 1936 г.
Париж.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Рассказ моего приятеля

Случилась эта веселенькая история, когда мне было тринадцать лет, на переломе из отрочества в юность: я вдруг пристрастился к музыке. Я и теперь-то в ней мало понимаю, а тогда ничего ровно не понимал, и черные хвостики на нотах представлялись мне галочками на телеграфных проволоках, — но потянуло и потянуло к музыке. Бывало, играет сестра в зале на рояле, — она училась в консерватории, и собиралась кончать «на виртуозку», — а я заберусь под фикус и слушаю, слушаю, как во сне. Вечер весенний, мартовский, падают капли с крыши, в форточку слышно, сквозь музыку, как галки справляют свадьбу, кружатся в сумеречном небе, кричат стукотливым криком... — а сестра быстро-быстро разыгрывает «Прялку», или мечтательную «Сомнабулу», «Труа ревери», или бетховенскую «Лунную сонату». Скоро у ней страшный экзамен с «публикой», она играет по пятнадцати часов в день, всем уши прозвенела, только один я слушаю. Передохнет, отопьет водицы, покрестится от страха и спросит меня тревожно: «ну-как... ничего играю?..» Я говорю уверенно: «ты замечательно играешь... как Аренский!» А Аренского я уж слышал в консерватории, куда затащила меня сестра и ее подружка Лисагоровская; там известный всем музыкант Аренский играл свою знаменитую «Бурю на Волге», которую и сестра играла. Сестра обрадуется и скажет: «ну, это глупо, и ты дурак... а что я, выдержу?» Говорю — «обязательно выдержишь, вот ей-Богу!» Она и повеселеет, скажет: «поди сюда, я и тебя выучу играть». Но из этого ничего не получалось. Сколько раз принималась учить меня, выламывала пальцы, «ставила руки» мне, — нет, ничего не

получалось. Побьется часок-другой и скажет: «нет, ты решительно долбежка!» А у меня один палец на правой руке болел, и ногти росли невероятно, и нот я не мог запомнить. «Нет, — скажет, — из тебя ничего не выйдет, ты идиот!» А я и не обижаюсь, знаю, что нервы у ней развинчены от такой игры — в обморок часто падала. Не всем же быть музыкантами — надо кому и слушать. И я слушал. И так меня захватила музыка, что я как с ума сошел. К Коршу уж не ходил — смотреть «Свадьбу Кречинского», или «Лес», или «Маскарад» Лермонтова: это уж всё я знал чуть ли не наизусть. «Маскарад» Лермонтова я отлично знал наизусть и разыгрывал перед мальчишками на дворе — за всех. Помню любимую первую картину, где игроки: «Иван Ильич, позвольте мне поставить?» — «Извольте». — «Сто рублей». — «Идет». — «Ну, в добрый путь». — «Вам надо счастие поправить, а семпелями плохо...» — «Надо гнуть!» Так мне нравилось это непонятное — «семпелями» и «гнуть».

Словом, я перебрался в Большой Театр. Ночи простаивал на морозе, чтобы достать на галерку за 35 копеек, откладывал пятачки от завтрака, спускал букинистам книжки и всячески изловчался, лишь бы попасть на «Демона» с Хохловым, или на «Лоэнгрина» и «Фауста» с Донским или Преображенским, или на «Травиату» с Фострем. Я знал по имени-отчеству всех любимых певцов и певиц, знал наизусть многие либретто опер, и целая стопка их составляла теперь мою библиотеку. Я знал все славные арии, и когда в доме никого не было, пел во всё горло — «Привет тебе, приют священный», из Фауста, «Знойною степью идем» — арию Олоферна из «Юдифи», или — «В глуши лесов, за синими морями, высится замок, грозный Монсальват!» — из «Лоэнгрина». Я мог пропеть «Демона» на все голоса, всего «Руслана», все арии Рауля и Марселя из «Гугенотов». Идешь из гимназии, отсидев два часа за «музыку на гребенке»,

фонари уже зажигают, — и напеваешь с грустью: «На землю спускается ночь, пора возвращаться домой»... — из «Гугенотов», хор. Остановишься на мосту и замурлычишь из «Жизни за царя»: «В поле чистое гляжу, вдоль по реке родной очи держу!» На звездочку поглядишь — «Звезда вечерняя моя, тебе привет шлю сердцем я!» — из «Тангейзера».

И до того дошло это увлечение музыкой, что оказался я последним учеником и остался на второй год. Стали мне угрожать: «прописать ему надо музыку на музыкальном месте!» Ну, конечно, и прописали. Но увлечение только закрепилось. Я сначала не подозревал — да откуда же это увлечение? И вот, однажды, пою я в зале перед зеркалом «Демона». Только пустил высоченнейшую нотку — «и будешь ты царицей ми-и-и-ррра-ааа...» — сестра выскочила из-за двери и кричит с удивлением: «да у тебя, долбежка, удивительный у тебя слух!» Велела еще попеть. Я ей и пустил из арии Синодала, Тамарина жениха, — «словно подломилися кры-ы-ы-лия-а-аа мо-и!..» Она и вытаскивает из передней... Эльзу Лисагоровскую! и начали апплодировать. Я со стыда сгорел, а Эльза, коварная полячка, схватила меня за уши и затормошила и... поцеловала в глаз. Ах, как пахло от нее гелиотропом!

Но надо сказать об Эльзе. Она тоже была консерваторка, только по пению: готовилась поступать в театр. Высокая, тонкая блондинка, с золотистыми косами: шейка у ней была длинная и нежная и изгибалась, как стебелек. А глаза большие, голубые, как бирюза в крупных ее сережках, которые болтались. Ходила она к нам уже три года, сильно с сестрой дружила, а меня считала за десятилетнего мальчика, как вначале, когда познакомилась со мной. Возьмет за вихорчик и потреплет. Я ее, правду сказать, боялся. А вот почему боялся. Все у нас в доме говорили, что она полячка, а полячки очень ко-

варные и хитрые, и потом у поляков не признают поганого: в чем белье парят — в том и говядину варят; и лучше от них подальше. Плакала сестра, что «последнюю подругу отнимают»; а всё-таки настояла, чтобы ее к нам пускали. А я из Гоголя знал, что панночки очень хитрые и коварные, как, например, прекрасная полячка из «Тараса Бульбы», которая загубила бедного Андрия, так что он предал веру православную для нее и изменил славному казачеству. Потому-то и я боялся. Пела она необыкновенно, особенно — «слышишь, в роще зазвучали трели соловья», из Шуберта. И была до того красива, что у меня замирало сердце.

Я-то и прозвал ее Эльзой, из «Лоэнгрина», а звали ее Тося или Зося, по-настоящему. А я, конечно, был Лоэнгрин. Бывало, поешь, вздыхая: «о, Эльза!»... и плакал, что так и отъеду на лебеде — распрощусь навеки, ибо — «я — Лоэнгрин, я Чаши той слуга!» Ну, той самой — Грааля Чаши. Очень бывало грустно. Как-то и говорит, сестра: «что-то ты, музыкант, краснеешь, когда Лисочка к нам приходит... что за новости, уж не влюбился ли ты, долбежка?» Я завертелся по залу на одной ножке, от удовольствия, и пропел из «Демона» — «я скачу и лечу... о, Тамара... моя-а-а!» Она сказала — «выпороть тебя надо», и посмеялась:

Тут вскоре Эльза позвала сестру на именины, что-ли, и — «для пробного экзамена». Оказывается, к ней пришли товарки и товарищи по классу, и будут судить, провалятся или не провалятся. Сестра очень забоялась, но я ее подбодрил, что лучше сперва попробовать на дому, а потом и решится, провалится или не провалится. Она сказала, что, впрочем, всем ведь придется выступать, лучше попробовать. Прибежала Эльза и потащила сестру насильно, и меня почему-то прихватила.

— И ты будешь нас судить, ты продувной мальчишка, и у тебя слух чудесный! — Ну, угощали меня очень

хорошо, поили шоколадом с бисквитами. Сестра отличилась, все даже удивлялись. И Эльза отличилась, и все тогда очень отличились. И пили потом лимонад с каким-то душистым вином и ели апельсины. Был там здоровенный молодой человек, по имени Трезвинский, который после в Большом Театре прославился. Была еще красивая барышня, тоже, кажется, из коварных полячек, — Скомпская, тоже потом известная певица, и еще, кажется, знаменитая потом Звягина или Эйхенвальд. И какой-то седой и хромой музыкант, Кашкин. Он, говорили, самый строгий из музыкантов, и всегда во втором ряду в партере сидит и на тетрадку «грешки» заносит. Великое было торжество. Я сижу и ем сливочные тянучки. Вдруг коварная Эльза схватывает меня и тащит на авансцену, к роялю, и говорит хромому старику про меня: «вот, Николай Димитрич, позвольте вам представить знаменитого певца, все-то оперы знает!». Коварная, так и чуял. Все закричали — петь! Один волосы взъерошил и стал разыгрывать. Слышу — из «Демона» под армию Синодала, про «кры-лья»! Как тут я ни вертелся, как ни сопел, вытащила она меня из-под стола, куда я спрятался, и пришлось мне по строгому пальцу хромого музыканта идти на муку. Сперва я скрипел со страху, но вдруг, посмотрев на Эльзу, махнул рукой. Нате же, слушайте, коли так! и спел. Да так спел, что великан Трезвинский подкинул меня под потолок, а хромой музыкант, покачал волосатой головой и говорит: «и слух прекрасный, и голос будет». А Эльза меня поцеловала, как всегда, в глаз. Все решили, что все выдержат экзамен, и поехали прокатиться в Сокольники. А я окончательно пропал.

И вот тут-то и пришло мне на мысль... написать оперу! Для Эльзы. Я отлично знал все либретто, и как строится опера. Конечно, не музыку я хотел писать, — это уж дело музыкантов, — а либретто. Но либретто тоже дело великое. Приятно, когда читают: «Нижего-

родцы», опера в 4 д., музыка Направника, по либретто Калашникова»! Или там — «Жизнь за Царя», опера М. Глинки, по либретто барона Розена»! Мне казалось, что я могу написать либретто не хуже барона Розена. Ну, разве можно так — «вдоль по реке родной очи... держу»?! А в «Демоне» и еще того хуже: «Тише, тише подползайте, стража крепко спит... всех их изрубим!» Глупо даже. Но были и прекрасные места, как, напр.: «караван наш запоздал, и напрасно нас сегодня поджидает князь Гудал»! И решил я написать оперу «Маскарад», по Лермонтову. Но со своей поправкой. «Партию Нины Арбениной исполнит меццо-сопрано Эльза Лисагоровская»! «Маскарад», опера известного музыканта Аренского — обожал его за его «Бурю на Волге», которую сестра удивительно играла, — по либретто... И тут стояла бы моя фамилия! А для Эльзы я придумывал удивительно «выигрышные» нотки.

И вот, в каком-то умопомрачении и страсти, принялся я составлять либретто. Написал я его в три дня. Я дал арии для Арбенина, которого должен был петь Трезвинский, дал и для Неизвестного — Бутенко, бас, который очень мне нравился в Руслане и в Марселе, и, вообще, наградил всех любимцев. Но для Нины — Эльзы я не пощадил самого себя. Я, можно сказать, весь истекся — для прославления красавицы-певицы.

Началась опера мрачной увертюрой, в которой должны проходить угрожающие звуки труб и барабана, как «подземное предостережение судьбы», — так я и написал в либретто, для сведения музыканта Аренского. Так и написал: «нечто вроде грома из «Руслана и Людмилы». Пометил, что лейт-мотив увертюры должен выражать стон женской души несчастной Нины Арбениной, из ее арии — «О, я невиновата, муж драгой... ты для меня один — никто другой!» — а также мрачную арию Неизвестного в маске: «Свершилось мщенье! ей нет про-

щенья! ты не сказала — «я — твоя»... так пропадай, душа моя!» Опера начиналась блестящей картиной азартной игры на зеленых столах. Игроки, потрясая колодами карт и кошельками с золотом, поют у рампы «гимн игре», в страшно бравурном тоне, под одни медные инструменты, причем всё время проходит «подземное предостережение судьбы»:

Карты, деньги — наша страсть!
Это дьявольская власть!
Мы любви не признаем,
Ставим, кроем, гнем и бьем!

И каждый куплет хора игроков заканчивается припевом, лихо:

Мы игроки, мы игроки...
Каки-каки
Мы игроки!

Необыкновенно блестящей была дана картина маскарада, где под увлекательный вальс и пенье хором под вальс — «Какое жизни наслажденье превыше вальса нам дано?» — Арбенин — Трезвинский подносит Нине — Эльзе отравленное мороженное и поет арию — «О, дорогая... как ты бледна... Душой страдая, ты не верна... Ты изменила, меня казнила, так пусть могил-ла-а... рассудит нас!» А Бутенко — Неизвестный демонически хохочет у колонны, «как Мефистофель»: О, тонкий яд любви обманной... прохладой сладкой напоит! Но — ха-ха-ха... тоскою странной... ха-ха-ха-ха... душа горит!» В апофеозе князь Звездич, всё потерявший в жизни, стреляет в игроков, и что-то еще очень эффектное. Ангелы уносят душу Эльзы — Нины на небо, а Неизвестный, в черном плаще, отворачивается от победного зрелища святых, проклинает свою судьбу и саркастически восклицает: «Не рад — иль рад? Так вот он, жи-зни маскарад!..»

Кончил — и написал музыканту Аренскому письмо, с приложением первого акта оперы. Писал, что «я чту Вас, как великого музыканта, творца «Бури на Волге», и рад послужить Вам своим трудом. Прочтите, и, если понравится, я немедленно принесу Вам всё остальное, где эффектов гораздо больше». Написал, что у меня и мотивы арий придуманы, и даже могу пропеть; ноты писать пока я не умею, но у меня есть знаки, по которым всегда напою до точности. Приложил и адрес.

Я хранил это в страшной тайне. Ждал дни, неделю, — письма от Аренского не приходило. Прошли в консерватории экзамены. Выдержала и сестра, и Эльза. А я всё ждал письма. И вот, как-то врывается к нам с хохотом Эльза, — о, коварная полячка! — схватывает меня за уши и начинает крутить по залу и припевать: «мы игроки, мы игроки! каки-каки, мы игроки!..» Я обомлел от ужаса. Оказывается — всё известно! Кому-то показал Аренский мое письмо, а я-то сглупа упомянул, что «музыка мне дорога, потому что я постоянно пребываю среди учеников консерватории и постиг все звуки, а моя сестра кончает «на виртуозку» и ученица Вашего знаменитого директора Сафонова!» От Аренского всё узнал какой-то певец, сказал другому, и дошло до коварной полячки Эльзы... — и был мне великий срам. И срам надолго.

Года через два после этой истории встретила меня Эльза, уже поступившая на сцену в провинцию, и первым ее словечком было, на всю-то улицу: «каки-каки, мы игроки!» Она была еще красивей и еще коварней. В синих ее глазах, — теперь они стали синие! — играла обжигающая, коварная усмешка и сладко пронзала сердце. Эльза протянула мне ручку, пахнущую гелиотропом, и пропела, тряся сережками: «ты теперь почти взрослый, и я жду от тебя новой оперы — «Люблю тебя». Обещаешь?» И засмеялась... ну, как Кармэн! я долго глядел ей вслед, и в голове звучало: «бойся ты лю-бви мо-е-эй!..»

И дома проходу не давали. Чуть что — и начинается:

«Каки-каки, мы игроки!»

Тем моя музыка и кончилась.

Март, 1932 г.

МИЛОСТЬ ПРЕП. СЕРАФИМА

То, что произошло со мною в мае сего 1934 года, считаю настолько знаменательным, настолько поучительным и радостным, что не могу умолчать об этом. Мало того: внутренний голос говорит мне, что я должен, *должен* оповестить об этом верующих в Бога и даже неверующих, дабы и эти, неверующие, задумались... Чудесно слово Исаии: «О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте!» (Исаии, гл. 62, ст. 6).

Старая болезнь моя, впервые сказавшаяся в 1909 — 1910 гг., обострилась весной 23 г. Еще в Москве доктора, к которым я обращался, предполагали, кишечные мои боли надо объяснить неправильным режимом, — «много работаете, едите наскоро, не жуя, много курите... очевидно, изобилие и крепость желудочного сока способствуют раздражению слизистой оболочки желудка и кишечника... Расстройство нервной системы также способствует выделению желудочного сока и мешает заживлению язвочек... Меньше курите, пейте больше молока, это пройдет, вы еще молоды, поборете болезнь». Отчасти они были правы. Правда, ни один не предложил исследования лучами Рентгена, ни один не предписал какого-нибудь лекарства... но, повторяю, отчасти они были правы: не определив точно моей болезни, они всё же указывали разумное: воздержание и некоторую диэту. Временами боли были едва терпимы, — в области печени, — но я опытом находил средства облегчать их: пил усиленно молоко, старался меньше курить, часто, днями, лежал и много ел. Поешь — и боли утихали. Странная вещь: во время болей, продолжавшихся иногда по два и по три месяца, я прибавлялся в весе. Это меня успокаивало:

ничего серьезного нет. Проходили годы, когда я не чувствовал знакомых и острых или, порой, «рвущих» болей, под печенью. В страшные годы большевизма, в Крыму, болей я не испытывал. Правда, тогда питание было скудное, да и куренье тоже. А может нервные потрясения глушили, давили боли физические? — не знаю. Пять лет жизни во Франции, с 1923 по весну 28 г. я был почти здоров, если не считать мимолетных болей — на 1-2 недели. Но ранней весной 1928 года начались такие острые боли, что пришлось обратиться к доктору. Впервые, за многие годы, один наш, русский, доктор в Париже, — С. М. Серов расспросами и прощупываниями установил предположительно, что у меня язва 12-перстной кишки и настоял на исследовании лучами Рентгена. Исследование подтвердило: да, язва..., но она *была,* а теперь лишь «раздражение», причиняющее порой боли. Мне прописали лечение бисмутом — ou nitrate de bismuth и указали пищевой режим. С той поры боли затихали на месяц, на два, и возобновлялись всё с большей силой. Я следовал режиму, не ел острого, пил больше молока, меньше курил, совершенно не пил вина, но боли стали появляться чаще, давали отсрочки всё короче. Наконец, дело дошло до того, что я редкий день не ложился на два-на три часа, чтобы найти знакомое облегчение болям. Но эти облегчения приходили всё реже. Доктора вновь исследовали меня лучами Рентгена, через 2 года, и вновь нашли, что язва *была,* а теперь — так, ее последствия, воспаляется оставленная язвой в стенках 12-перстной кишки так называемая на медицинском языке «ниша». Что бы там ни было, но эта «ниша» не давала мне покою. Бывало, я хоть ночами не чувствовал болей, а тут боли начинали меня будить, заставляли вставать и пить теплое молоко. Я стал усиленно принимать «глинку» (caolin), чтобы так сказать, «замазать», прикрыть язву или «нишу». Теперь уже не помогала и усиленная еда, напротив: через часа два после еды, когда пищевая кашица начинала поступать из

желудка в кишечник, тут-то боли и начинали рвать и раздирать когтями, — в правом боку, под печенью. Пропадала охота к работе, неделями я не присаживался к письменному столу, а лишь перекладывался с постели на диван, с дивана — на постель. С горечью, с болью душевной, думал: «кончилась моя писательская работа... довольно, пора...» Только присядешь к столу, напишешь две-три строчки... — они, бо-ли! *Там, где-то,* меня гложет *что-то...* именно, гло-жет, сосет, потом начинает царапать, потом уже и рвать, когтями. На минуту — другую я находил облегчение, когда выпьешь теплого молока. Полежишь с недельку в постели — боли на недельку-другую затихают. Так я перемогался до весны 1934 года. Ранней весной я стал испытывать головокружения, слабость. Боли непрекращающиеся. Я стал худеть, заметно. Я ел самое легкое, (и, между прочим, бульон, чего, как раз и не следовало бы), курить почти бросил, давно не ел ничего колбасного, жирного, острого. Принимал всякие «спесиалите» против язв... — никакого результата. Мне приходило в голову, что язва, может быть, перешла в нечто более опасное, неизлечимое. Начались и рвоты. Еда уже не облегчала, напротив: после приема пищи, через два часа, боли обострялись, начинало «стрелять» и «сверлить» в спине под правой лопаткой, будто там поселился злой жук сверлильщик. Я терял сон, терял аппетит: я уже боялся есть. Всю Страстную неделю были нестерпимые боли. Я люблю церковные песнопения Страстной, и с трудом доходил до церкви; преодолевая боли, стоял и слушал. Помню, в Великую Субботу, в отчаянии я думал: не придется поехать к Светлой Заутрене... Нет, преодолел боли, поехал, — и боли дорогой кончились. Я отстоял без них Заутреню. Первый день Пасхи их не было, — как чудо! Но со второго дня боли явились снова и уже не отпускали меня... до конца, до... чудесного, случившегося со мной.

Весь апрель я метался, не зная, что же предпринять

теперь. Мне стали советовать обратиться к французам-специалистам.

Обычный вес мой упал в середине апреля с 54 кило до 50. Я поехал к известному профессору — французу Б., специалисту по болезням кишечника и печени. Он взвесил меня: 48 кило. Исследовал меня тщательно, всё расспросил, — и выражение его лица не сказало мне ничего ободряющего. — «Думаю что операция необходима... и как можно скорей... — сказал он, — вы можете еще вернуть себе здоровье, будете нормально питаться и работать. Но я должен вас исследовать со всех сторон, произвести все анализы, и тогда мы поговорим». Меня исследовали в парижском госпитале Т. Это было 3 мая. Слабый, я насилу добрался с женой до этого отдаленного госпиталя. Боли продолжались: *что-то* сидело во мне и грызло — грызло, не переставая. Мне исследовали кровь, меня радиофотографировали всячески, было сделано 12 снимков желудка и кишечника, во всех положениях. Меня измучили: мне выворачивали внутренности, сильно нажимая деревянным шаром на пружине в области болей, подводили шар под желудок, завертывали желудок и там просвечивали — снимали. Совершенно разбитый, я едва добрался до дому. Я уже не был в силах через три дня приехать в госпиталь, чтобы выслушать приговор профессора, как было условлено. Я лежал бессильный, в болях. Мало того этот барит или барий, который дают принимать внутрь перед просвечиванием, — я должен был выпить этой «сметаны» большой кувшин! — застрял во мне, и я чуть не помер через два дня. Срочно вызванный друг-доктор, Серов, опасался или заворота кишек или — прободения. Температура поднялась до 39°. Молился ли я? Да, молился, маловерный... слабо, нетвердо, без жара... но молился. Я был в подавленности великой, я уже и не помышлял, что вернутся когда-нибудь хотя на краткий срок! — дни без болей. Рвоты усиливались, боли тоже. Пришло письмо от профессора,

где он заявлял, что операция необходима, что язва 12-перстной кишки в полном развитии, что уже захвачен и выход из желудка (пилер), что кишка деформировалась, что стенки желудка дряблы, спазмы и проч... — ну, словом, я понял, что дело плохо.

Я просил — только скорей режьте, всё равно... скорей только. А что дальше? Этого «дальше» для меня уже не существовало: дальше — конец, конечно. Ну, после операции, — месяцы, год жизни: уже не молод, я так ослаблен. Профессор прописал лекарства — беладонну (по 10 кап. за едой), висмут, особого приготовления — Tulasne, глинку — «Gastrocaol», лепешечки, известковые, против кислотности... (Comprimées de carbonate de chaux, Adrian) и еще — вспрыскиванья 12 ампул, под кожу (Laristine). — «Это лечение — я даю» — писал он, — «на 12 дней вам, чтобы немного вас подкрепить перед операцией, но думаю, что это лечение не будет действительным». Я начал принимать уже лекарства с 12, помню, мая. Принимать и молиться. Но какая моя молитва! Не то, чтобы я был неверующим, нет: но крепкой веры, прочной духовности не было, во мне, скажу со всей прямотой. Молился и Великомуч. Пантелеймону, и Преп. Серафиму. Молился и думал — всё кончено. Сделал распоряжения, на случай. Не столько из глубокой душевной потребности, а скорее — по православному обычаю, я попросил доброго и достойнейшего иеромонаха о. Мефодия, из Аньера, исповедать и приобщить меня. Он прибыл со Св. Дарами. Мы помолились, и он приобщил меня. Этот день был светлей других, и в этот день — впервые, кажется, за этот месяц, не было у меня дневных болей. Это было 15 мая. Должен сказать, что еще до приема лекарства профессора, с 9-го мая кончились у меня позывы на рвоту. И, странное дело, — появился аппетит. Я с наслаждением, помню, сжевал принесенную мне о. Мефодием просфору. Знаю, что обо мне в эти дни ду-

шевные друзья мои молились. Да вот же, эта просфорка, вынутая о. Мефодием!..

Меня должны были перевезти в клинику для операции.

Известный хирург — по происхождению американец, друг русских, много лет работавший в России и в 1905 году покинувший ее, д-р Дю Б... затребовал все радио-фотографии мои. Мой друг Р. привез эти снимки от проф. Б.... Я поглядел на них — и ничего не мог понять: надо быть специалистом, чтобы увидеть на этих темных листах — из целлулозы, что ли? — что-нибудь явственное: там были только пятна, свето-тени, какие-то каналы... — и всё же, эти пятна и тени сказали профессору, что «l'opération simpose», — операция необходима. На каждом из 12 снимков сверху было написано тонким почерком, по-французски, белыми чернилами, словно мелом: «Jean Chmeleff pour professeur B...»

И вот мой друг повез эти снимки и еще два бывших у меня, старых, к хирургу Дю Б. Это было 17 или 18 мая. В эту ночь я опять кратко, но, может быть, горячей, чем обычно, мысленно взмолился... — именно, взмолился, как бы в отчаянии, Преп. Серафиму: «Ты, Святой, Преподобный Серафим... мо-жешь!.. верую, что Ты можешь!..» Только. Ночью были небольшие боли, но скоро успокоились, и я заснул. Заснул ли? Не могу сказать уверенно: может быть, это как бы предсонье было. И вот, я вижу... радио-снимки, те, стопку в 12 штук, и на первом — остальных я не видел, — всё тем же тонким почерком, уже не по-французски, а по-русски, меловыми чернилами, написано... Но не было уже ни «Jean Chmeleff», ни «pour professeur B...» А явственно-явственно ну, вот, как, сейчас вижу: «*Св. Серафим*». Только. *Русскими* буквами, и с сокращением «Св.» И всё. Я тут же проснулся или пришел в себя. Болей не было. Спокойствие во мне было, будто свалилась тяжесть. Операция была уже нестрашна

мне. Я позвал жену — она дремала на соседней кровати, истомленная бессонными ночами, моими болями и своею душевной болью. Я сказал ей: вот, что я видел сейчас... Знаешь, а ведь Святой Серафим всех покрыл... и меня, и профессора... и нет нас, а только — «Св. Серафим». Жене показалось это знаменательным. И мне — тоже. Словом, мне стало легче, душевно легче. Я почувствовал, что *Он,* Святой, здесь, с нами... Это я так ясно почувствовал, будто *Он* был, действительно, тут. Никогда в жизни я так не чувствовал присутствие уже отшедших... Я как бы уже знал, что теперь, что бы ни случилось, всё будет хорошо, всё будет так, как нужно. И вот, неопределимое чувство как бы спокойной уверенности поселилось во мне: Он со мной, я под Его покровом, в Его опеке, и мне ничего не страшно. Такое чувство, как будто я знаю, что обо мне печется Могущественный, для Которого нет знаемых нами земных законов жизни: всё может теперь быть! Всё... — до чудесного. Во мне укрепилась вера в мир иной, незнаемый нами, лишь чуемый, но — существующий подлинно. Необыкновенное это чувство — радостности! — для маловеров! С ним, с иным миром неразрывны святые, праведники, подвижники: он им дает блаженное состояние души, радостность. А Преподобный Серафим... да он же — сама радость. И отсвет радости этой, только отсвет, — радостно осиял меня. Не скажу, чтобы это чувство радости проявлялось во мне открыто. Нет, оно было во мне, внутри меня, в душе моей, как мимолетное чувство, которое вот-вот исчезнет. Оно было во мне, как вспоминаемое радостное что-то, но что — определить я не мог сознанием: так, радостное, укрывающее от меня черный провал — мое отчаяние, которое меня давило. Теперь отчаяние ослабело, забывалось.

Дневные боли не приходили. Мне предстояла операция, я об этом думал с стесненным сердцем, — и забывал: будто может случиться так, что и не будет никакой

операции, а так... Может быть и будет даже, но так будет, что как-будто и не будет... Смутное, неопределимое такое чувство. Мне делали впрыскивание под кожу «ляристин'а» 12 ампул, я принимал назначенные лекарства, и не мог дождаться, когда же дадут мне есть. Аппетит, небывалый, давно забытый, овладел мною, словно я уже вполне здоров, только вот — эта операция! я смотрел на исхудавшие мои руки... что сталось с ними! А ноги... — кости! Я всё еще худею? и буду худеть? Но почему же так есть мне хочется? Значит, тело мое здорово, если так требует?..

22 мая меня повезли к хирургу Дю Б..., на его квартиру. Он слушает рассказ — историю моей болезни, очень строго: не любит многословия. Велит прилечь и начинает исследовать: «больно?» — нет... «а тут?..» — нет. Захватывает жмет то место, где, бывало, скребло, точило: нет, не больно. Я думаю, зачем же операция? Хирург поглаживает мне бока и говорит, но уже ласково: «ну, хорошо-с». Просматривает доставленные ему еще вчера рентгеновские снимки. «Эти снимки мне ничего не говорят... ровно ничего... — и подымает плечи, — я ничего не вижу! я должен сам вас снова просветить на экране... Ваша болезнь... коварная! Ложитесь в наш госпиталь, и чем скорей — тем лучше. «Странно» снимки! ничего не говорят «я ничего не вижу...» Но, ведь, говорили же они профессору Б.? и он видел!? Я вспомнил «сон»: «Св. Серафим»! Он покрыл, «заместил» собою и меня, и профессора Б. Может быть закрыл и то, что видел профессор?.. и потому-то хирург Дю Б... не видит?.. 24 мая меня положили в лучший из госпиталей, в американский, где Дю Б. оперирует. Меня взвешивают: 45 к., опять падение! А, всё равно, только бы дали есть. Я один в светлой большой палате, — в дальнем углу какой-то молодой американец. Я пью с жадностью молоко, прошу есть, но мне нельзя: завтра будут меня просвечивать. А пока делают анализы, выстукивают меня, выслушивают,

разные доктора, смотрят снимки и — ничего не видят?! Но там всё же «каналы» и свето-тени. Сестры на разных языках спрашивают, как я себя чувствую. Прекрасно, только дайте поскорей есть. Мне дозволяют молока, — только молока. Я попиваю до полуночи, с наслаждением небывалым. Чудесное, необыкновенное молоко! Я — один, мне грустно: за сколько лет, впервые, я один, — и всё же, есть во мне какая то несознаваемая радость. Что же это такое... радостное во мне?.. Я начинаю разбираться в мыслях... да-а, «Св. Серафим»! Он и здесь, ведь! вовсе я не один... правда, тут всё американцы, француженки, шведки, швейцарка даже, — чужие всё... но Он со мной. Поздно совсем входит сестра, русская! — «Вы не один здесь», говорит она ласково — «за вами следят добрые души», — так и сказала «следят»! и «добрые... души»! «мы ведь вас хорошо знаем и любим». Правда?! — спрашивает моя душа. Мне светлее. Кто же она, добрая душа, — русская? Да, сестра, здесь служит, племянница В. Ф. Малинина. Я его знаю хорошо, москвич он, навещал меня в начале мая. Я рад ласковой сестре, душевной, нашей. Она говорит, что знает мои книги... «Неупиваемая чаша» — всегда при ней. Я думаю: она так, чтобы утешить лаской меня, больного. Мне и светло, горестно: всё кончилось, какой же я теперь работник! Она уходит, но... нет, я не один, у меня здесь родные души, и Он, со мной, тоже наш, самый русский, из Сарова, курянин по рождению, мое прибежище — моя надежда. Здесь, в этой — чужой всему во мне — Европе. Он всё видит, — всё знает, и всё Он может. Уверенность, что Он со мной, что я в Его опеке, — могущественнейшей опеке во мне, всё крепнет, влилась в меня и никогда не пропадет, я знаю. И оттого я хочу есть, и оттого не думаю, что скоро будут меня резать. С непривычки, мне одному мучительно тоскливо: жена придет ведь только завтра, на два часа всего. И всё же, мне это переносно, ибо не один я тут, а — всё может случиться так, что...» Я боюсь додумы-

вать: «что операция и не будет». Мо-жет... Он всё может! Утром меня снимают, долго смотрят через экран: сам хирург и специалист — рентгеновец, оба люди немолодые. Гымкают, пожимают плечами. Нажимают — не сильно пальцами, спрашивают — больно? Ничего не больно... ибо всё может быть. Я опять пью «сметану». Мне говорят — можете идти очень хорошо. Для них? поняли? нашли? всё ясно? Мне ничего не говорят.

На утро хирург Дю Б. говорит мне: «пока ничего не могу сказать... болезнь коварная...» Да что же это за «коварная» болезнь? Я хочу есть и есть. Об операции мне скажут — дня через два. Мне начинает думаться, что дело плохо: стоит ли и делать операцию, — потому и не говорят, — не знают? Мне подают подносы с разной пищей, очень красиво приготовленной: американцы! Я удивляюсь: острые какие блюда, а бифштекс, с крепким бульоном даже, прямо, яд! Я сам назначаю себе диэту, и мне дают... Да, ведь здесь только оперируют... меня то привели сюда оперировать, а не лечить. Я плохо сплю, но болей нет и ночью, — первая ночь, когда у меня нет болей!

Сегодня меня будут оперировать? Нет, пока. Приходит Дю Б. Говорит: — «Ваша болезнь коварная...» Опять! — «я не вижу необходимости в операции.... так и напишу профессору. Я не уверен, что операция даст лучшие результаты, чем те которые уже есть...» Он говорит по-русски, но очень медленно и очень грамматически правильно, старается. А я с бьющимся, с торжествующим сердцем, думаю: *«покрыл и его»*. Да: *Он, «Св. Серафим», покрыл...* Это Он... — «лучшие результаты». Лечение проф. Б.? Да лечение, полезное, но... *Он покрыл*. Я знаю: Он и лечению профессора Б. дал силу: ведь сам профессор ясно же написал, — у меня цело его письмо! — «в активность лечения не верю», — а уж ему ли не знать, когда десятки тысяч больных прошли через его руки! — «и потому считаю, что операция

необходима». А вот хирург Дю Б. говорит — не вижу повелительных оснований для операции. А он всё видит, всё знает и направляет так, *как надо*. Ибо Он в разряде ином, где наши все законы Ему яснее всех профессоров, и у Него другие, высшие законы, по которым можно законы наши так направлять, что «*невозможное*» становится *возможным*. Мне говорит дальше хирург Дю Б., что желудок хороший, что пилор — выход из желудка, не затронут, что... Одним словом, я, пробыв в госпитале пять суток, выхожу из него, под руку с поддерживающей меня женой, слабый... кружится голова, но, Боже, как чудесно! какие великолепные каштаны, зеленые-зеленые.. и какое ласковое, радостное небо... какой живой Париж, какие милые люди, как весело мчит автобус... и вот, дыра «метро», но и там, под землей, какие плакаты на стенах, какие краски! Только слабость... и ужасно есть хочется. А вот и моя квартира, мой «ремингтон», с которым я прощался, мой стол, забытые, покинутые письма, рукописи... Господи, неужели я еще буду писать?! Сена под окнами, внизу. Какая светлая она... теперь! Вон старичок идет, какой же милый старичок!.. А у меня нет Его, образа Его... Но Он же тут, всегда со мною, в сердце... — Радость о Господе!

Я ем, лечусь, радуюсь, дышу. Через две недели мой вес 49 кило. Еще через две недели 51 кило. Болей нет.

Я уже не шатаюсь, ступаю твердо, занимаюсь даже... гимнастикой. Какая радость! — Я могу думать даже, читать и отвечать на письма. Во мне родятся мысли, планы... рождается желание писать. Нет, я еще не конченный, я буду... Я молюсь, пробую молиться, благодарю... Страшусь и думать, что Он призрел меня, такого маловера. Но *знаю:* Он — призрел.

Слава Господу! Слава Преподобному. Ходатаю: вот, уже семь месяцев прошло... я жил в горах, гулял, взбирался на высоту, — ничего, болей — ни разу! Правда, я очень осторожен, держу диэту, принимаю время от вре-

мени лекарства — «глинку». Боюсь и думать, что исцелен. Но вот, с памятного дня, с 24 мая, с первого дня в госпитале, боли меня оставили. Совсем? может быть, вернутся? Но что бы ни было, я твердо *знаю:* Преподобный всех нас *покрыл,* всех отстранил, — и с нами — законы наши, земные... и стало возможным то непредвиденное, что повелело докторам внимательней всмотреться — может быть втайне и вопрошать, что *это?* — и удержаться от операции, которая «была необходима». Может быть, операция меня... — не надо размышлять. По ощущениям своим я знаю: радостное со мной случилось. Если не говорю «чудо со мной случилось», так потому, что не считаю себя достойным чуда. Но внутренне-то, в глубине, *я знаю,* что чудо: Благостию Господней, Преподобного Серафима Милостию.

28 декабря 1934.

Париж.

ЧОРТОВ БАЛАГАН

Провожали капитана М. Сошлось человек пять, верных. Сам капитан имел вид странный, совсем не напоминавший капитана: мешок-мешком. Широченные панталоны, балахон, шапочка, туфли, — всё было из мешковины, с кострикою. Хороши были и провожавшие. Профессор был, например, в фуфайке футболиста и трусиках, а хозяйка квартиры, двоюродная сестра капитана, — в высоких сапогах и кожаной куртке. Капитан сидел в середине круглого стола и медленно попивал коньяк. К нему присматривались с уважением, и не без страха: проводы были с риском. Капитан был отчаянный, начальник бело-зеленого отряда, два года державшего в страхе Крым. Это он совершил налет на провиантские склады и вывез в горы четыре грузовика муки, сала и аммуниции. Это его ловили на Пушкинской двумя ротами, и он провалился как сквозь землю. Это он самый бежал с семерыми из чрезвычайки, а через два дня в центре «снял» ударом кинжала в горло охранявшего вход чекиста. И вот этот опасный человек сидел теперь совсем близко от страшного дома в проволоке и пил коньяк. Он пил, а на него поглядывали. Правда, был уже не капитан это, а «уполномоченный профсоюза шахтеров Криворожья», прибывший в С. хлопотать о санатории в Алупке. Знали, что сейчас он едет на южный берег, где его ждут с баркасом. Знали, что турецкая шхуна, привезшая рис и кофе, уже три дня болтается за горизонтом.

Профессор сидел очень неспокойно — вертелся и всё облизывал пальцы, словно сейчас обжог их. Было ему не-

ловко: сам затеял, и разговор получился неприятный. И всем было неприятно.

— Простите... — шептал профессор, всё время озираясь, — это не значит, — примириться. Есть глубоко психологическое... Одних удержала любовь к науке, труды всей жизни... других — любовь к народу, к стране, которая должна, пусть даже контрабандно, продолжать жить духовно-культурной жизнью! Всем уйти, способствовать духовному оголению?! Нет, иные готовы вынести миллион терзаний и унижений... но... — задохнулся профессор в шопоте и быстро облизал пальцы.

— Есть и белые вороны... — сказал капитан хмуро. — Вот пришли проводить меня, и я признателен. Не буду спорить. На прощанье хочу немножко повеселить друзей. Расскажу вам препикантную историйку.

— Он не совсем владеет собой... понимаете, сколько пережито!.. — шепнула профессору хозяйка, всё время сновавшая по окнам. — На левой руке у него капсюль с циан-кали, а в кармане граната и браунинг...

— Понимаю, понимаю... — прошептал профессор, покосившись.

— Только подумайте... — продолжала шептать хозяйка, — его фотографии расклеены на углах, а он вчера заявился в исполком, потребовал секретаря, предъявил свои «полномочия» и чуть ли не со скандалом требовал немедленного содействия, грозя телеграфировать в Москву! Потом явился в чека и представил такую ужасную бумагу, что все телефоны заиграли!.. Час тому назад заезжал сам Горлис и успокоил, что машина будет подана в 9 вечера!.. Вы же видите, что он играет со смертью!..

— Сам... Горлис!? — прошептал в ужасе профессор.

А игравший со смертью с наслаждением выпил коньяку и сказал:

— Хо-рош. Потому что — *старый*. А что, если нас накроют?! Тут уж и любовью к науке не защитишься. Хотя был случай, что и тут сумели. Как? Просто: выдали еще дополнительных троих! Но после сего... погуляли не больше месяца: хозяева недоверчивы! Вам, господа, я благодарен за мужество, за посильную помощь и сочувствие. И уходя, чувствую потребность высказаться. Передайте маленькое завещание. Придет время — и мы, делавшие будем судить! Знаю, для многих искусников в психологии более приятен суд истории. Эта особа чиста, как белая бумага. Принимает любое освещение. Особенно эффектны розовые тона. Кровь, например, придает ей удивительно нежный отблеск!.. За резкости пусть извинят меня. Давно привыкли проглатывать и не такие, и не от таких. И потом — все так или иначе прошли или перепрыгнули через смерть, иные пролезли под нее на брюхе, иные на карачках, на языке... Совесть не в счет. И потому можно себе позволить на прощанье быть свободным — в свободнейшей из республик. Да имейте в виду... мы здесь висим на волоске. Вы почтили меня, посылаете со мной привет на ту сторону... бежавшим и отступившим с честью... и я должен предупредить: когда я сюда входил, подозрительная фигура провожала меня до переулка. У окна не садитесь, оно должно быть свободно. У дверей тоже: необходимо поле для обстрела. Профессор, вы сели не совсем удобно... Уходите... Это особенно опасно, прямо — в лапы!..

— Позвольте... — сказал профессор, облизывая пальцы, — я только поправил стул...

— Виноват. Коньяк прекрасный. Спасибо, доктор. Выписано для умирающего коммуниста? Знаю, нельзя иначе. Как и сливочное масло, которое идет «бедным деткам», упражняющимся в ритмической гимнастике в зале, что на углу улицы Жуковского. Видал. При встрече расскажу. И чудесное варенье, по протекции секрета-

ря исполкома, из розовой черешни! Прекрасное варенье. Горлис кушает его банками. Чья-нибудь бабушка варила! Так всё удивительно волшебно, кончая нынешним заседанием спецов по вопросам климатически-санаторного лечения. Представитель Донбасса — ткнул себя капитан в мешок, — доктор, профессор гигиены, метеоролог, делегат от железных дорог, от нарздрава... представители Правды-Истины и Правды-Справедливости. И на стене Михайловский! Помните, про Пушкина или Венеру и — топор-то! Он бы непременно схватил топор и стал бы защищать «ценности»! За его здоровье!.. К сожалению, на том свете... Редкостная фантасмагония!.. А до прибытия машины от нарздрава, которая понесет меня в Алупку, расскажу-ка я вам, друзья мои, презабавнейшую историю о... чортовом балагане!

— Это случилось в марте 21 года. Мой отряд в восемнадцать человек держал Чатырдагский Перевал. По деревням сидели свои люди, были друзья-чабаны. Облавы на нас кончались для красных неудачно. Дороги стали не проезжи. У комиссаров пропала охота путешествовать. За три недели семнадцать махровых поехали в дальнюю дорогу. Только двое из них встретили смерть прилично. Прочие оправдывались нуждой, темнотой, обманом. Служащим наши конвойцы — чеченец Мустаф-Оглы и кубанский казак Хоменко давали по десятку плетей за расторопность, после проверки их семейного положения. Выдрал я тройку учителей, двух артистов, одного лектора и одного врача-прохвоста, который служил у всех, обзавелся домком и принял с хлебом-солью первый карательный отряд красных. Следовало бы расстрелять, конечно, но врачу — льгота. Советское отбирали. Бедноте давали хлеба и сала. Предателей вешали. Красноармейцев-болванов разоружали, разували, иногда кормили: чего со скотины спрашивать! Но казак наш всегда огревал на прощанье плетью. Если бы не наша мягкость, ни один бы интеллигент военного возраста и

здоровый не ушел бы от нас живым: на борьбу не пошли, а теперь воют и ползают на брюхе! Не послушались Михайловского! А он бы им показал, как защищает ценности культуры!.. Не правда ли? Отпускали: пусть на здоровье в помойке тонут!

— И вот, однажды, дают с поста, что поднимаются две подводы, от берега, и на одной, на каких-то ящиках, едет барин, покуривает, в мягкой шляпе. Я выслал чеченца — заворотить в долину. Было пониже Перевала. Барина сняли с воза. Это была фи-гу-ра! В крылатке, поверх шубы, — шуба хорьковая, — в шляпе колоколом, в очках, толстый, огурчиком, в изящно подстриженной бородке, розовенький, с типичным лицом интеллигента. Возчик-хохол сказал, что подводы казенные, по комиссарскому приказу, а барин — что он человек ученый, профессор Самолетов. На поляне я осмотрел поклажу. Воза — до верху, имущество, обстановочка: мебель, кровати, шкафы, ящики с книгами. Допрос: кто, куда, зачем. В руках у профессора что-то тяжелое, обернутое в чехол. И я, лесной человек, по грудь черная борода, и космы, вдруг — узнаю профессора! Это был... мой профессор! Ну да, тот самый... — помните, на недавнейшем торжестве со слезами в голосе приносил благодарность премудрой и попечительной власти, разрешившей ему читать об истории итальянского Возрождения, о трубадурах во Франции, о Данте, о кватроченто и квинченто, хотя и с точки зрения марксистского подхода... То есть, *тогда-то* он был приват-доцентом, и, надо это сказать, бездарным, но за революцию стал профессором. Знаете, завоевания революции. Многие завоевали... Он меня не узнал, понятно, а я не нашел нужным ему представиться. Но называл я его почтительно: «господин профессор»! — «Что везете, г. профессор?» — «Имущество и свою библиотеку». — «Счастливый вы человек, г. профессор! Сколько профессоров уже израсходовано, сколько не имеют даже штанов, сколько библиотек сожжено и растаскано! Вам

повезло, г. профессор. Даже пружинный матрац при вас. Получили даже казенные подводы. Что читаете, г. профессор?»

— Если бы вы видали гордое выражение розового лица и посиневшего от страха носа! Он бормотал что-то очень невнятное; про... Данте, про «Божественную Комедию», эпоху Возрождения, про стишки менестрелей, про кватроченто... Я кусал губы, чтобы не расхохотаться. Редкий идеалист! Святой идеалист! Да ведь как же?! *Ничего* нет, всё вытоптано, выточено, опоганено, выпотрошено, забито, вбито, дохнут с голоду, жрут человечье мясо, нельзя охватить сознанием что творится... а этот идеалист, в хорьковой шубе, с мраморным умывальником и пружинным матрацом, бредит еще о... Данте, о «Божественной Комедии», о кватроченто!.. Рядом стоит поручик Сушкин, в чахотке, бьет его лихорадка, израненый, медик, бросивший лазарет, влившийся в наш полк, оставшийся с нами до конца! Отца его, профессора медицины, комиссары расстреляли, как черносотенца. Рядом — Вася, мальчик совсем, примкнул с Ростова. Его сестер умучили постыдно, расстреляли родителей... Мой чеченец, Мустаф-Оглы, благородный, аул его стерли, и всё в нем стерли. Рядом — семинарист Неаполитанский, мужлан со слезами, бывало, певший «Волною Морскою» и восторженно говоривший о древней русской церковной живописи, мечтавший уйти в монахи, «когда очистим». И сын другого профессора, математика, растерзанного в Одессе, сам гениальный математик, штабс-капитан с Георгием, в пещерах крымских в свободную минуту решавший проблемы Лобачевского... И милый, девица нежная, Сеничка, наш поэт, недавно забитый шомполами... И — этот идеалист-чудак, *мой* профессор!.. Он, бывало, старался подымать души, призывая забыть действительность. Я его сразу понял: не от мира сего?.. Говорил, бывало: «что может быть выше, господа, такого-то стиха, такой-то песни «Божественной Комедии»!? Или:

«представляете ли вы себе, как благородная душа избранного француза находила выход в творчестве вольных трубадуров?! Рыцарь и трубадур... — чудеснейшая гармония духовной избранности!..» Правда, больше цитировал по книжке.

— Но идеалист чувствовал себя что-то не очень важно. Что понимают в искусстве лесные люди! Мы осмотрели чемоданы и ящики. Было всего достаточно. Был даже серебряный кофейный сервиз! Профессор любил фамильное. У профессора оказались даже добровольческие английские фуфайки и даже добровольческие штаны. Он получал натурой! У профессора оказался непромокаемый офицерский плащ, с английским клеймом. Профессор боялся сырости. У профессора оказалась пара пятикилограммовых жестянок с американским мясом. И сгущенное молоко, и повидло, и бисквиты... — «Откуда это у вас, г. профессор?» — «Это мне выдавал...» шопотом сообщил профессор, — и даже оглянулся! — «Осваг»! Осведомительное Агентство у добровольцев». — «Ага, вы работали и на армию, г. профессор! Читали о... Данте?» Он забормотал: — «я читал вообще... К счастью, об этом неизвестно большевикам. Два раза я выступал с лекциями о...» — «А теперь г. профессор, читаете о трубадурах?» — «Я профессор европейских литератур... Моя специальность «Эпоха Возрождения». — «И это *им* очень нужно? И за *это* вам дали две подводы, и всё ваше барахло неприкосновенно, и вы перетаскиваете его через горы, с опасностью для жизни? Вы предусмотрительны и практичны, г. профессор. Вы не забыли даже и повидла!

— Профессор похлопывал глазами. — «Что вы держите, г. профессор?» — мотнул я на завернутое в чехле. Размотали и вытащили... небольшой, зеленоватой бронзы, бюст Данте, известный, в лаврах. — «Осмотреть карманы г. профессора!» Нашли билет члена ученой колле-

гии наркомпросса, записную книжку. В ней — «программы текущих лекций». Помню: «Марксистский подход к Эпохе Возрождения», «Эпоха Возрождения, как яркий протест против гнета и мрака Церкви». «Искусство, как средство борьбы с религиозным суеверием», «Маркс, как выразитель духовных сил Европы». «Элементы сатиры на религию в русском народном творчестве»...

— «Вы удивительно восприимчивы, г. профессор! — сказал я, прочитав тезисы. — И Маркс, и — Данте?!» Полагая, очевидно, что перед ним лесной человек, профессор пробовал изворачиваться и нес невыразимую чепуху. — «Вам дали хорошую квартиру за... Данте? за ваш «подход»? — «Но я подхожу критически...» — лепетал он, — «мы поддерживаем культуру, храним неумирающий огонь искусства...» — «Изворачиваться, г. профессор? Наука и искусство а-политичны, и потому вы *им* служите? то есть, несчастному, темному народу?! Нельзя же его оставить без «Божественной Комедии» и прочего? Как нельзя лишить его и театра, этого *святого* искусства, которое всегда а-политично! И потому вы возите повидло, английские штаны, бычье мясо, пружинный матрац, Данте... Вдохновенно же вы, должно быть, читаете о Данте, г. профессор! Желал бы я вас послушать! Кушаете повидло и цитируете из Данте? Ну, а вдруг покровители вам прикажут... наплевать на Данте?!» Профессор передвинул очки и заморгал, как обезьяна. Наплевать на... Данте?! — «Запротестовали бы?» — «Но я не могу и вообразить подобное!» — прошептал он. — «А если бы?! Ведь вот же, наплевали они в человеческие души, оскверняют храмы, издеваются над святым народа... убивают святителей... Почему бы *им* с Данте-то церемониться? Как вы полагаете... обожаемый Данте стал бы скверниться с *ними?* перекроил бы для них свою «Божественную Комедию» в... «Чортов Балаган»?! Отвечайте-ка, г. профессор!» — «Но это... трудно вообразить...»

— хотел увильнуть профессор. — «А вы понатужьтесь и вообразите»! Он молчал.

— «Вскрыть сундуки»! Оказались книги. Много *их-них:* профессор переучивался плясать по-новому. Портреты «вождей», в рамках. — «Произведения искусства, г. профессор? из... «кватрочентов»? Профессор глядел в землю. — «Г. профессор!..» — и тут я почувствовал в себе «железо». Я мысленно охватил светлое когда-то море наше, — культуру нашу, — превращаемое в помойку, цвет народа, заплясавший под свист и кнут, применившийся и оподляющийся, пожалевший растаться с повидлом и штанами... и сказал: — «стрелять умеете?» — Никогда не стрелял...» — «Ну, плевать-то умеете, конечно?». Профессор смотрел недоумевая. — «Хоменко!» — сказал я нашему казаку, — «дай-ка мне... нет, возьми-ка эту штучку зеленую», — показал я на бюстик Данте, — «поставь на камень!». Хоменко, ухмыляясь, поставил Данте. — «Г. профессор! Способны вы умереть за Данте или продадите его за глоток повидла?» Профессор стоял столбом. — «Плюньте *ему* в лицо!.. Не мо-жете?! Плюнули же в лицо... России!?! на *всё* святое!? Почему не плюнуть на... *этого?!*» — «Зачем вы... издеваетесь надо мной!» — вырвалось с мукой у профессора. — «А *им*... говорите — «зачем издеваетесь надо мной»!? Громко говорите, г. профессор? Ну, плюйте! Думаете, лесной человек не знает Данте? Я *знаю* и потому предлагаю вам: плюньте! Когда этому казаку Хоменке приказали плюнуть на его Данте, он не плюнул. А когда увидал, что плюнули, он взял винтовку и бросил свое повидло со штанами. Вы не пошли от своего... Данте. Значит, вы его свято чтите, без него вам *нельзя.* Без него — смерть. Ну... так — плюньте!» Профессор смотрел дико. — «Я даю вам сроку... пять секунд! Вдумайтесь. Если по пятой не плюнете... Хоменко!» — и сказал я тем голосом, который у меня знал Хоменко, — «возьмешь на прицел г. профессора! По пятому счету, если он не плюнет в эту

штуку, — в этот ученый лоб!» — «Так точно!» — сказал Хоменко, вскидывая винтовку. — «Подымите повыше вашу шляпу, г. профессор!» С профессора пот покатился градом. — «Вы... шутите?..» — умоляюще хрипнул он. — «А вот, поглядите на Хоменко!» Он поглядел — до ужаса Хоменко целил в пяти шагах, каменный, как всегда. — «Профессор, помните... мы *вне жизни*. «Божественная Комедия» кончилась, и теперь — «Чортов Балаган». Вы в нем играете образцово, и за эту игру платят вам вашей шкурой. Ну-с... полагаю, что плюнете! Хоменко, по пятому счету — в лоб! Повторять не буду. Начинаю... Раз, два, три...»

— Профессор на третьем плюнул. — «На *всё*, ведь, плюнули, г. профессор! С Данте чего же церемониться!? А теперь возьмите его в ручки и ступайте за мной, сюда». Он взял Данте и пошел, шатаясь. Мы подошли к обрыву. Долина синела мутно. — «Швырните его, г. профессор! Там ему поспокойнее будет. А то всюду таскаете с повидлом. Пора старичку и успокоиться. Ну, давайте!» Профессор кинул. Чокнуло по камням. — «А теперь — можете продолжать. Стойте, снимите сапоги. Сапоги краденые. Довольно с вас умывальника и матраца. Расскажите коллегам о представлении!»

Босой, он ловко вскарабкался на свои ящики. Пошли подводы на дорогу. Наши хохотали до упаду. Хоменко сказал: «А лихо вы его в Маркса плюнуть заставили!».

— А вы застрелили бы его? — спросил профессор.

— Не пришлось бы! — сказал капитан резко. — Потому что *они*, оставшиеся своею волею, плюнули бы во *всё*. Да уж и плюнули. Не пришлось бы. *Они* по третьему счету плюнут... дело обычное. Хоть и объясняются в любви, но плюют исполнительно. Ну, а теперь пора... Вон и машина, слышите?

Слышался шум машины. Капитан выпил остальное.

Забрал мешок и, кивнув, вышел в парадное. Было слышно, как он выговаривал шоферу, почему так долго.

Оставшиеся сумрачно пошептались, посидели — и разошлись по своим углам.

Декабрь 1926 г.
Севр.

ИЗ КРЫМСКИХ РАССКАЗОВ

1. Крест. 2. «Ентрыга». 3. Виноград.
4. Стенька-рыбак

Крест

В то лето, первый год революции, я жил у приятеля в Крыму. По дорогам еще не грабили, в садах и на виноградниках шли работы, приезжие купались, катались под балдахинами, езжали даже на пикники. В городке, внизу, наезжие неизвестные уже начали, правда, разогревать рыбаков и садовников — отбирать дачи у буржуев, но народ был мирный и трудовой, знавший копейке цену: дачку-то получить не плохо, да, пожалуй, про всех не хватит, и без драки не обойтись. Присланные «газовики», из лазарета, начинали уже трясти сады и выламывать розовые кусты, «для барышнев», но покуда было еще спокойно. А наверху, где я жил, было совсем мирное житие. Бродили по балочкам коровы, побрякивая боталами, зрели в стеклянном блеске облитые солнцем виноградники, постукивали ленивые можары на белой дороге за холмами: по утрам синеватые дымки дымились над тихими мазанками; белыми лебедями трепетало вымытое белье по ветру, где-то автомобиль поторкивал, дале-ко... — смотрели горы да сонно синело море.

Но приятель-художник уже не расставлял мольберта, не *брал* ни «стеклянного блеска виноградников», ни «балочки на солнце». Я был несказанно удивлен, когда заявил он мне, что теперь... «занялся коровами». Он был человек практичный, но не только это толкнуло его на фермерство. Он говорил, что идут новые времена и «будет предъявлен счет». Ну да, жизнью. — «А зависеть от хама не желаю!» В дальней балке он поставил зимой коровники, домик доильщицам, купил стадо голов пятнад-

цать, — «краса-вицы, а не коровы!» — и поставлял молоко для лазарета: дело полезное и верное.

— Сам работаю дьяволом, и ни одна скотина не посмеет орать на меня и называть буржуем. Работаю на государство. Ну, и сам буду независим. Может и мужицкая кровь сказалась. Никакой не толстовец, а... любо мне. Буду писать коров, есть такие кра-савицы!.. Теперь критики скажут, что Пиньков от пейзажного импрессионизма ушел в «коровы» — плевать. В коровьих глазах я теперь вижу больше, чем в иной человеческой харе. А «харю» вы у меня увидите.

Пиньков и всегда был странный, что-то в себе носивший; но в тот приезд он показался мне чрезвычайно странным, резко переменившимся. Он ходил чуть-ли не оборванцем, в обвислых штанах горохового цвета, в чуваках на босу ногу, в синей рубахе, пропотевшей и вонявшей коровником, в поярковой выгоревшей шляпе широким колоколом. Брился редко, ногти были поломаны и грязны, мужицкие руки в ссадинах, взгляд мрачный. Огромная его «студия» — вся его дачка состояла из одной этой комнаты, а я устроился в маленькой закутке, — представляла теперь какой-то разрытый склад: стояли мешки с мукой и отрубями, висела сбруя, грудились молочные бидоны, на стуле «прогуливалась» пропотевшая рубаха, отстаивались в блюдах сливки, — а со стены глядели на всё это «кусочки солнца» в талантливых этюдах, Репинский Толстой в поле, две-три коровьих морды и круглолицая молодая баба с «коровьими» глазами. Лицо молодки выписано было сочно, играло жизнью.

— Вот это — же-нщина! — говорил Пиньков. — Но это что, тень только. Поглядите ее в натуре, на работе. Это — *жизнь!* Только она всё это... — показал он кругом, — освещает... и освя-щает. В этом — вся философия и весь смысл. Это — ро-бота! — выговорил он округло, веско. — Сила хозяйственности, порядка, *вер-*

ности. Я ее очень уважаю. И звать ее... ну, как вы думаете?.. Ма-ша. Лучше не подберешь. Я знаю народ, и *знаю,* во что может обернуться *это*... которое именуют революцией. Махрового представителя *этого* вы увидите... работает на ферме. А Маша... Ну, вы увидите — и поймете, почему я отдался ферме. Жизнь, говорят, борьба... — я борюсь.

Перед вечером мы пошли на ферму, в версте от дачи. Кругом были выжженные холмы и балки. Мы поднялись на самую высоту, откуда видно шоссе на Ялту. Глубоко внизу лежал бело-золотистый городок в синей кайме залива. Горы — Чатыр-Даг, Демерджи, Судакские, — всё те же. А в балочке под нами — новый совсем «пейзаж»: выбеленая мазанка, «в крестовину», низенькие сараи, крытые побеленым толем, пригнанные доить коровы, огненные в вечернем солнце, розовые, червонные... белоголовые ребятишки с кусищами ситника под носом, золотая гора навоза, блистающие водой колоды... в пустынной когда-то балке — играло жизнью. Коров уже доили. Было видно, как проворно играли голые бабьи руки под вздутым брюхом; в тихом вечере было слышно, как зыкзыкали струйки об доенку. Из домика вышла босая, подоткнутая баба, с кофейными руками и ногами, светловолосая, поглядела на нас из-под ладони и легкою перевалочкой пошла к коровам.

Мы спустились. На корявых бревнах курил-поплевывал какой-то жигулястый, в матросском тельнике, очень грязном, в сплюснутом картузишке на макушке, рыжевато-веснущатый, худолицый и скуластый. Он остро метнул в нас глазками и подкрутил верткую ногу под бревно, как хвостик. Пиньков хмуро спросил его, кончил ли штукатурную работу.

— Как это ко-нчил, скоры вы больно на концы! — дерзко сказал веснусчатый, и я заметил, что и руки его в горчичных пятнах, крапчато-пегие, и к тому же еще

рябой; зеленоватые, злые глазки, «змейные», хитро и зло шныряли; верткие его ноги завивались, словно искали спрятаться. — Гулять приехали? — спросил он нагло, сплевывая старательно и, видимо, интересуясь этим. — Эх, житье господам! А нам, черному народу, одни поглядки.

— Поговорите-ка с ним, первый оратор здесь, самый балабол, — хмуро сказал Пиньков, — а я по хозяйству пройдусь пока. Ну-ка, разговорись, Марчук, просвети барина.

— Я знаю, вы писатели... — лениво сказал Марчук, которого Пиньков называл за глаза Гришкой. — А про чево вы писаете? небось про девок, про всякие пустяки... денежки огребаете. Я писателев зна-ю, у нас на «Потемкине» то-же были писа-тели... одного мы в топке чуть не сожгли, с альхеереем... забрали тогда с Афона, в газеты про нас писал. Не альхерей... энтого мы за толстое брюхо взяли и сожгли... я его первый жег! Он кричит — ай-яй-яй!.. а я ево, прямо за волосья — и в топку, пой, сукин сын, молебен, и никаких. А что, господин писатель, чать вам не ндравится наша леворюция? Семен Миколаичу дюже не ндравится. Я ему предупрежал, не встревайтесь не в ваше дело, мажьте свои бумажки... дак он вон коровками занялся, на бабах ездит. Хлопцев наших никак не узял, а где это видано... нежное сучество пущать на лошади по горам молоко возить! Разве бабе можно управиться, по горам?! Намедни Ма-ша... везла оттеда, с лазаретов, помои... теперь товарищщей-солдатиков мы сытно кормим; сами хозяева стали... дак они уж и макаронов не желают. Вот Семен Миколаич и пристроил, задарма макароны, а ?! коровам своим мака-роны травит, всенародное достояние, а?! И что же, бабенка молоденькая, животом бочку подпирала, сам видал! Вить она так всею себя испортить может, это недопустимо так, исплоатация трудовой женской слабости... Я, говорит, сам те-

перь трудовой, а не буржуй, а?! А на бабах ездит? Ему коровами забавляться... по гривеннику за бутылку давай! Мало ему краски травить, от утрудяшщного народа хорошую пользу отбивает, кажный ему день со-рок целкачей находит, да пойло с солдатиков, да сено даем казенное... а он денежки загребает. Нет, мало им леворюции...

Я покуривал и слушал «первого оратора». Он нес околесицу, и в этой околесице было одно и одно — необъяснимая на всё злость. Спорить с ним, что-то ему доказывать, — было, конечно, бесполезно. Он и сам это чувствовал.

— А чего вы, господин писатель, слушаете да помалкиваете, не можете ничего напройтив сказать? не мо-жете? А-а... у нас правда, вот и не можете. А вы скажите одно словечко, а я в опо-ницию всё скажу, докажу! А-а, не мо-жете... Писатели вы, конешно... встихи сочиняете! У нас, в Одесте, энти встихи товарищи сами сочиняли. Я сейчас вам скажу, пропою, глядите...

И он мне пропел «встихи», — я их тут же и записал:

Катя с Маничкой купались
И заплили далеко,
А тово не замечали,
Что парАход уж близкО.
Вдруг парАход разбежался,
Волны с шумом раздалИсь,
И две миленьки девчонки
БИстро с жизнью расссталИсь.

— Сами писатели... — сказал он важно, — усё умеем.

— Так вы и на «Потемкине» были — спросил я. — Вы, значит, ста-рый революционер.

— А как же! мы кашу заварили. А вот, постойте, скоро и расхлебка будет. Нет, вы мине хучь одно слово

в опаницию скажите... не мо-жете. А чево мине Семен Миколаич за старшого на свою хверму не желает? Сам коров пасет, а! На бабах ездит... Его ли дело коров доить, мало ему дачи? У него дилижан хороший, линейка, дро-ги, две лошадки... курей полсотни, коров два-дцать голов... молока четы-реста бутылок за день, а?! А жа-дность, от бедного человека отымают. Скажите ему, я ему предупрежал, он мине не желает слушать, с ливонвером ходит... это как же, напротив нашей леворюции?! Рази я не знаю, кто они... контраценеры! Я им прямо говорю, шквалу не выдержит...

— Ну, а что же ему делать, по-вашему?

— А чего я делаю? я тружусь, у поте лица... и усе должны у поте, по правде, а не... на бабах ездить. Бедного человека обижают, же-нчину, двое ребяток, муж без вести пропал, в окопах, из-за дерьма... Я?.. Ослобожен, как первый левоцанер, «потемкинец», слава мне! А они за бабой-сиротой; от утрудящегося народа отбивают... Я им предупрежал, возьмите мине, я соблюду ваш интерес, порядок уж наведу на вашей хверме...

Я пошел к домику. Коров уже подоили, цедили молоко, торопились управиться до ночи. Пахло коровами, теплом молочным. Скуластая девка Настя, — чернявая, работала лихорадочно и срыву, сухо горела вся. Пиньков поднимал ведра и выливал в цедилку. Маша работала ровно, скоро и весело. Она была статная, мягкая, открытая. Весело на меня взглянула, серыми круглыми глазами, в розовом отблеске от зари, сказала — «драствуйте», выплеснула широким махом выполоски с ведра, шлепнула, лаской, мешавшего белобрысого Степанку, сунула пухлый ситный в просившие ручки Ляльке, белоголовой и бронзовой, утерла запястьем вспотевший лоб, сказала Пинькову усмешливо — «да не мешайте, Семен Николаич, обмолочитесь только... лучше ступайте курите с барином...» — сказала ласково — *близким* говором, нарас-

пев, и я подумал, что у них отношения — *такие*. Было видно, как весело ей работать, как легко у ней на душе, что лучшего ей не надо, что она здорова и счастлива. Она была вся какая-то светлая, легкая, пышная, игривая. Голос у ней был сочный, грудной, певучий, — русский. Чем-то она напоминала толстовскую Катюшу Маслову, но не теми «коровьими» глазами, что придал ей Пиньков в этюде: в голубовато-серых глазах ее была тихая благостность и живость, не стеклянная благостность, «коровья», а живая, ласкающая нежность молодой и *живущей* матери. Разве вот легкая косинка в ее глазах, тонкая поволока неги, что-то ей придавали от доброго, сильного животного. Пиньков мешал ей, отнял бидон зачем-то, она что-то хотела ему сделать, но, заметив, как я смотрю, отмахнула запястьем с бровки, схватила ткнувшегося в колени Степушку, подкинула, играя, и чмокнула крепко в губы. Сухощавая чернушка Настя кинула ревниво — «начмокаешься, поспеешь», — и швырнула ведро в кадушку. — «Семен Николаич, идите-помогайте таскать сено, коровам задать надо!» — сказала Маша и вымахнула ветром из молочной.

Поздно вечером мы сидели на открытой терассе, любовались луной и морем. Золотая его дорога, казалось, выбегала за кустами лавровишни, совсем под нами. С гор потянуло бризом, кусты играли, хлестали по золотому морю.

— ...Никакое не «толстовство», — продолжал начатый разговор Пиньков, — а чувство грозящего обвала толкнуло меня к коровам. Мне показалось, что тут-то я буду независим, осмыслю себя трудом на своей земле. Да и надо было больным солдатам, «газовикам», доставить нужное молоко. Здесь его не хватало. И меня захватило дело. Видели Гришку-ящера? Таких много. Это гной революции, и этот гной будет скоро «установлять всю правду». И уже пробует. Пестрый какой, заметили?

Все гады пестрые, Бог их метит. Гад ненавидит закон, порядок, труд, самый продукт труда... ненавидит всех, кто чист, работящ, умен, бережлив, самостоятелен. Это хитрый и злой дурак, убийца жизни. Он ненавидит жизнь, всё ненавидит, всё хочет опоганить, оплевать, стереть. Воплощение дьявола. Он меня люто ненавидит, он конечно, и вас возненавидел и пометил змеиным глазом. Он мне страшен, и ничего удивительного, если завтра убьет и меня, и вас. Рассказывал вам про архиерея? Он всем рассказывает. Это главный из его подвигов, пока. Но он и кур ворует. Почему я даю ему работу? Во-первых, нет штукатуров, и еще — гнусненькое это... не имею я духа отказать. Не то, чтобы я задабривал... но змеиные его глазки меня смущают, и я боюсь, как бы не сделал гадости на ферме. Он уже пробовал поджигать, но мои собаки и близко не подпускают ночью. А Маша не даст себя в обиду. Я обучу ее бить из револьвера. Ма-ша?.. Понравилась вам. Она не может не нравиться, она — сама жизнь, вечная правда жизни. Любит работу, радуется работе. Не знает ни скуки, ни ненависти, ни злости... и живет, как поет в ней жизнь. Да, я люблю ее. Она заслоняет как-то всю эту одержимость, всю эту подлую муть, что теперь поднимается со дна. Она меня покоит одним видом плавных своих движений, силой, молодостью и верностью чему-то неодолимому, какой-то довечной правде. Я тружусь рядом с ней, и я забываюсь в ней. Она несложна, ясна, и от этого мне покойно. Может быть тут — извечное, без чего никому — *нельзя*... что нюхом схвачено и Толстым, но испорчено его домыслом, по чем томятся все чуткие, ищущие смысла и правды жизни. Это не высказать... Мне это очень нужно, теперь особенно. Я два года был на войне, измотан, видел и смерть, и многое, и затосковал по *жизни,* по чистоте-простоте ее, по земле. Когда не по себе мне — я иду на ферму, смотрю на Машу. Не думайте, у меня с ней лишь «флирт».

Она не легко дается... и я женюсь на ней... если Федор ее, которого она всё любит, не вернется.

Через год я вернулся в Крым. Я прошел многие заставы, ушел из ада. Крым занимали немцы. Знакомой дорогой, по холмам и балкам, поднялся я к даче художника Пинькова. Всё было, как-будто, тоже. Я его не застал: должно быть, он был на ферме. Я прошел на бетонную терассу, откуда, за кустами лавровишни, синело море. Было чудесно тихо. Кусты разрослись, на терассе стало совсем тенисто. «Студия» была заперта на ключ. Я прошел к боковому входу, посмотреть, не спит ли Пиньков в прохладной боковушке, — и в ужасе запнулся... перед крестом! Крест был высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Я подошел ближе и прочитал на прибитой внизу дощечке, славянской вязью:

«Мария Хлебникова, крестьянка, 23 лет, убита штыком в сердце, в ночь на 20 февраля 1918 года».

Я перекрестился и отошел, с болью и ужасом.

Пиньков рассказал, как было:

— Да, он убил ее, Гришка-Ящер. Убил подло. Он был не просто Гришка, а власть, *ихняя* власть, комиссаром лесов, дорог и еще чего-то, нашего округа. Он явился ко мне на ферму, хвастался всемогуществом, хлопал меня запанибрата и обещал даже покровительство. Он упивался властью, мог теперь безнаказанно красть, насиловать, убивать. Меня он пока не трогал, от пресыщения. Но тронул Машу — и получил отпор. Она взяла у меня револьвер, и я показал ей, как надо делать. Я просил ее ночевать на даче. Она не захотела. Как случилось — не установлено. Можно предполагать, что ему как-то удалось, когда Маша была в коровнике, под вечер, дети

спали, а Настя ушла в город, пробраться в домик и спрятаться. Ночью не подпустили бы собаки, разбудили. Он выждал ночи. Ночь была бурная, страшный ливень. Маша вошла, убралась, — всё было прибрано в комнате, — и стала читать письмо, которое я принес ей утром. Вы представьте, какой же ужас... письмо ей было от ее Федора, из плена! Надо же так случиться. Он писал ей, что жив-здоров. В самый тот день пришло. Так и нашли зажато в ее руке. Он хотел ее силой, но она, очевидно, не давалась... и он ее заколол штыком, ржавым штыком. Этот штык все признали, был у него такой. Следствия не было. Машу не осмотрели даже. А Гришка скрылся. После его видали, под Мелитополем. Он жив и кем-то опять *у них*. Когда хоронили Машу, наши бабы, рыбачихи, садовничихи, все бабы... оскорбленные за сестру свою, за вечную *правду*... грозой подошли к ревкому, требовали суда... Им пригрозили... пулеметом! Можете спросить — все скажут. Это не забудется никогда. Меня арестовали — «за бунт»! Мне удалось выскочить в окно. Меня спасли татары, под Аю-Дагом. Пришли немцы, и я вернулся. И вот, поставил крест. *Там* теперь, на могиле, памятник, а крест — сюда... Детишки пока, до отца, на ферме. Коров забрали. Осталась одна, пасу. Да вот, крест... Да, Ма-ша... да, крест, на *всем*...

Март, 1936 г.

Париж.

«Ентрыга»

После убийства Маши и разгрома фермы Пиньков совершенно одичал. На даче я его почти не видел: ранним утром он уходил на ферму, до самой ночи. Я почитывал Киплинга и смотрел на море. «Джунгли» отвлекали от настоящего, но оно лезло настойчиво на глаза. Пройдешься по веранде, забудешься, завернешь к закутку, — и белый, высокий крест вдруг так и полоснет по сердцу: «Маша Хлебникова... злодейски убита штыком в сердце...» Это «хождение по кресту» сделалось для меня потребностью, навязчивою пыткой. Я спросил Пинькова, почему он не уберет креста. Он мрачно сказал: «так... память». А сам убегал на ферму и перестал отдыхать в закутке.

С приходом немцев он опять принялся за свои краски, пробовал писать коров и Машу, по памяти и с этюдов, но ничего не вышло, и он оставил. Приходили из городка, просили уступить крест и давали мешок муки: трудно стало достать хороший дубовый крест, а в Ялте цены были невероятные. Пиньков отказывал, говорил: «нужен самому... за *такой* крест разве можно мешок муки... за него кро-вью надо!.. Торговавшие смущенно уходили.

Когда пустое море начинало меня томить, я тоже уходил на ферму. Там было полное запустение. Окошки домика были выбиты, рамы вырваны, коровники растасканы, только золотая гора навоза курилась сонно. От стада коров-красавиц уцелела одна «Хорошка», любимица покойной Маши. Пиньков теперь пас ее по балкам, а

к ночи пригонял на дачу, где стерегли ее ярые овчарки. Держал ее Пиньков ради памяти, и для сироток: пятилетка Лялька и четырехгодовалый Степка воспитались на молоке, а время подошло скудное, — «Хорошка» всех и вывозила. Для присмотра за ребятишками Пиньков взял пожилую польку Юзефу Ивановну, застрявшую в городке, — в те дни фронт не установился, и выбраться в Польшу было трудно, — и она кормила нас пончиками и клецками, благо у хозяина было еще муки с избытком.

Издали еще увидишь художника-пастуха в глубокой балке: сидит под шляпой-грибом, сутулый, постукивает палкой по камешку — всё думает. В кустах мелкого граба краснеет широкая спина «Хорошки», кормится одинокая красавица. Заслышит шаги, поднимет голову, поглядит вдумчиво, вытягивая слюну по грабу, отмахнется ухом и окунет голову в кусты: свой. Так и сидим, пасем, молча. О чем еще говорить, всё известно.

— Да, библейские времена... — начинает Пиньков прерванные мысли, — но тогда, тысячи лет назад, было проще,... сидел какой-нибудь Исаак и пас свою «Хорошку», а амаликитянин подбирался к нему с пращей или с дубиной, и — по башке. А теперь всё это по бумажкам и с пулеметами. В те времена хоть «откровения» бывали, — «будешь, мол, благословен, потерпи только, вот — *прииду*». А теперь — прийдет, и... из пулемета! Искусство... конец искусству! Какого чорта изображать радости и страдания «богоносца» Гришки Марчука, если отлично убедился, что радость для него — насиловать и всадить штык в спину, а страдание... — когда это не удалось! Или — красоту русской Маши, когда за всю ее хорошесть только и суждено, что... крест. Сгущаю краски?.. Да ну их к чорту, пусть все засохнут! Искусство живет в тиши, когда поет и цветет душа.

Так мы беседовали. Иногда к нам спускался с искровой станции, на самой вышке, немецкий унтер и сообщал

военные новости, но они умещались в двух-трех словах: «опять наша победа». Впрочем, раз сообщил под секретом, что убили в Киеве ихнего генерала. Потом, в ноябре, немцы ушли как-то незаметно, и потянулось ни то, ни се, до самого конца марта.

Пришли большевики, но очень-то пока не нажимали — опасались, как бы их не закупорили на Перекопе, с Ак-Маная и Таврии. Пиньков сделался еще угрюмей. Всё бывало, постаивал над фермой, поглядывал, не поднимается ли кто из городка в тихую пустыню нашу. Мне думалось, не Гришку ли караулит, грозившего показать ему «за оклеветание убийства». Тихая весна стояла. Одинокие груши, остатки старых садов татарских, дымились в белом цветении по холмам, как робкие невесты. Хорошо пели зорями дрозды. Судаковская цепь золотилась на закате. Пиньков всматривался и ощупывал топырившийся карман штанов: там лежал браунинг, «на случай». Мы не любили спускаться в городок, не читали бумажек о «поголовной мобилизации», о «явке офицеров», о «расстреле на месте», если найдут не сданное в срок оружие. Юзефа приносила эти приятные «сюрпризы», умоляла Семена Николаевича не носить «смерть» в кармане. Пиньков говорил мрачно, ероша седеющие кудри, давно не видавшие цирюльника: «если гадина приползет, я ее...» — и нащупывал в отдувавшемся кармане.

Но гадина всё не приползала: выжидала срока более подходящего.

Как-то, в начале апреля, сидели мы у сарайчика. Юзефа доила «Хорошку», Лялька и Степанка чавкали галушки и мазали рожицы сметаной. Стали загораться звезды. И вот, в чуткой тиши, посыпались камешки под горку, яростно кинулись овчарки, и ленивый басистый голос крикнул — «у, дьяволы!..» Пиньков схватился за свой карман. На темневшем небе выступила широкая тень, тяжело, с хромотцой, ступавшая.

— Кто идет? — крикнул Пиньков тревожно.

— Не узнали, Семен Миколаич!.. — сказала тень и приостановилась, закрыв всё небо. — Да я, Федор... Хлебников-то... вот, за товарищами пробрался через фронты. Три месяца ждал, покуда наши прорвут ваш Крым. Ну, как, здоровеньки ли?.. — Тень добралась до нас, сбросила мешок на землю и стала совать нам руку-лапу. — Про Машу мою всё знаю, в городе знакомые дрогали угостили радостью. Эх, не знал раньше... я ведь Марчука в наших краях, под Шиграми, встретил... только и сказал, паскуда,... твоя Маша, говорит, с барином не скучает, только и сказал. А про главное, какая тут ентрыга вышла с Машей, ни слова, паскуда, не сказал... я б его объземь, прямо!..

Он говорил спокойно, лениво даже и называл *то,* страшное, каким-то дурацким словом — «ентрыга». Пиньков молчал. Детишки поглядывали, не понимая, дожевывали галушки и мазались сметаной. Федор сказал — «мои? ишь ты, какие стали... а ну-ка, погляжу...» и присел к ним на-корточках. Они испугались и отодвинулись. Загоревшие их личики в сумерках совсем сливались, только сметанные губы чуть белели.

— На огню погляжу, каки-таки сиротки мои, в хату надо... — спокойно говорил Федор. — Ляльку по другому году оставил, а Степашку и не видал. Я уж покуда к вам, Семен Миколаич, кормите сироток. Эх, за Машей моей не доглядели, не сберегли... вот и приласкайте меня, три года меня в плену вошь точила, а теперь горе точит... ентрыга эта...

В мазанке, где жила Юзефа с детьми, Федор сел на постель Юзефы, покрытую вязаным белым одеялом, и посадил на колени ребятишек. Они ревели и отмахивались от страшного чужого дяди. А он был и на самом деле страшен. Огромный, плечистый, гора-горой, с рыжими вихрами, с черным лицом, на котором от верхней

губы до уха, тянулся беловатый рубец от раны, с повислыми русыми усами. И на всю мазанку несло от него денатуратом. Глаза у него были светлые, какие-то пустые, с холодноватой синью, в набухших веках.

— Вы чего ж так глотку-то дерете, глу-пыи... я-ж ваш папашка, с войны пришел... вошь меня сколько в плену точила... Как к вам-то рвутся, а! Ну, ступайте к барину, стал за папашу вам. Да как же так, Семен Миколич... сколько я писем гнал... хошь бы мне одну словечку Маша пустила, и на марку не надо тратиться... Неуж вы все письма мои ховали, а? Ну, отбивали Машу, ну... я на это... наплевать мне, ее воля, с ней теперь не поговоришь, раз такая ентрыга вышла... Хочь бы разок приласкали... вошь меня точила... дак вы хочь бы деток про папаньку обучали... придет, мол, вы его приголубьте... они мои, кров моя... — он выговаривал круто — кров, — а они вон не признают, к вам так и кидаются... это нехорошо. И Машу мою на потеху отдали паскуде... Как вы ба-рин, обязаны защитить. Ну, не буду. Ну, ентрыга вышла, ну... Винцом хоть бы угостили?

Пиньков принес бутылку розового аликантэ. Сидел — молчал. Юзефа уложила ребятишек и сготовила новые галушки. Федор ел жадно, почмокивал, черпал сметану, как похлебку, и запивал сладким аликантэ. Рассказывал про жестокий плен, и как он выучился сапожному рукомеслу, теперь вся семья будет у него обута, и барину сошьет, и Юзефе Ивановне, всем сошьет. Качал головой на сметану с галушками, на соленую свинину, на белый ситный, — какая господам сласть! И бабы у них, и всякое удовольствие. С аликанте его развезло пуще, и он, запалив жестокую папироску, повалился на белую постель Юзефы, как был, в бурых штанах и в пыльных тяжелых сапогах с гвоздями.

И вот, с этого вечера начался кошмар.

Утром Федор ходил спокойный, даже, как будто,

удрученный. Только подойдет тихо, осторожно, чтобы не испугать, и погладит детишек по головке. Первые дни, плотно закусив варениками в сметане и выпив бутылку аликантэ, — аликантэ очень пришлось ему по вкусу, и он уже не хотел другого, а требовал: «этого... деликатного давайте!» — уходил в городок, «доподлинно навести все справки про «ентрыгу»! Юзефа его видала: сидит у ревкома, плачет, трет глаза грязной тряпкой. А кругом рыбаки и красноармейцы слушают и жалеют словно. К обеду приходил к нам и ел за пятерых «сладкий борщ», клецки в масле и жареную на сале соленую свинину. Порой и жаловался, что мяска вот что-то маловато. Лез лапами в папиросницу барина и загребал сразу по десятку. Сидел в холодке, палил. Потом заваливался в боковуше, у высокого белого креста. Крест ему очень нравился и наводил на мысли. Говорил Пинькову:

— Надо капиталы иметь большие. Мало вам креста, па-мятник какой загнули Машухе моей, в тыщу рублей! Ведь это целое хозяйство, корову купить, пару лошадок, дроги хорошие, волов пару... как Машу-то почитаете! Ну, имели удовольствие, понятно, баба-то была какая!.. — И начинал причитать. — А вот, не платили ей за удовольствие. Я книжку ее видал, на сберегательную... четыре сотни только, за четыре-то года... а? Образованные люди должны бы досмотреть всё, про сироту. Довели до чего... все деньги лопнули. Да как же так не обменяли? Я всё дознал, про ентрыгу... рыбачихи сказывали, он... про вас-то... всё в золото оборотил... все свои капиталы с молочка... золотые часы скупали, кресты-и, цепочки-и... и теперь у него столы ломятся, все масло со сметаной едят, а мы, грешные, трудящии... вот! Четыре сотни выданы мне от большевиков, на смех. На табак не хватит... а?! И вот, крест стоит... за всё-про всё. Штыком в спину, сквозь душу. Это меня, штыком в сердце, Семен Миколаич. Ну, я не злопамятный. А как же, для хозяйства? какое сиротам наследство от покойной? Ведь, заработа-

ла... день и ночь на вас работала. Мине говорят дрогали, выбирай с него, тащи, что надо... обязан! А то, прямо, иди в чеку, вели полный обыск, всё оружие, которое у вас... Я зна-ю, мне бабы сказывали. А я говорю, за чего я стану губить барина, он Машу мою любил, он меня не забудет, он сирот моих, кров мою, прикрыл... он меня вокипирует для полного хозяйства...

Поспав под крестом до четырех, Федор просил «чайкю». Выпивал кружек десять, просил еще аликанты — и, курил на порожке, поглядывая на море, и потом шел в городок, плакаться у ревкома. Иногда садился на табурет и шил детям чувяки и башмачки из кожи, добытой для него Пиньковым. Пиньков ни слова ему не говорил, не оправдывался, не спорил. Я удивлялся силе его терпения. Он как будто решил, что всё, что ни говорил Федор, была самая истинная правда, против которой не поспоришь. Сказал мне как-то:

— А всё-таки он мужик хороший. Каша и в душе, и в мозгах, но... он невиноват. А кто во всем этом виноват?.. Ведь мы, с вами *все,* кажется, понимаем, во всем разбираемся... а этого вопроса решить не можем. Или — не хотим? Скажите, кто же виноват во всей этой «энтры-ге»? Одно остается нам, чтобы облегчить душу... крикнуть: чорт виноват!

Так продолжалось до последних дней мая, когда поползли слухи, что большевики начинают сматываться, что белые обходят с севера.

Помню, при мне случился остренький разговор. Федор пошил всем обувку: и детям, на дорогу, и Семену Николаевичу, и Юзефе, за галушки и пончики. Сшил и себе хорошие сапоги. И вот, к вечеру, после последней бутылки аликантэ, — действительно, последней из большого запаса, хранимого Пиньковым для оттяжки уныния в дни лихие, — сказал Федор:

— Пора домой. Заберу ребят, швейную машинку Машухину, всё хрунье... Вы ей даже шелкового платьишка не подарили, за всё ее старанье, за любов... а настоящие господа как мадамов своих содержат!.. А потому, что не из благородных, а крестьянского сословия, и без защиты. Ну, кто старое помянет... ладно. А как же я всю муру поволоку под Шигры, а кто мне поможет хозяйство поставить на колодку, а? Вы барин, хороший, душевный... картинки пишете, Ма-шу мою прописали как живую... по самые груди написали, для показу за деньги... это я знаю, озорникам показывают и денежки какие огребают. Для памяти обя-заны ублаготворить...

— Конечно, Федор... — сказал покорно Пиньков. — Я обязан. Ты, конечно, не поверишь, что Маша твоя только твоя и была, что я до нее и пальцем не коснулся, смотрел только. Хорошая она была. Я ее звал на дачу, чтобы не ночевала одна на ферме, но она стыдилась... может быть, меня боялась. Твое дело, верь, не верь. Да, виноват я, деньги ее пропали, надо было их обменять на золото. Да я, всё равно, возместил бы ей трудовые ее...

— А что я говорил! — сказал Федор и стукнул по столу. — Вы, может, десяток часов — цепочек — крестов наменяли на себя! Я вам не в укор скажу, а рыбачихи чего домекают. Дело темное, вся ентрыга эта. Гришка убил! Гри-шка ей штык всадил! А дело темное. Я не желаю допустить, это немысленное дело, а говорят злые языки про вас... — может он сам ее, ночным делом... Почему собаки допустили, а?.. Чужого не должны бы допустить, не захватил бы Машу?..

Пиньков только головой качнул.

— Ну, еще чего скажи... — сказал он тихо.

— А вот что... дело темное. А зачем он ей.. крест с могилы вырыл, к себе поставил?! А для совести, говорят.. ка-яться стал, сердце ему сосет. И па-мятник, огромадный камень навалил, из Ялтов! Ну, дуры. Всем гово-

рю: от больших капиталов это он, для памяти. И штыка у него не было никогда, а у Гришки штык видали...

— Да, ты это верно: от капиталов я. Ну, так знай. Поедешь домой хозяйственно. Так мне Маша твоя велит.

— Да Го-споди! да разве я чего думаю! Я с тем и шел, одна у меня надежда была — добрый барин, понимающий, Семен Миколаич, господин Пиньков. Деток моих приласкал, Машу мою успокоил, вечную ей память поставил. Господь рассудит, про всё ентрыгу нашу... и — делу конец.

Пиньков с неделю ходил с Федором по округе, торговал пару коней. Да, говорили верно: у него было, на что купить. За пару коней отдал он уцелевшему помещику Варшеву двое золотых часов. Дроги у него были. Подарил Федору хорошее пальто, — Федору не годилось, но можно и обменять, — золотые часы, мешок муки, две кипы пресованного сена на дорогу. Выпросил у него Федор и «игрушку» опасный браунинг: «вам ни к чему, запрещено строго господам, а мне для лихого человека пригодится, дело дорожное, и все у меня мандаты при себе, от самой чеки имеются: «нашему товарищу Федору Хлебнику, вольный проход с детьми-сиротами». Ляльку и Степашку обшили, купили им пальтишки — выменяли у голодавших дачников, — совсем не узнать детишек. Наварила им Юзефа клецок и галушек, дала полный горшок сметаны. Поставили на дроги, в сено, ножную швейную машинку, — мамочкино наследство. Федор расцеловался с Семеном Николаевичем, трижды, крест-накрест, прослезился даже. И тронулись они шагом, сперва в гору, к воротам, на мягкую дорогу, потом стали спускаться балками. Детишки не плакали, а всё ручкой: площайте, площайте, ба-лин! — долго кричали тонкие голоски. Федор на повороте приостановил коней: «Семен Миколаич! соскучитесь — приезжайте к нам, в новую хату! новая у меня баба будет, у нас девок теперь — на-

выбор... варениками кормить будем, с вишнями! не забуду доброты вашей, вот вам крест!..» и он перекрестился.

В самую пору выбрался. Через неделю отставших красных перехватили добровольцы.

Прошло с год, и дошли вести, что Федор прибыл благополучно, и теперь строится. Пиньков должно быть, подарил ему не одни часы.

Помню, по отъезде Федора, сидели мы на веранде.

— Нет, ка-ков Федор-то! — говорил Пиньков. — Он был всегда рассудительный мужик, и добрый. А и его время покорежило. А всё же что-то осталось в нем. Теперь надо изворачиваться, и он выработал свои зацепки и защитки. Нет, ка-ков, а! Цепко и крепко племя человеческое. Но для чего и во имя чего *всё это?..* вся эта живучесть, цепкость?.. Во имя чего-то высшего, или — *так,* просто *так?* И никакого «откровения». А? неужели всё это — *так* только, случайное прохождение явлений? Неужели *всё, всё* — только одна... *ентрыга?..* Но чья-же, *чья?!.*

Июнь, 1936 г.

Виноград

В городке у моря, с приходом добровольцев, жизнь как-будто опять наладилась. Пошли толки, что теперь и в Европе поняли, наконец, опасность, «теперь уж возьмутся и нам помогут», и в подкрепление толков сообщали, что в Ялту пришли ихние корабли с пушками.

Пиньков никаких надежд на «Европу» не возлагал, бродил мрачный, неряшливый, обросший, перестал даже умываться, бросил читать газеты, целые дни проводил в пустынных балках и пас сиротливую свою «Хорошку» — последнюю корову из разграбленной большевиками фермы. Встречались мы с ним редко, только к ночи, садились обычно на веранде и молчали, следя за звездами: все у нас разговоры притупились. Как-то по осени, — было, помнится, в 19-м году, — вернулся он со своей «Хорошкой» особенно угрюмый, кокнул два-три яйца и проглотил сырыми, — весь и ужин. Стали смотреть на звезды, — вот и еще день перевалили. Нашему настроению отзывалась уныло сплюшка: сплю-у... сплю-у...

— Идиоты... — обругал кого-то Пиньков в мыслях, — не понимают, что жизнь... повсюду, не только у нас дураков... слетела со всех винтов и теперь будет дрыгаться и крутиться, как свалившийся паровоз, пока еще есть пары. Бредят, ослы, что им по-могут. Европа им поможет! Да этой «Европе» требуется самой помощь... ведь она *выкинула,* и этот поганый «*выкидыш*» воспринят от ее утробы — российской слепой дурой-повитухой, принявшей его за долгожданного чадушку, а он давно

уже разложился и заразил всё кругом. А родимая матушка его горит в гангрене...

Я привык к заостренности дум Пинькова, испытавшего много за эти годы. Свои картины он давно забросил. Теперь, по его словам, *это* совсем не нужно: «теперь всё надо в ином масштабе, если еще масштабы не пропали... в апокалипсическом, «потустороннем» даже. Он и убийство Маши, работницы на ферме, рассматривал не как уголовный акт, а как проявление воплотившейся «похоти Зла», царящей отныне в мире. Страшно не то, что молодую женщину, его Машу, хотел взять силой гнусный Гришка Марчук, матросишка-большевик и убил за сопротивление его хотению: страшно, что злая похоть повсюду воцарилась, задавила всю жизнь, и убийство на ферме — символ всеобщего убийства, как этот крест на веранде, стоявший на Машиной могиле и ныне замененный памятником, — не просто дубовый крест, который можно пустить на топливо, а Крест над погибшей Правдой. Потому-то и не хотел Пиньков расставаться с этим крестом и говорил всем, приходившим купить его — в то время трудно было с гробами и крестами, кончились мастера и матерьял: «этот крест не продажный... это — па-мять!» Крест и теперь стоял в дальнем углу веранды, чего-то ожидая.

— Вот, говорите, почему я бросил писать свои полотна... А вы почему забыли свое перо? Понимаете отлично сами. Мы с вами не в «заботы суетного мира малодушно погружены», а... задохнулись и окаменели. Мы отвечаем... онемением. Ну, понятно. *Как* я могу писать солнце, когда и оно другое теперь, когда вижу в нем мертвый свет?! *Бывшие* глаза у меня вырваны... и душа выдрана. Да вот, сегодня, не угодно ли... Пас я свою «Хорошку» в дальней балке. Оттуда хорошо видно усадебку Любачей, тех стариков... Федичка вчера у них помер, единственный сынишка. Разве не говорил вам, что он по-

мер? Помер. Но надо знать их историю, чтобы постигнуть *всё*. Необычайного в этом нет, но... всё же. Старик Любач, Мартын Прокофьич, — просто русский человек, служил в береговой таможне, великими трудами скопил на усадебку и насадил чудеснейший виноградник, — единственная, кажется, мечта всей жизни. Была еще мечта... оставить наследника по себе. Жили они в супружестве двадцать лет, и мечта не осуществлялась. И вдруг, повторяется как бы история с Захарией и Елисаветой... кстати, и супруга его тоже Елисавета, вы ее видали, тихое существо. И вот, на двадцать первом году их супружества, когда их заветный виноградник вошел в силу, и даже в славу, — Любичу лет двенадцать тому назад дали на выставке золотую медаль за чудесный сорт чауша, у них исключительно сладкие сорта, десертные, мускаты, шасла, золотистый чауш... — Елисавета Михайловна подарила своему супругу мальчика. Ей было уже под сорок, старику к пятидесяти. Представляете, какое же у них воссияние-то было! И как они оба трепетали над этим «даром от Господа». Они как-то объединили его с виноградом, с золотым чаушем, за который как раз в ту осень и получили первую свою награду. И назвали младенца Федичкой, что значит — «Божий дар». Этот Федичка и на самом деле как-будто сросся с чудесным тем виноградником. Как ни проходишь, всегда видишь Федичку в винограднике: подвязывает, — ему уж двенадцатый год недавно пошел, — обрезает, опрыскивает, собирает золотистые грозди чауша... в солнце и винограде утопает. Вы видели, это он у меня написан в винограде, спит под лозой в корзинке, и над ним грозди свесились, и через эти грозди поет на смуглом личике, в его белобрысых волосах — солнце! Удачно, кажется вышло. У меня очень торговали на выставке картину эту, — я не продал, только старикам копию подарил, но там солнца такого не получилось что-то. Но слушайте... Они до того над ним дрожали, что мать, слабая такая она, всегда

выходила его встречать из школы, спускалась к городишку, всё боялась, как бы не побили его дорогой рыбачата, народ отъявленный. Так это у ней и вошло в привычку. Перенес все детские болезни, окреп, стал отцу помогать в работах на винограднике. И вот, пришла революция. Старики так переполошились за своего Федичку, что перестали пускать в городишко, в школу. Созрел виноград — новая тревога: устеречь. И раньше шалили по садам, наша солдатня из лазарета. А тут пошел уже настоящий грабеж, организованный. Осенью 17-го года большевиков еще не было, только-только росточки объявлялись. Но уже безобразничали во всю, а милиция наша, как известно, была «в обмотках», или, в народе называли, — «петушьи ноги», любители семечек и сло-боды. Значит, самоохраняйся. И вот, Федичка перестал спать ночами, и ничего с ним нельзя было поделать: хочу стеречь виноград! Ну, стерегли со стариком, как поспевать стал. Виноградник и раньше их выручал, из городка к ним поднимались дачники, нарочно за виноградом, «прямо с лозы». А в тот год виноград для них уж великим подспорьем стал. Прознала солдатня, тот Гришка Марчук и навел, будущий убийца Маши, это установлено. Насели на виноградник ночью, перед зарей, и с промысловой целью, пришли с корзинами, — за такой чауш можно было недурно выручить. И вот, когда они начали сбор ими не рощенного, Федичка поднял крик, — дремал на винограднике в шалаше. И не только крик поднял, а вцепился еще в какого-то. Говорили, что «зубками в руку впился», — видали приятеля Гришкина, с завязанной всё рукой ходил. И дорого обошлась эта «виноградная история» Федичке. Кто-то может быть, и сам Гришка, ударил мальчика в грудь кулачищем так, что его, полуживого, харкающего кровью, принесли старики в домишко, и лежал он, харкая кровью, до лета. И стал хиреть, острый туберкулез. Эти два года Елисавета Михайловна весь свой виноградник слезами орошала. Придет, станет над

лозой, где нашли Федичку, и зальется. Как ни пройдешь, — всё она на винограднике. Ну, вчера помер, как раз два года исполнилось, с удара, до сбора всё-таки дотянул, ему старики золотой чауш в мисочке поставили у постельки, а уж он не мог и сосать. И вот, сегодня, видел с откоса я... как она собирала этот оплаканный золотистый чауш! Самая пора, и надо выменить на гробок, и за могилку надо, и батюшке... вот и собирала. Порежет, схватится за голову, закачается... и слышно, как она там... ну... всё слышно. К небу всё, незрячими глазами, кричащими... — да за что... за *что* же?! А вот, послушайте. Когда я так смотрел, и тоже вопрошал в своей глубине... только я пустоту спрашивал, у меня пустота... тут и пришло. Только не разрешение, а то-же, вопрошание... Вы знаете дьякона нашего, ноздрями смотрит, простеца, рыбаки его очень любят... многосемейный, а превеликий дерзатель, борец за веру, все эти годы с большевиками бьется..., и народ не дает его... так вот он из Ялты пешком возвращался, его следователь допрашивал, там одного комиссара поймали добровольцы, так его обознавать вызывали, что-то с арестом здешнего попа связано, а тогда дьякон за попа бился, с комиссарами воевал, отбивал. И вот, дьякон и говорит, — а он всё знал про историю Любачей: «вот какой у нас *виноград*... соле-ный! и кругом столько этого *винограду* наростили... и вот дюже соленый. По всей нашей России-матушке такого *винограду* насадили, теперь вот и собираем... а те с удовольствием его вкушают». И понял я, и не понял. А это он, оказывается, и про *тех*, которые на кораблях к нам приплывают, подплывают. Говорит, что только в Ялте творится, такой-то базар... всё забирают за грош, весь наш «соленый виноград» за пустяк выменивают и к себе волокут. Полные корабли отходят. И спрашивает в пространство: «Господи, да как же это так? ни горя не чувствуют, ни слез не видят, сосут «виноград»... и *соли-то* нашей им нечув-

ствительно нисколько! Да, говорит, хороши... *всё* свое полноценное разменяли, *всё* в пыль и прах обратили, и теперь кровь нашу покупают... да как же это? И, знаете, мне от этих вопрошаний его, перед этой Елисаветой обманутой, невыносимо стало. Весь ужас, и вся опустошенность *их,* вымениваюших свою пустоту на «виноград» наш, стали так остро ощутимы... весь провал «великого человечества» так наглядно-страшно предстал перед этой Елисаветой вопиющий... ведь *тут-то,* в этой случайной Елисавете на винограднике, *всё* опустошение так предстало, подчеркнутое простыми словами дьякона, что я онемел от холода, на солнце закаменел... Убитая моя Маша, и забитый Федичка, и убитые старики, и всё побитое, втоптанное безкрестно в землю, с издевкой и злобой втоптанное, и *теми,* принятое, как дешевый товар обменный, — для них то, для них-то, говорю, дешевый, репа пареная! всё для меня предстало как страшный образ незаполняемой пустоты, ничем неоплаченной издевки. Во — *имя чего?!* Это надо решить особо, иначе не стоит быть. И говорит еще дьякон, будто возглашает церковное: «ох, да отольются же *им* эти слезы виноградные... да отзовется *соль!..»*

Рассказ Пинькова оборвался. Сверху, за верандой, кто-то тяжело спускался, скребли шаги, сыпались камушки. В черной ночи не было видно, кто подходил к веранде. На звездном небе я различил человеческую тень, пригнувшуюся, будто что-то тяжелое тащившую. Словно знакомый, разбитый, усталый голос окликнул нас: «Семен Николаевич здесь?». — «А кто это?» — недовольно спросил Пиньков. — «Я, Семен Николаич, с верху, Мартын»... Это был старый Любач, виноградарь, о ком мы говорили. Лица его в темноте не видно было, так — тень, да голосок скрипучий, придавленный. И ничего тяжелого не тащил, это лишь показалось мне: так, тащился. И начался памятный разговор. Тень Мартына Прокофьича на стул не села, а пристроилась на перекладинке веранды,

на звездном небе... Я видел кулачок, дергавший тощую бородку, — склонившуюся уныло голову.

Мартын Прокофьич осторожно-робко спросил, не уступит ли Семен Николаевич кре-стик, кре-стик... такого больше не найти крестика, весь город обегал, нет ничего, народ в разброде... в Ялту, говорят, надо ехать, да и там не найти теперь, сколько народу помирало, все запасы давно дошли, а новых некому запасать; делают, говорят, на ветер, как из лучинок, году не выстоит... Пиньков не дал договорить. Всем отказывавший в кресте, он сказал, с удивлением: «а о чем же тут говорить... пожалуйста берите...». — «Да что вы!..» — вскрикнул невидимый Мартын Прокофьич, и унылая тень его спрыгнула с перекладины веранды. — «Можно? вы дозволяете?.. Вот, спасибо..., а я всё беспокоился, потревожить вас крестиком... и другие наговорили... сколько народу хлопотало... заветный крестик... для памяти... понимаю я, что для памяти... значит можно?»... По голосу было слышно, что он еще боится и не верит. — «Да берите же!» — крикнул Пиньков, — «это *нужно*... для памяти». Он пошел в комнаты и принес фонарь. И мы пошли в закоулок, где стоял крест, высокий, белый, снизу обугленный, с присохшей к нему землей. Этот крест говорил нам славянской надписью: «Маша Хлебникова, крестьянка, 23 лет, злодейски убита штыком в сердце, в ночь на 20 февраля 1918 года».

— «Значит, дозволите?..» — переспрашивал Мартын Прокофьич, растерянно моргая, — «дозволите *это* соскоблить, красочка найдется, черная, надпись... Федичку...» — «Не надо соскабливать, пусть останется *навсегда*» — странно как-то проговорил Пиньков. — «А как же-с?.. — в испуге, переспросил Мартын Прокофьич, — «ведь, *теперь* Федичка?..» — «Нет, *это* должно остаться... под краской, пусть. Я дам вам белой, и вы запишете, закроете *это*... так оно и останется. Я сейчас...». Он по-

шел в комнаты, а мы остались перед крестом. Стояли молча, слыша, как шваркало в гулкой студии, упал стул. — «Вот, сейчас закроем...» — сказал резким, будто железным голосом подходивший из темноты Пиньков. И большой кистью, сгустившейся белой краской, закрыл крестное начертание. — «Возьмите краску и кисть, после всё заново покроете, а то заметно... Я сам вам напишу, *там*...» — «Завтра бы хоронить хотели, и лошадь нанята, отвезти...» сказал Мартын Прокофьич просительно. — «Завтра и возьмете...» — «А вы уж разрешите, я донесу, осилю... сразу завтра и отвезем, и поставим... *там* и покрашу, на месте...» — просил нерешительно Мартын Прокофьич. — «Берите... только вам не под силу будет, тяжелый крест...» — говорил Пиньков. — «Осилю-с... всё осилю-с...» — повторял почти радостно Мартын Прокофьич. Он подсунулся, избочась, под крест, подставил плечо под крестовину, привалил ее к голове, для стойкости, и поволок, скребя обугленным комлем по треснувшему, неровному бетону. Белый картузик его смялся, сдвинулся с головы, защемился между крестом и ухом, но он не чувствовал. — «Дайте, я помогу...» — предлагал, провожая его, Пиньков. — «Ничего-с, это в горку только... передохну... — слышался под крестом сдавленный голос Мартына Прокофьича, — посветите только..., а то я духом... за калиткой все тропки знаю... доволоку...»

Мы проводили его до верху, с версту, старались ему помочь, но он говорил, что одному способней, а то, если поднять за комель, плечо нарежет. Мы всё же помогали. С холма ему будет легче.

Когда вернулись, Пиньков споткнулся на что-то у веранды. Это была корзина с виноградом. — «Это он... в обмен мне! — удивленно сказал Пиньков, — крест, на... «соленый виноград»! а?!. чу-дак,.. и не сказал ничего... заторопился».

На веранде еще горел оставленный фонарь в желез-

ной сетке. Пиньков поставил тяжелую корзину на перекладину. Матово золотился крупно-янтарный чауш, как сахар сладкий. Но мы не тронули. Стояли и глядели на сочный чауш, на который легли тенями клетки от фонаря. — «*Соленый...*» — сказал Пиньков. Сидели в тот вечер долго, почти не говорили. Фонарь потух. На менявшемся звездном небе темнела дуга корзины. Так и не трогали.

Дни стояла корзина на веранде, долго. Так и не тронули.

Ноябрь, 1936 г.
Париж.

Стенька рыбак

Рассказ доктора

...А вот, господа, был в моей практике преинтересный случай. Психологически интересный и как раз иллюстрация к нашему вопросу о звере в человеке, в частности — о «русском зверстве». Пришлось много и повидать, и испытать, опыт имею достаточный. И теперь еще удивляюсь, как жив остался.

Дело было в Крыму, на побережьи, в маленьком городке. Приехал я туда совсем молодым врачом, без копейки денег, послали меня лечиться от чахотки, — профессор Остроумов меня отправил, как подающего надежды ассистента, дал своих триста рублей и рекомендации, — и я не только вылечился, но и навсегда там укрепился. Года четыре выслужил в земстве, приобрел практику, женился, выстроил чудесную у моря дачу, словом — стал обеспеченным буржуем. Как полагается врачу с общественными наклонностями, «передовому», читавшему «Речь» и «Русские Ведомости», бывшему земцу и в некотором роде почти народнику, записался в кадетскую партию и *вел* в городишке дружную группку либералов. До конституции, старались освежать городское самоуправление, с переменным успехом вышибали крепкого богача-татарина, монархиста, и мелких «зубров», потом, со свободами, победили решительно, привели городок в порядок, выстроили народный дом... Население относилось ко мне недурно, не отказывался ездить и по ночам в разные там слободки, где ютился рабочий люд,

— копачи, рыбаки, дрогали... Ну, в сезон, когда курортные наезжали, манкировать приходилось, да и тяжелел с годками. Но, повторяю, недовольства ни в ком не замечал. И вот, как часто бывает, случился один пустяк, которому я не придал значения, но... посмотрите, во что он вылился.

Во мне всегда была слабость к садоводству, — наследственная, пожалуй: я из духовных, ярославцев, и предки мои любили это дело. Есть сорт яблок, «мироносицкая поповка», перекрест из мирончиков и еще каких-то, — отцовской выводки, в каталоги попали. Эта негрешная страстишка и к Крыму меня, пожалуй, прикрепила. На своей даче я завел образцовый виноградник... — сам Пастак с Сарибаном приезжали, славные наши крымчаки-садоводы, и восхищались садом и виноградником, — насадил груш и яблонь, развел розарий. И вот, удалось мне вывести один новый сорт — кальвиль, с «антоновскими» достоинствами: и аромат, и вкус чрезвычайно тонкий, и сочность редкостная, и, самое главное, плодовитость, устойчивость, выносливость. Лет десять над этим бился, выписывал с разных мест посадки, привез триста возов земли из-под Козьмодемьянска, особенной, какого-то «размыва», по совету дворцового садовода, — и, наконец, добился. И вот тут-то и начинается тот «пустяк».

Работали у меня по саду копачи, и так — парнишки. И был между этими парнишками некий Стенька, рыбачий сын, личность довольно сложная. Красивый мальчик, сильный, сухощавый, нервный; что-то, как-будто, древнее было в его взгляде, степное, дикое. То посмотрит — совсем ра-сейский, из-под Орла, ласковость и задумчивость в сероватых глазах и облике... то, вдруг, так глазами и загорится, как чорт в нем бьется, — что-то татарское-генуэзское, разбойное. В нашем Крыму, по побережью, всякая мешанина есть. И вот, этот парнишка,

лентяй отчаянный, — лет пятнадцать было ему тогда, уж ходил с отцом в глубокое море «за белугой», — стал примерным работником. Прогнал я его как-то за бездельничанье и лень, гляжу — побелел, трясется, чуть не плачет: «дозвольте опять приходить работать, буду вот-как стараться!» Попробовал, оставил. Как шелковый, так и горит в руках. И что-же, можете себе представить, оказалось: лю-бовь! В Риночку мою влюбился, в дочку мою Ириночку. Ей было лет двенадцать, но она казалась старше, — крымское созревание, в мать пошла. Она, понятно, ни сном, ни духом, совсем ребенок, лазит по миндалям в белом своем платьишке, черная головка всегда, от солнца, повязана красным шолком, — все, бывало, любуются. Правда, я примечал, что уж очень услужлив Стенька. То сандалию ей поднимет, с ножки у ней соскочит, то какого-нибудь редкостного жучка отыщет, то... — чуть она позовет кого, что-нибудь ей помочь, он сломя голову летит. Сперва я не придавал значения. Както приходит в сад, в белой татарской куртке, обтянутый, брюки-диагональ, и розовенький платок на шее! Подумал — должно быть именинник, или в горы едет, — брали его когда приезжие, для услуг. А вечером Риночка маме и шепчет по секрету: «мальчик Стеня ручки мне целовал, и змею при мне убил... и написал записочку про любовь». И показала записочку, в каракулях: «я люблю вас, Риночка, больше жизни, и не могу без вас жить на свете». Побранили мы, зачем руки грязному мальчишке давала целовать, а она нам — «он нынче не грязный был, и сказал, что я первая принцесса, а он мой раб... это мы так играли». Ну, что с нее взять, ребенок. А утром, как он явился, я ему и прописал «раба». Уши ему нарвал, сгоряча, и — фить! — из сада. И чтобы больше и ни ногой. Пустяки, понятно, но у нас, на юге, всякие истории бывали, с этаких пустяков.

Прошло дня два, выхожу я на зорьке в сад, до визитации поработать, да так и ахнул! «Антоновские» мои

кальвили, все шесть корней, самое драгоценное мое, — срезаны, как пилой, валяются, уж пожухли, а яблочки на них с грецкий орех уж были. В голос закричал, в сердце меня пронзило. Мерзавец, ясно! А следов нет. А он про эти кальвили знал, сам при мне чашки под ними очищал и всегда поливал при мне. И всегда Риночка тут вертелась, напевала: «вильки-кальвильки!» Ну, вызвал его отца, строгого мужика, из рыбаков, лечил у него не раз. Следов нет, а хулиганов много, — говорит: «знамо бы было, голову бы оторвал, а... как же тут дознаться!» Ну, он его всё-таки отгладил. И, пропали мои кальвили. Пробовал повторить — не удалось, три года бился. Но с того дня начались для меня терзания. Поверить трудно, да и смешно, как-будто, а началась между мной, солидным человеком, и парнишкой война изводом. Да таким изводом, что я и сон потерял, и покой, и... чуть ли не до галлюцинаций со мной дошло. Да что там, до галлюцинаций... — до смертного ужаса дошло дело, как вы увидите.

Это случилось как раз в самый год войны. Дня через три после кальвильного погрома, только стал приходить в себя, встаю утром и вижу: все мои розы будто косой порезаны! И опять никаких следов. Сделал заявление в полицию. Безрезультатно. Стал сам караулить ночью. Сижу, как дурак, в кустах, поглядываю на звезды, лягушечек слушаю древесных, да сплюшки сплюкают. На садовника не надеюсь, да и ему спать нужно. А лишнего человека брать — и дорого, с войной всё подорожало, да и не верится никому. Завел другую собаку, наша любила Стеньку, всё, бывало, он с ней играл. Немного поуспокоился. И началась новая история.

Ездишь по визитам, а мальчишки из-за плетней и стенок кричат: «я-б-лочки хороши!» Ну, глупость. Вида не подаю, а раздражает. Сам себя на мысли ловлю, что раздражаюсь, что этот дурацкий Стенька как-то в жизни моей замешан, что ничтожный пустяк может мне портить жизнь. Рыбачьей слободкой едешь — и опаса-

ешься, гадости бы какой не сделал. И всегда что-нибудь да выйдет: то камень просвистит, то из рогатки щелкнет «гусятником», а про «яблочки», про «вильки-кальвильки» и говорить нечего. Как-то под утро — тррах... дзинн!.. Выбежали на веранду, собаки рвутся на стенку... глядим — вся наша веранда вдребезги, к соседской даче. А садовник бежит, кричит — все стекла в оранжерейке выбиты и пробный банан камнем перебит. И стал я как бы общим посмешищем. Пристав по виду сожалеет, а знаю, что ликует: полицию мы таки — подтянули, либералы. Говорит как-то подозрительно: «очень странно, доктор, ни у кого не бьют, у вас только! конечно, мы строгие меры примем, а всё-таки посоветую... одни по ночам избегайте ездить, не дай Бог худшее случится... неспокойный народ, пришлый. Глупейшее положение, чувствую — издевается. И знакомые стали осведомляться: «ну как, ничего ночью не было?» Только забудешься, поутихнет недельки две, — опять какая-нибудь гадость. На жену за Риночку страх напал, перестали в город одну пускать. И вдруг, получается письмо, не каракулями, а четко: «бойтесь возможного пожара» и подписано — «Морской чорт». Глупо, а беспокоимся. А то стали изредка приходить ругательные открытки, пасквильные. Кто его обучал... но кто-то обучал. Жена стала получать самые грязные доносы, что у меня там-то было свидание, что видали меня в Ялте с гулящей девкой... всякие мерзости. Ну, прямо, отравил и отравил жизнь. Так это с годик продолжалось. И вот, иду как-то в татарской части, улочки там узкие, кривые... и вдруг навстречу — Стенька, и с ним целая ватага таких же головорезов; шли с работы, обивали урожай с орехов грецких, в половине октября было. Пошли мимо меня, Стенька и кричит: «ну, толстопузый, попомнишь Стеньку!» В мальчишке — и такое злопамятство. Серьезно говорю — отравил и отравил жизнь.

С год я служил в Севастополе, был призван. Без ме-

ня затихло. Открыли в нашем городке госпиталь, и мне удалось перевестись. И началась старая история. Стенькина отца мобилизовали, и стал он за него рыбачить.

Летом, в 16 году было. Прибежала Риночка из города и говорит: «видела на берегу Стеньку в лодке, поклонился так вежливо и сказал, что напрасно это ваш папаша на меня думает, но я ради вас всё ему прощаю, а вас буду всегда помнить». Каков артист! И стал уже настоящий парень, с рыбаками как равный кутит — пускает пыль. А тут стало у нас тревожней. Как убили Распутина, у нас рыбаки праздник устроили, позвали солдат из лазарета, перепились и стали «долой войну» кричать. Пристав арестовал Стеньку, главного крикуна, и отправил его в Ялту. Правду сказать, это меня как-то облегчило, революция ожидалась. Я ее ждал с большим даже нетерпением, планами вдохновлялся, и — смешно вам покажется нет-нет, а и вспомнишь Стеньку: как же он развернется и в кого обернется! Первейший хулиган, нож за сапогом стал носить.

И пришла матушка-революция. Митинги пошли. Выступал и я, как представитель кадетской партии. И вдруг — требует себе слова... Стенька! Революция его освободила, с трубными звуками. Сильный парень, красавец, дурак, понятно, и че-шет!.. одно удовольствие товарищам. За два месяца в тюрьме здорово навострился, с политическими сидел. И что ни слово — проклятие и угроза: всем буржуям кишки повыпустить, всё отобрать, а их «к рыбкам гулять отправить». И стал он у нас как бы атаманом банды. Говорил с огнем, со страстью, и недурно, общие места, конечно, но умел зацепить за нерв. Словом, большевиком заделался. Меня — то по плечу потреплет, как равный с равным, то, словно муха его укусит, — грозит «смести». Раз на берегу пьяный встретился, во главе ватаги, ухватил за пиджак, — «ну, говорит, придет час... кишки повытрясем!» А товарищи — га-гага, «яблочки будешь помнить!».

Сами знаете, какое время было. В лазарете скандалы, на фронт не едут, явились дезертиры, сады по ночам трясут... весь у меня виноград сожрали. Риночку мы к тетке в Симферополь отправили, страх за нее напал. В первые большевистские дни пришлось скрываться, ночью бежали в Симферополь. Прожили там до немцев. Доходили вести, что Стенька меня искал, кем-то заделался у власти. Вернулись к себе, глядим — дом не разграбили, и в саду ничего особенного не натворили. Садовник сказал, что приходил раз Стенька, с какими-то, обошел комнаты и... над Риночкиной кроваткой красную розу приколол. И пригрозил: только пальцем кто тронет хоть пушинку — ухлопает на месте! Куда-то при немцах смылся. И что особенно интересно: ни арестовывал никого, ни грабил, как другие, только истошно надрывался и всё обещал «правду показать».

В ноябре немцы смылись, и появился Стенька. Его не тронули. Ходил в море, не безобразничал. А Риночку мы брать из Симферополя боялись. Да и сами побаивались. Поползли слухи, что придут скоро большевики, и будет самая настоящая разделка, — с «кадетами». И решили с женой, на всякий случай, до лучших времен, при первой тревоге, смыться. Доходили с севера вести жуткие: «всех кадетов-буржуев к стенке!» В марте забрали Риночку и эвакуировались в Константинополь. В июне вернулись добровольцы, и мы вернулись. И тут самое интересное...

Прихожу в лазарет, а сестры и говорят: «а у нас Стенька Рыбак лежит». И увидал я молодчика, в самом-то злейшем сыпняке, в беспамятстве, в пожаре. Уж и бредил!.. Весь тут характер его сказался. И ругался, и проклинал, и к чертям посылал, и плакал, и ласкался, и мамку звал, и кишки доктору выпустить хотел, и Богу молился, и Бога-то... И затомилось во мне, — и жалость, и грусть, и ласка. Это был чудеснейший экземпляр силь-

ного и здорового парня, русского красавца, потерявшегося во всей этой беспардонности и хаосе нашем. Вдруг, раскроет глаза и смотрит, дико и в ужасе, и будто вглядывается в меня, что-то ему мелькает. Глаза ввалились, стали из серых синими, в черноту... Я приказал, чтобы его не оставляли ни на минуту, чуть что — давали шприц. Давила меня тревога: надо его спасти! Спать спокойно не мог, вскакивал и бежал к морю, в лазарет. И вот, както, сидел я у его койки. Приподнялся он, — ночью было, — уставился на меня глазищами... как вскрикнет — «доктор!.. ура-а!..» — и шарк, к окошку. А в сыпняке у нас были на 4-м этаже. Он уж на подоконник прыгнул, я его за рубаху сдернул, так он и грохнулся, подбородком об край окна.

Выздоровел. Помню, зашел я к нему, сел у него на койке. Смотрел — смотрел на меня, зажмурился... — «Доктор... вы это меня спасли... мне сестрица сказала... выходили меня, и ночью приходили... и барыня ваша приходила...» Сказал ему — это уж наше дело, спасать. Так головой покивал, будто приглядывался. — «Ты, говорю, парень славный, только дурак, бестолково-горяч... а славный» — «Славный?..» — недоверчиво так спросил, — и слезы у него наплыли, и стыдно ему слез своих. Но пересилил стыд. Схватил мою руку — и крепко поцеловал. — «Ну, доктор...» — и подавился слезами, не мог сказать.

Выписали его. Поручился я за него, он этого не знал. Видит — не трогают, стал рыбачить. И еще на ногах шатался — вышел с друзьями в море. А тогда у нас с продовольствием туго стало. И вот, рано утром, в веранду — стук! Выбегаю — и вот, картина, стоят трое: впереди, еле на ногах, худой, желтый после болезни, Стенька, и у его ног круглая корзина, полна камсы; а по бокам, отступя, — как адъютанты, двое и у каждого в руках такая же корзина. — «Солите, доктор!» Отказать

не мог. Тут уж и я... заморгал. Он меня так и продовольствовал: и кефалью, и камбалой, и скумбрией, и нипочем денег не берет. Эвакуация подошла. Пришел он ко мне, сказал: «не уезжайте от нас... не дозволим тронуть». Я остался. Правда, меня арестовали, но Стенька тут ни при чем, напротив... И пришло страшное, и в этом страшном... но об этом как-нибудь в другой раз.

Март, 1936 г.

Париж.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Рассказ доктора

...Что сталось со Стенькой Рыбаком, о котором я вам рассказывал, господа, узнаете. А сначала расскажу о самом страшном. Прошу извинить: в рассказе будет одно очень... как бы это сказать... ну, остренькое, что ли, место, но я постараюсь несколько смягчить эту оголенность моего «случая из практики».

От России оставался только Крым. Все чувствовали, что приближается развязка, и Врангелю в Крыму не удержаться, при всем его таланте выходить из трудных положений. И всё же хотелось верить, что он наладит. Особенно, помню, окрылило, как он преобразил самое неуемное — рабочих севастопольского порта: они восторженно его встречали, чуть ли не качали. И вот, в некоем уповании на чудо, мы, группка интеллигентов, организовали «Общество возрождения России». Представьте: была даже секция — «религиозного обновления народа!» Опыт «великой и бескровной» открывал новые пути сознания. Устраивали собрания, говорили речи, развертывали перспективы будущей работы, «когда всё это кончится». Стенька Рыбак, представьте, слушал жадно, втискивал как-то в перевернутые свои мозги, орал — «правильно!» — и так бешено ерошил свои лохмы, словно хотел сейчас же приняться за работу — и возрождать. Как-то подходит и говорит: «вкатывайте и меня, буду расчищать *авдеевы* конюшни!» Вместо «авгиевы», понятно.

Меня избрали председателем. Ничего боевого в Обществе нашем не было: большевизм рассматривался, как «нравственная зараза», и изыскивались «светлые пути». Вот этот-то свет, кажется, особенно привлекал Стеньку,

при всей его оголтелости... Словом, мы отмывали душу. Был в нашем Обществе некто, беженец, с севера, очень услужливый, всё клонивший к острой непримиримости, предлагавший «дело», а не слова — вести списки «скрытых большевиков» — из населения — для будущего очищения от плевел. Но мы остались в рамках аполитичности.

После разгрома Врангелем конной армии Жлобы всё как-то позатихло и стало путаться. Ликование вдруг увяло, и поползли слухи, что — «прорвутся». Помню, в конце сентября, к ночи, явился ко мне Стенька: «ветер крепчает, доктор... подтяните парус». В чем дело? Оказывается, «непримиримого беженца с севера» арестовали, уличили в работе на большевиков и отправили в Симферополь, а на Перекопе очень плохо; опасаться мне нечего, рыбаки и рабочие считают меня «великим борцом за трудовой народ» и не дадут в обиду, но... — «переберите всякие там бумажки и сожгите, «беженец» этот из зловредных».

Сказать правду, я не тревожился. Необычайная преданность мне бывшего «врага», Стеньки, которого я вырвал у сыпняка, действовала как сильно успокоительное средство. Ну, придут, буду работать с народом, а не с теми, Стенька, прямо, меня прославил: в сердцах драгалей и рыбаков получил я высокий титул — «друг народа». Едешь слободками — все дружески встречают, радостно улыбаясь, будто дал им на выпивку, предлагают рыбки или шматочек сала. Самые головорезы дергают картузы, кричат: «Михаил Степаныч, здоровеньки булы, как дела? Говорили даже: «все бы такие были, нам и леворюции не надо!»

И вот, грохнула вдруг: эвакуация! Помню, конец октября. Прибегает Стенька: «доктор, не уезжайте... с кем же мы-то останемся! поведем вместе светлые пути, будем очищать эти вот... агеевы конюшни! вы наш, на-

родный, свой... головой поручусь, никто не посмеет тронуть!» И в голосе что-то, с дрожью. Я мог уехать. Но пораздумал: Риночка в гимназии в Симферополе, у тетки... да и жаль стало дачки, сада... жаль стало и милых дураков своих... Остались.

Пришли *они*. Помню — валило в улочках баранье стадо, в овчинах, в лохматых шапках... — дикари! Отку-да?! А над «дикарями» — *эти*, все бритые, с холодными глазами, с поджатыми губами, нечеловеческие лица. Чужие лица. Отку-да взялись?! У всех наганы, галифэ, и злое, затаенное: «ну, теперь!..» Словом, дорвались. И началась разделка, «по системе»: обыски, аресты, изъятия, расстрелы. Помела «железная» метла, по телеграмме «военмора»! Рубила мясорубка. Вы знаете, Стенька стал у *них* кем-то... властью. Прибежал ко мне: «мы вас застраховали, доктор, вот бумажка». И налепил, с печатями, при входе: «под охраной, ревкома, медицинский пункт». Угрожалось всем, кто посмеет вселять или выселять: «расстрел на месте!» С месяц меня не трогали.

И вдруг, — «беженец с севера», верхом, в сапогах со шпорами, с наганом. Член какой-то «тройки». С ним команда, наши дуроломы, с винтовками. И так важно: «именем рабоче-крестьянской власти, ордер чека... должен сделать обыск!» Вижу — Стенька, сзади. Бледный, злой, глаза сверкают. Кричит: «Товарищ Ярый, поосторожней! за доктора весь революционный пролетариат, вот телефонограмма...» Сунул какую-то бумажку. Тот прочитал. Ко мне: «а, гражданин председатель возрождения *царской* России! мы вас *возродим!*». Стенька ему — «товарищ Ярый, тут было *светлое* возрождение, а не контрлеворюция!» А тот, так это, через голову, на Стеньку: «по мандату, назначаю дачу под морской пункт, а гражданина возрождателя перевести *под* дачу!» И — ко мне: «знаю, Общество ликвидировано, но вы еще не ликвидированы... ну, нам покажет обыск». Стенька на него: «превышение мандата! наша ячейка сейчас снесется с

губчекой, и я вам покажу!» Ноль внимания. Всё перевернули: бумаги, книги... — «Где список членов, с подписями?» Список я сжег, понятно. — «Мы разыщем». Не арестовал. Велел перебираться в пристройку, где садовник, а того на наше место, охранять. Стенька мне крикнул: «доктор, не тревожьтесь! вас охраняет весь революционный пролетариат!» Пошли они, и всю дорогу, пока я слышал, Стенька его печатал.

Въехали к нам матросы, «морской пункт», — быкибыками. Тут же забрали на пустыре корову, зарезали на винограднике, освежевали. Бабий визг, гармошки, привезли вина от Токмакова, пошел угар. Что было ценного, закопал я на винограднике. Матросы пили, жрали, наблюдали в бинокли с «морского пункта», с моего балкона. Помню, ночью, вышел я на виноградник, выкопал ценности, — золото, бриллиантики жены, серебряные ложки... Копаю и обливаюсь потом: ну, услышат! ждал ареста. Жена куда-то отнесла, на время.

Новый обыск. Опять тот, «беженец». Чего обыскивать, матросы всё перевернули. На рояле лежали у меня газеты, книги, — матросы рвали на цыгарки. И, — чорт ему помог, — цоп, какую-то книжонку — и нашел! *Тот* список. Сам я когда-то сунул и забыл. Помню, когда сжигал бумаги, сжег и список членов нашего Общества, а это оказался первый список, инициативный, — все подписи, и моя, в заголовке списка. — «Вы арестованы!» — радостно так крикнул, даже в зобу дыханье сперлось. Поглядел я так... — нет Стеньки, моего заступника. Матросы смотрят равнодушно, быки-быками. — «О, попался-влопался, а еще до-ктор!» Один спросил того: «а вы, товарищ, по мандату?» — «Ну, понятно... а что, товарищ?» — «Ну, по мандату ежели... а то мы не дозволим, покажь мандат». А у меня с ними уже наладилось, ходили на прием, — понятно, «детские болезни». Корову режут — нам обязательно кусище: «старайтесь, товарищ доктор, для народной власти». И смеются: будто это в

шутку, про власть-то. Бывало, откровенничали, спьяну: «думали — так, игра... ан, вы-шло!» Стали глядеть мандат. «Тут про арест не сказано.. сперва принесите про арест, а доктор нам необходим... пшел к чорту!» Отстояли. Прошло с неделю, не тревожат.

Как-то приходит Стенька, зачем-то ездил в Симферополь. И говорит: «эх, доктор... говорил я вам — сожгите все бумаги! а теперь мне трудно, попался список... ну, да уж потягаюсь». Очень был опечален. И вспомнил я тогда из сказки: «эх, Иван-Царевич, говорил тебе...» — как серый волк пенял, — «ну, да уж как-нибудь... то была службишка, а это — служба». Поговорил с матросами, — «это самый первый друг рабочего народа!» — я слышал. Матросы тоже за меня: «нам доктор до зарезу нужен!»

Дня через два — солдат, с бумажкой: «к товарищу Месяцу, в ревком». Псевдонимное такое — тов. Месяц, глава чеки. Матросы называли — «сволочь-лобуда». Пошел я. Тов. Месяц засел в батюшкином доме, а батюшку угнали в Ялту, на расправу. Дом прекрасный, на берегу, опутан колючей проволокой, стоят солдаты, охраняют, — от кого! Ни души народу. Ввели меня. Большая зала, вид на море. Узнал я — и не узнал. Бывало, играли в преферансик, обедали на именины. Пальмы погублены, иконы сняты, везде плакаты эти, против тифа, «с вошами», и весь синедрион-олимп: эти портреты-штампы, будто грязью. Тов. Месяц... и вправду, месяц: морда — шар, будто из красной меди, как полный месяц, летний, на восходе. Широченный, грузный, бокастый, в коже, — ну быкобоец, толстошея. Рыжий, глазища... что-то бурое, в наплывах. Не русский. Подумал — кто же он? Литвин, латыш, венгерец? Мешаный какой-то, без роду-племени, какой-то общий, выплав. Говорит — сипит. Коверкает слова. Выкатит глаза — что-то свинцовое, *пустое*. Только и разговору было: «а-а... до-ктор...» на «ор»,

— «а-а... ты у мена... я тэба... ту-да!., — и к полу пальцем, медным, толстым, как сосиска. — «У мэна... слова коротка... а-а... стэнка...» — на «ка». Я подумал — не чех ли, вспомнил гимназического «грека». Мешаный какой-то, жуткий.

Меня отвели в подвальный этаж дома, где была прачешная и чуланы. Там уже сидело пятеро: старик-педагог, писавший о языке Ломоносова, дачевладелец; дрогаль избивший чекиста за своих коней; винодел, не выдавший вина без ордера чекистам, и два старичка-дачевладельца, не сдавшие оружия — дробовиков, пугать на винограднике дроздов. Только разговорились про свои горя, — крик с улицы: «до-ктора давай!» Голосов тридцать, зычных, будто таранят стены, в один голос: «доктора давай!» И всё грозней. — «Не уйдем, до-ктора нам отдай!..» И голос Стеньки, ярый, с взвизгом. Будто на митинге: «он первый друг рабочего пролетариата, отда-вай!..» И — понимаете — «печати». Уж на совесть. И слышим, тов. Месяц, как из бочки: «по-лью... из пуламота!» Погалдели — и отошли.

Повторялась эта история три дня. Тов. Месяц, слышим, объявляет: из Ялты ждет приказа. Стенька кричит: «выпусти, мне губчека застраховала доктора!..» Крик, гвалт, — будто пришел весь городишка. Вой, прямо. Рыбаки, садовники, дрогали, со всех слободок: «разнесем чеку, до-ктора подай!» — Месяц им свое: «из пуламота!» Отошли.

Ночью вызывают на допрос. Тов. Месяц, пьяный, в руке наган. Выкатил глазищи, сбычился, что-то свинцовое, тупое: «сво-лочь... мутишь народ! завтра тэба... выведу... в расход... ту-да!...» — и пальцем в землю.

Я знал: в подвале, к морю, *выводили*. Старичок, писавший о Ломоносове, старался утешать меня: «помолитесь... — он был костромич, всё окал, — «Месяц водил меня в подвал два раза, такая у него манера — помыта-

рить... может быть и вас пугает... вы помолитесь! Спросил, есть ли на мне крестик. Не было крестика на мне. Он снял с себя крестик, отцепил, себе образок оставил. Нашли мочалочку, надел я крестик... — «Вам сразу будет легче». Правда, стало легче.

Утром пришли матросы с пункта: «доктора давай, нам он нужен! сами тебя из пулемета!..» Ну, и... «печати», крепко. Тов. Месяц испугался: матросы, с ними не поговоришь впустую. Слышим, говорит полегче: получил приказ, всех докторов направить в Ялту, на эпидемии. Требуют — «покажь бумагу!» Говорят: ладно, сами прикажем Ялте. Отошли.

Ночь была бурная, шумело море. Вошел солдат с винтовкой: «тов. доктора, с вещами». Стали меня крестить. Шепчут: «с вещами... Господи...» Слышу — стучит мотоциклетка. И вспомнил, как говорили про татарина, служившего у белых: «завели мотор, вывели «с вещами» и прикончили, в подвале, к морю». Вышел я в темноту. Солдат толкает в спину — «теперь тебе не долго, не запинайся... сразу, не будет страшно». Долго меня кружило, или это мне показалось, что так долго. Помню, какое-то разбитое окошко, и ветер, с моря... и волей на меня пахнуло! Не забуду. Так захотелось жить, дышать... простором, морем. И вдруг, над ухом, хрипом: «дай его, я сам...» Тов. Месяц с фонариком, на каменном приступе, в руке наган. Помню, глаза в наплывах, тупые, оловянные. Стиснул за плечо и хрипнул: «сейчас, для испытания... *ее* узнаешь... ждет...» «Всё во мне застыло. Поднял к лицу фонарик: «а-а... бэ-лый... сейчас... освобожу... фить!..» — и наганом, к глазу, самой дыркой. Помню: будто тоннель, дале-кий, черный... канал нагана. Сдавил плечо и потянул куда-то, в черноту. — «Лезь!» Лестница куда-то... Опять спустились. Какие-то проходы, коридор, ступеньки. — «Стой... сейчас... освобожу...» Во что-то ляпнул, — открылась дверь. Пахнуло перега-

ром, пивом. — «Иди... гляди...» Месяц толкнул меня куда-то. Мигнуло светом... — «Лезь!..» Месяц толкнул меня... под занавеску, наганом отпахнул пошире... — пестрая занавеска, помню. И я увидел... женщину! Она спала, без одеяла, на пуховике, — должно-быть, пьяная. Я отшатнулся. Месяц удержал меня: «ты... ее... по ги...-иене, жи...вей!..» Я не понимал. Я растерялся от кошмара. Перед глазами всё качалось, в свете оплывавшей свечки. Я видел красные подушки, рыжую косу, розовую рубаху, тело. — «Пьяная... корова...» — хрипел над ухом Месяц, — «по ги...иене, ее... обревизуй... чорт ее знает... безопасно чтобы... живей!..» и ткнул наганом в тело.

Что я мог? Я выполнил повинность. Да, я выполнил. Было и омерзительно и больно... больно за скотство, и страшно. Нет, не за скотство. Скотство — естественное состояние, природа. Здесь не скотское было, а... нет такого слова. Страшно... за *человека?* Нет. *Здесь человека* не было. Что-то — *вне всего.* Что-то... за-скотское, подскотское... нет, неизмеримо гаже и страшней. *Это* не знает слова, нет такого слова в языке, и слово «Ужас» тут ничего не выражает: тут — предел *всего.* И вот что странно: я был, как автомат, врач-автомат. И всё исполнил, как обычно.

— «Ну, как... в порядке?» — рявкнуло под ухом. Я сказал: «насколько позволяет мне осмотр... в порядке. Помню, в голове вертелось слово «диагноз». Женщина зевнула, промычала: «бессты...жии...» Месяц задернул занавеску. Хрипнул: «обязан... для ги...иены, по-мни!» Я чего-то ждал. Месяц взял со стола бутылку. — «Хочешь... угощу?» Я стоял и ждал. И получил свой гонорар: пинок во что-то и — свободу.

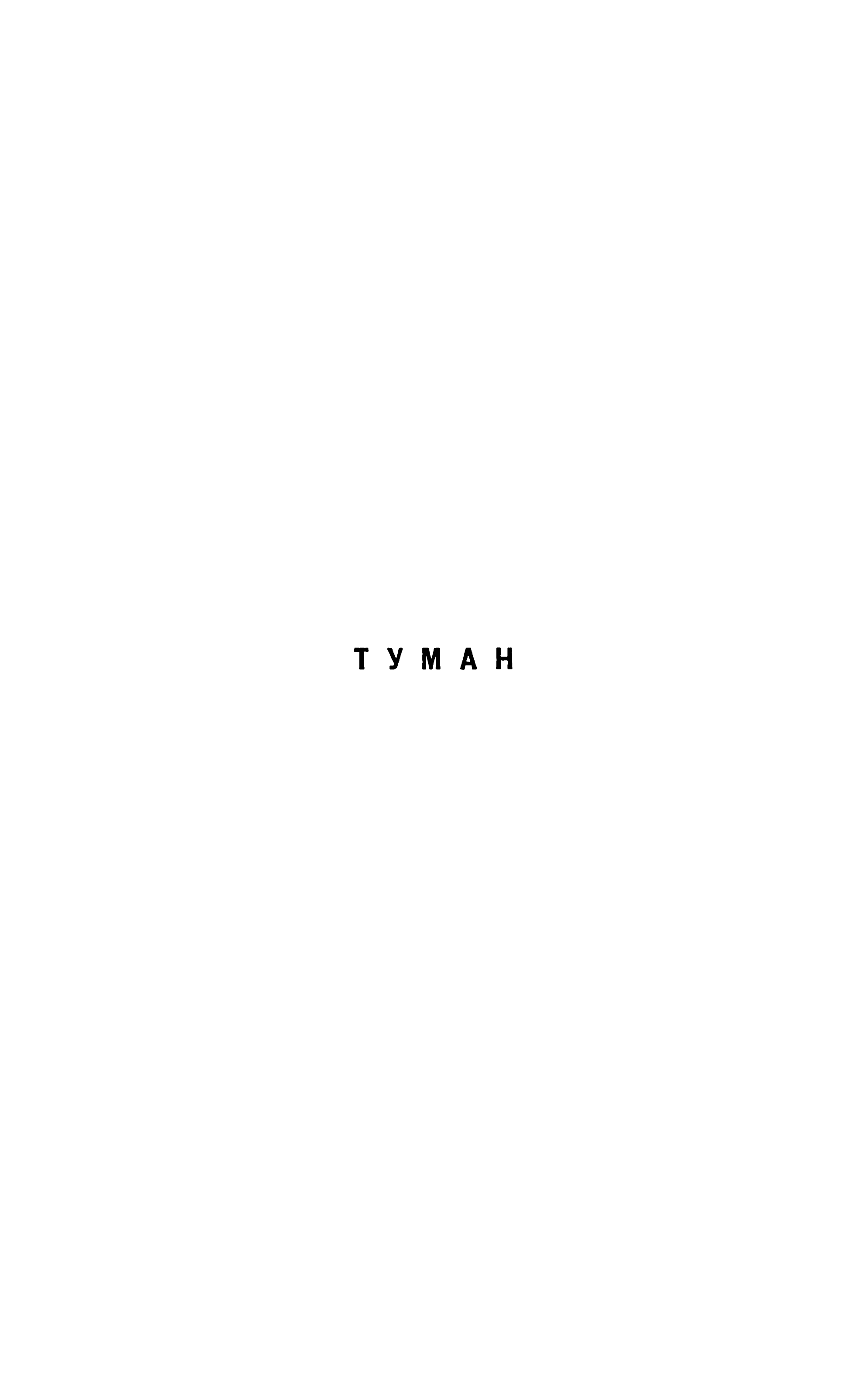
Вывели меня солдаты, под руки. Стучал мотор. Или в ушах стучало? Я остановился на дороге, на шоссе. Из-за стенки, под фонарем, окликнул кто-то: «доктор, вы?!. Это был мой Стенька, голос его дрожал. Я упал к

нему, схватился за него, плакал ему в плечо. Он что-то говорил и вел куда-то, торопил идти.

На пункте встретили меня матросы, была у них попойка. Помню, угощали спиртом. И я пил с ними... была жена и плакала, смеялась. Поднесли и ей. И она пила, от радости. И то *всё это*... было.

Апрель, 1936 г.

Париж.



ТУМАН

Я спускался с нагорий к морю. Зачем? За виноградным жмыхом — за нашим хлебом. И еще за чем-то. На виноградниках, под Кастелью, у Голубевской дачи, оставался еще огромный чан с синеватыми выжимками, от которых шибало перегаром. В них позволяли рыться, выискивать комья посытнее.

Винодел обнадеживал с усмешкой:

— Если с ученой точки, то процентика два белков обязательно найти можно, а в зернышках и жирков несколько найдется. Но только вот несваримая оболочка для млекопитающего желудка. И вот куры, ну, до чего жиреют с этого самого жмыху! Растирайте камнями и варите, и будет некоторая питательность. Как говорится, последний научный крик.

Я спускался с мешком, в рваной германской куртке, прикрываясь мешком от ливня. Под тряпками, на груди, хранилось письмо — за горы. За горы не пускали. Прибыл товарищ Месяц-Райский с какой-то «тройкой» — «искоренять бандитов». На всех дорогах поставили заставы, к Перевалу. Приказ угрожал расстрелом за самовольный выезд, за неявку на регистрацию, — которую по счету? — и все прижались. Искали офицеров, полицейских, судейских, фабрикантов — всех, убежавших когда-то в Крым, ныне — в Крыму застрявших, «заклятых врагов народа». Товарищ Месяц шырял по дачам, выхватывал и угонял на Ялту, где суд короткий. Кто отважится пронести письмо? Называли какого-то Семена Лычку, с дачи «Эльмаз», профессора Чернобабина, — под Кастелью где-то. Брал пустяки — рубаху. Не было

у меня рубахи, и нес я ему подметки, оставшуюся редкость. Нес и тревожно думал: да возьмет ли кожу? и как я его найду, неведомого Лычку, в просторах под Кастелью? и кто я ему, Семену Лычке, что доставит он мое письмо? Возьмет — и бросит. И как он туда пробьется, за Перевал, в такую непогоду?..

Погода была ужасная: конец ноября, дожди. С Бабугана сползали тучи, полные киселя-тумана, разверзавшиеся в долине ливнем. Рваные клочья их дымно тащились по деревням, мутью сплывали с камня. За ними громыхало приглушенно странным каким-то громом, удушливым и теплым-тяжким. Молний не видно было. С моря, с теплой еще воды, тянуло давящим паром, густым туманом, с редкими пятнами провалов, в которых мерцало черные. Не было ни земли, ни неба; а между ними, где-то, плавали-колыхались глыбы, громады камня, потерявшие всякий вес, таявшие в тумане смутно, — темные льды воздушные, — не по земному странно.

Я скатывался с горок на дощечках, — на деревянных сандалиях, скользя по умершей травке, по склизкому шиферу, по глине, схватываясь за сучья граба. Всё налилось водою, — рытвины, тропы, ямы, — плескало, скрежетало. С отвесов неслись потоки, срывались водопадцы. В балках, заваленных туманом, шумели камни. Море ворчало, под туманом. Трудно было дышать: давило паром. Я шел и думал: так же, должно быть, было и при начале мира, — туман и грохот, и Дух над бездной. Та же и ныне бездна, а над нею — товарищ Месяц, с винтовками, шныряет. Начало, конец... хаос.

Подкрадывались мысли: да что же это? Но я отгонял привычно: нельзя, не думай. Беги и гляди в туман. Направо, налево, — балки, крутым обрывом, не сосколызни. Помни: узкий хребет, из шифера. Беги и слушай: и плеск, и грохот.

Вот, наконец, и море. Слышно глухое рокотанье. Какой туман! где же моя дорога?..

А вот она: совсем незнакомая, строится. Где же дачи за кипарисами, на холмах? Всё — туман. Бежит подо мной дорога, скрежещут камни. Шумит из туманных балок. А где поворот на дачу профессора Чернобабина, к Семену Лычке? За «Профессорским Уголком», к Кастели. А где — не видно. И «Черновских Камней» не видно.

Шумит впереди, в тумане. Прорвали промоины дорогу? Берег реки у ног! Никогда ее не было, теперь — есть; сбило потоком мостик. Я ныряю по рытвинам, прыгаю по камням в прорывах. Прет на меня коряжина рогами, плывет из тумана дерево, цепляет. Сесть на него, и — в море. Несите, волны, в неведомое царство, в сказку!

Туча по небу идет,

Бочка по морю плывет...

Туман и грохот.

На новой реке — остров. Я прыгаю на остров. Виден другой в тумане. Всматриваюсь в туман: чернеет высокая фигура! Сгинула — и опять чернеет. С черными крыльями, человек!? Вижу, как взмахивают крылья. Носящийся Дух Хаоса? Бухает по воде, ко мне...

— Господи... где земля?!. — слышу я голос человека.

— Идите сюда... на камни, на островок!..

Человек машет крыльями. Вскакивает ко мне, размахивая пледом. Мы теснимся на островке, молчим. Нас поливает ливнем. Он дышит свистом. Дрожит, — чувствую я плечом.

— Туман, кошмар... не вижу, куда идти. Скажите, дорога это?.. Была дорога!.. Ничего не вижу... а надо версты четыре в город. Экстренное дело... кошмар! Вы...

постоянный, здешний? Ну, да... сразу, по голосу. Теперь по голосу отличишь. Трудно дышать, пары... и астма еще. Что же будет?! Слышите, странный какой-то гром, подземный? Что за кошмар!.. Плечи ломит от пледа... намок. Надо передохнуть. Среди хлябей с вами... Не отдышусь никак. Что? Профессора Чернобабина? Бо-же мой, Алексея Афанасьевича! Знали? О, какой это был!.. Три года уж, как скончался, после первого обыска, ударом. Как же, соседи были... И замечательный гидрограф... Не раз говорил, что здесь размоет, и эти холмы сползут! Всё ползет... А который час? Нет? украли? А у меня как раз сегодня, золотые часы... и всё! Даже воротник, оторвали, бобровый воротник... камчатский, восемьсот рублей в Харькове, с уступкой... оторвали! Кошмар!

Он был без шапки, повязана голова платочком.

— Дышать нечем, ффу... как под колпаком! Астма у меня. Но *так* не могу оставить... Лишить последнего права!.. Зверь — и тот имеет право на логово... jus bestiarum. Но у зверя клыки и когти, а... Со-рок лет стоять на охране пра-ва... и... Ко-шмар!..

Он встряхнул пледом, в который кутал плечи и голову, и я увидал осклизлые клочья ваты, где когда-то был воротник с бобром. Он был высокий, сухой, строгий, с лицом Мефистофеля в седой бородке, коротко остриженый под-бобрик, в пенснэ в роговой оправе.

— И шапку сняли, котиковую. Но тут не вещи, а... человек, субъект, права! Бегу в уголовную милицию, или... как там *у них?*.. Какое-нибудь, должно же быть право?! Как? никакого права?.. Значит, мы... только ве-щи?! Абсурд! У людоедов, у последних дикарей, есть! естественное право, jus naturale! У каннибалов... есть! У римлян было право рабов!.. jus servorum. Император Юстиниан... право колонов! Глядите кодекс Юстиниана,

о!.. У каторжников даже... *свое,* своеобразно-логичное, ка-торжное право! Хаоса и они страшатся... — ткнул он в поток, в туман. — Вот в этом, в этой проклятой мути... нет никакого пра-ва! Как-с?.. Профессора Чернобабина?.. Но он скончался! Ах, да... дача еще стоит. Так он... что? Предсказал давно, что эти холмы сползут. К нему как?.. Позвольте... отсюда поворот... через две промоины, за балкой, где дача Варшева. Знаете его? Бывший народник, вегетарианец... кошмар! Уцепились за корову с женой, и теперь у них эта корова... в кабинете! от воров! И на нее взирают с одной стенки почтенный Златовратский, с другой — почтеннейший Михайловский и... всепочтеннейший Чернышевский! А она им... хво-стом, понимаете... и именинные пироги!.. Ко-шмар!.. Увидите!.. Пьют молочко, кушают маслице и стонут, что их ограбили. Распродали по высокой цене участки, вырезали себе кусочек и ухитряются получать паек за... социалистическую шкурку-с! И их не грабят. Навестите, непременно навестите... И послушайте, как поют! А я... за пра-во! и буду! Пусть всё отнимут, последнюю рубаху снимут, но... пусть... пусть мне *точно* нормируют объем *моих* прав, хотя бы право последнего раба, право червя, но... пра-во строго хранимое!.. чтобы я не был взвешен, как какая-то пылинка в вихре!.. Иначе... ко-шмар!..

Он резко сорвал пенснэ и стал протирать привычно, кусочком пледа. Синие его губы дергались, кривились едко.

— Нет, я обязан потребовать точно определенных норм. О-бя-зан!.. Как не хватает воздуха... у меня не хватает... фуу. Я ждал, охранял первичное мое, мои *вещи*... И вот... Пусть издадут специальную новеллу хотя бы для изгоев! Вы же тоже изгой?! Прекрасно. Вчера вечером я колол дрова. Засветло еще было. Приходят трое, лица в тряпках, вымараны сажей... с ружьями. Ясно, кто. Хватают моих внучек... малюток трех и пяти лет... за волосы!.. и грозят стукнуть головками друг о

дружку!.. Ко-шмар!.. И требуют золотой портсигар! Прекрасно ориентированы каким-нибудь негодяем. У меня был портсигар восемьдесят четыре золотника, девяносто шестой пробы, от друзей-сослуживцев, в день сорокалетия моей службы в магистратуре... как прокурор Палаты... юбилейный, на черный день. Выдал, после короткой реплики. И всё, что было тщательно спрятано. Иначе грозили разбить головки Лидусе и Марочке!.. Вы представляете этот... кошмар?! Семь верст от города, в глубине балки... ну, что я мог?! Стащили с постели почтенную женщину, мою жену... нашу дорогую бабушку... — сжал он меня за плечи, и его синие губы запрыгали, — которая лежала в параличе, от всех этих потрясений... распороли перину и — всё! Сколько-то выигрышных билетов... кажется, двадцать семь... экономия всей жизни... всех трех займов... семнадцать империалов, лично ее от экономии... давали на-зубок нашим детям... с годами рождений!.. понимаете?!. ее приданные бриллиантовые сережки... свадебное колье дочери, известной артистки... она пела перед войной в Италии... и это муж, богатый итальянец, подарил ей... стоило двадцать тысяч... этих... лир, что-ли? Мои золотые часы с монограммами, подарок корпорации... прокуратуры окружного суда, когда я получил назначение в Палату... бриллиантовые запонки, обручальные кольца, медальон матушки с прядью ее волос... У меня весь реестр «выемок»... — показал он на боковой карман, — на прежний счет тысяч на пятьдесят, не считая акций Азовско-Донского Банка!.. Было два обыска, пока, но бабушку не стаскивали официально, если так можно выразиться... и под ней всё хранилось. Для меня, это место, в ее перине... было наисвященнейшее пристанище! Понимаете... это уже последнее право, пра-во одра болезни, юс морби, что-ли! Право лежать — больного человека! а они стащили на пол полуживого человека, почтенную женщину, сняли с нее сорочку, обшаривали всё тело!.. Ко-шмар!.. Пусть их немедленно за-

держат и привлекут!! Одного я признал — солдат с кордона, *ихний!* Я уличу... и докажу, что нельзя лишать последнего человеческого права... права умереть спокойно! Даже у зверей, живущих стадно... например, гуси... Я *им* укажу на Брэма!.. Они издают декреты, и они должны...

— Как, вы хотите *туда?!.* — перебил я его, стараясь овладеть мыслями.

Он вдруг запахнулся пледом и прыгнул в воду.

— Докажу!.. — крикнул он из тумана, чернея крыльями. — Со-рок лет на основе права!..

Мелькнули в тумане черные его крылья и пропали. Я крикнул:

— Постойте!.. стойте!!.

— Что?.. — крикнуло глухо из тумана, и я увидал смутную фигуру.

— Там же новая регистрация!.. — крикнул я, — товарищ Месяц... грозит расстрелом!..

— Это к уголовной милиции... производить дознания и я в отставке! Два раза обыскивали... Пусть они оградят право своих рабов, которые вынуждены были... *мое* право! Если первичные нормы права разрушены... — хаос! Сорок лет я оберегал незыблемость закона и не могу!.. Дело не в портсигаре, а...

И он провалился в муть.

Я долго искал дачу профессора Чернобабина. В плеске, ливне и грохоте крепко-трескуче билось в моих ушах: пра-во, прра-во! и я повторял его, это крепкое слово — право. Оно навязло на языке, завязло в мыслях, отдавалось в прыжках по лужам. Оно воплощалось, становилось *чем-то,* таинственным существом каким-то, вертелось со мной в тумане. Бобровый воротник, портсигар, бандиты, детские милые головки, людоеды, гуси, рабы, расстрелы... — вместе с ним вертелось, черными крыльями махало, и всё — туман!

Я глядел в душную гущину тумана. Там разверзались хляби. Там *разнималось,* рушилось в пустоту.

Я нашел, наконец, дачу профессора Чернобабина но — никакого Семена Лычки.

— Лычка? Лы-чка... — бессмысленно повторял чуть державшийся на ногах старик, варивший под навесом с другим таким же, татарином, лошадиные маслаки в котле, вонявшие кислым клеем. — Такого что-то и не было... Лычка!.. У меня брат был, Степан... так он Ды-чка... и я тоже, Никифор Дычка... с Полтавщины, давно здесь. Хороший садовник был, всякие розы умел ухаживать, при покойном Ликсей Опанасьице. Другая неделя пошла, как помер. Мы с Якиром и закопали его, без покрова-погребения, в клунбе вон закопали... — показал старик на большую клумбу со свежим холмиком, засаженную голыми деревцами роз.

— Нема Степан... — отмахнул головой старик-татарин и заморгал на клумбу. — Ушла дале-ко.

— А Лычки не было. Это вам про Степана нашего говорили: Степан Дычка, мол! Верно, Степан ходил до Симхверополя, носил добрым людям и письма. Вино носил, на мучку выменивал. Так и жили. А теперь... коня дохлого варим, нашли в балке, кости уж... Побили нашего Степана за горами, шибко побили... кормильца нашего. И вино отняли. Насилу дополз до дачи... три дня всё полз, помирать дома. Лег и не вставал... всё жаловался... Сердце ему отбили. Четыре денька подышал. Это Степан Дычка. А Лы-чки... такого нет. И не было никогда. Что за Лы-чка?.. Такого не было.

— Зима пришел, ничего нема... — покивал татарин. — Голова болит стал... живот болит стал.

И тонко, жалобно, как ребенок, заплакал в руки.

Я пошел от этих двух стариков. Долго бродил в тумане, искал дачу Варшева с молоком, с коровой.

К ночи пришел на горку ко мне сосед, рассказывал:

— А вот чего случилось, милицейский рассказывал. Прибежал к ним сумасшедший человек один. Оказывается, который судебной палаты был, дача у него за Варшевым, «Светлодар». Жили тихо. На базар одежку носил, выменивал. И прибег жаловаться, ограбили его, будто, ночью. За беспорядки жаловался, законов у вас нет! Наш, в высокой шапке-то который, словно халдей какой... начальник розыска, как его... Семыкин! Ну, всё записал, чего ограбили. На боле сто милиенов! Так и ахнули! Как так, у вас столько раз леквизовали, и такой нашей власти убыток от вашего обмана? Всё и записали в протокол. И легистрацию велел подписать, какого происхождения. Выходит, пор-курор! Сейчас его с милицейскими к Месяцу прямо в лапы! под расписку! А Месяц в автомобиль садился, в Ялту ехать. Подхватил его с собой, по-мчал. «Вот дак орла поймали!» — говорит. Смеялись там. Говорят *там* уж без разговору. Говорят, сколько тыщ народу от него страдали на каторге, самый для народа вредный был. А подручных Месяц послал на дачу, забрать всех, и в подвал, до его приезду, и всё забрать. А тот их пушил!.. Так разносил, ни-чего не боится! Раз сумасшедший, за себя уж не отвечает. На самого даже Месяца накричал!.. Ну, теперь уж без разговору...

Март, 1928 г.

Париж.

П А Н О Р А М А

Ливень не прекращался, а предстояло четыре версты тяжелого подъема. Прикрывавший меня мешок набух от дождя, давил. Лепешка совсем раскисла, и я проглотил ее, как грязную замазку. Я напрасно спускался к морю, в этот ноябрьский ливень: не нашел я Семена Лычки. Не было никакого Лычки, а был Дычка, который, правда, нашивал письма за горы, проходил через все заставы, но его схватили и побили. Плохо теперь тем людям, которые посылали письма: и на свете, пожалуй нет. Нет и Степана Дычки, доброго человека, который «всякие розы умел ухаживать» у профессора Чернобабина: закопали его в клумбе, под его розами. Плачут теперь над ним голые штамбики на дожде. И виноградных выжимок не нашел. Заглянул в пустые чаны лиловые, — шибануло из них угаром. Вышел под ливень сумрачный винодел в рогоже, махнул рукой:

— Были от особого отдела, черти... погнали баб, влезли в чаны и на жмых сделали. — «После нашего не поешь, а то с вашего жмыху дохнут!» — Наклали и повезли, курей кормить, говорят, начальнику. А сами шапками на базаре продавали, на котлеты. Тьфу!..

С моря валил туман. Я потащился галькой, под выплесками прибоя. Воняло прелью. Я нашел «морского кота», раздутого; по синеватому его брюху кишели черви. Меня охватила слабость. Вспомнился ограбленный прокурор, бежавший куда-то жаловаться. Он говорил, что у Варшева есть корова... Вспомнилась «Панорама», прекрасная дача Варшева: с нее открывалась панорама холмов и моря: море синело чашей, сверкало парусами; по

уступам чернели кипарисы, белели дачи, пышно сползали виноградники; когда высыпали звезды — проплывали недвижно пароходы, сияли, гасли; тусклое пятно месяца мерцало в море, струилось чешуею.

Я нашел варшевскую балку, забитую туманом; брел по садам диканки и синапа, теперь пустынным. Смутные тополя показывали дачу. Я нашел белую дощечку, с латинской прописью золотцем — Panorama; часто читали — Рапочата, — татарское? В черном окне белелось. Я прошел по гремучей гальке. Чья-то рука схватила с окна кувшин с молоком, хрустальный, — оно-то и белелось. На парадном была записка: «стучите, звонок не действует». Открыла Варшева, худая, стриженая старуха, в подоткнутой грязной юбке, — и меня задушило зловоние, даже отшатнулся.

— Корова у нас, — показала на дверь старуха, — пришлось поставить. Из сарая чуть-было не свели.

Теперь я понял, почему так ужасно пахло. Я извинился: зашел только на минутку, передохнуть. Варшева поглядела ласковей, справилась даже о здоровьи и приоткрыла дверь — в кабинет.

— До чего дожили!..

Величественный когда-то кабинет Варшева был совершенно преображен.

Великолепнейшее окно-фонарь, из которого открывалась панорама, было наглухо заколочено. Ни портьер темного бархата, ни чудесной библиотеки по всем стенам, ни огромного письменного стола, загруженного ворохами журналов, газет и книг, ни коллекции «редкостных фотографий» на черном бархате, ни сурового бронзового Брута... Но висели еще портреты в рамах, чуть приметные в полутьме. Я нашел Михайловского, Чернышевского в красном плюше, чей-то еще, с залысиной. На месте письменного стола, под Чернышевским, стояла железная

ванна с сеном. Но первое, что ударило по глазам, что закрыло весь кабинет своим широченным задом, была исполинская пегая корова. Она тянула из ванны сено и покачивала хвостом. Заслышав шаги, она завернула морду и тяжело вздохнула, отрыгая. Пол, уже без ковра, был весь тяжело заляпан, и всюду текли потеки.

— Вот, — как-бы извиняясь, прошамкала старуха, отбрасывая с лица грязно-седые волосы, — чорт знает что!.. Одна не справлюсь, Михаил слег, с почками у него... Просила соседа-сторожа сходить за доктором... — как облагодетельствовали негодяя, воровал у нас виноград пудами... — и за такой пустяк потребовал де-сять бутылок молока! Эта корова только одно мученье. Все выпрашивают завидуют... И интеллигенты тоже, знаете... а-а!..

Я стоял, потрясенный. Вдумчивый Михайловский, живописнейший Чернышевский, коровий зад, этот зловонный воздух... — не сон! Корова жевала вдумчиво, хвост ее изогнулся...

— Чорт знает... — сплюнула Варшева, зажгла смятую папироску и жадно затянулась уголком рта. — Всю жизнь жили одной мечтой, работой для народа... шли на жертвы, Михаил надорвал здоровье... и — вот!.. Пройдемте к нему, будет рад. Не с кем ему и поговорить теперь, мысленно освежиться...

Варшев очень любил поговорить.

Совсем молодым, имея большие связи, попал в директора училищ в одной из южных губерний и там женился на дочери генерала. Она была пожилая и некрасивая, но он увлекся ее радикализмом, ее перепиской с Шелгуновым, ее вегетарианством и жаждой служить народу. У ней были обширные виноградники в Крыму. Он бросил службу и перешел на земство. Виноградники они разбили на участки и распродали людям избранным, больше

профессорам, а для себя сохранили трудовую норму — «золотую долинку» с «Панорамой». Здесь давались концерты, читали наезжие писатели, и устраивались вечеринки совсем интимные, когда таинственно заявлялся из-заграницы *некто*. Перед первыми выборами в Думу Варшев выпустил острую брошюрку — «Освобождение от земли» — и хоть не попал в Думу, но прогремел речью на педагогических земских курсах. Курсы закрыли, арестовали десяток учителей, а Варшева вызвали в Петербург. Он принужден был расстаться с земством и окончательно прогремев, засел за солидный труд — «Социальные предпосылки будущего». Тут его и застала революция. Друзья предлагали ему пост губернского комиссара просвещения, но он отклонил и потребовал пост ответственный. Но ответственные были уже расписаны. Оскорбленный в заветных чувствах, он засел прочно в «Панораме» и издал боевой памфлет — «Социальные предпосылки полезной личности». Веря, что пролетариат оценит, он дождался большевиков. Ему предложили в уезде «библиотечный фронт», и он уже начал пробовать, но кто-то донес, что свою библиотеку он не тронул, и его потащили на расправу. Благодаря знакомствам, его только выругали и выгнали, отнявши паек в полфунта и библиотеку. Пригрозили отнять и «Панораму», но он приписался к какой-то комиссии «по охране документов революции» и принес в дар коллекцию редких фотографий на черном бархате. И всё же ему грозили, что отберут.

— О-о... — застонал он, узнав меня, и плавным движением руки показал на себя, простертого пухлой горкой под плюшевым одеялом, с полосками под тигра. — Поруган, ограблен, разбит физически и морально... — и за что?! Вот итог нашей жизни, сознательной и творящей личности. Горе побежденным!..

Он откинул на свежую подушку цыганскую свою голову, приставленную к широченным плечам без шеи, и

поседевшие его кудри разметались. Он лежал на дорогой кровати с шарами по уголкам, в сорочке тонкого полотна, на которой резко чернелась широкая борода, жесткая, как из проволок. Под бородой у него лежала книга, заложенная бумажками.

— Так, пустяки... итоги «излишеств молодости», — сказал он на мой вопрос. — Если бы умереть *тогда,* в лучезарные мартовские дни, когда!.. Чем жить? за-чем жить?! И еще проклятые эти приступы, возня с этим гнусным инструментиком, — показал он тонкую трубочку, — а *они* всё прогадили, и даже в чудесной нашей земской, былой, аптеке нельзя достать катэтра! Хорошо, еще был у меня в запасе!.. Доктора не дождешься, по лечебнику уж, — показал он на книгу под бородой, — кукурузными усиками, укропцем... Очень желтоват, а? отеки?.. — спрашивал он тревожно, щупая себя за щеки. — У, какой лимон... — испуганно прошептал он, заглянув в зеркальце. — Софи, что же ты мне отвару? Такое подлое время — и болеть! Софи, погляди ноги... как? Я чувствую, как меня что-то наливает...

— Гораздо меньше, — сказала Варшева, отвернув одеяло и ощупав.

— Только не золоти пилюль, про-шу тебя! — вскрикнул он в раздражении, стараясь увидеть ноги. — Ну, как же «меньше», когда бо-льше?! Это всё результат завалов, от однообразия молочной пищи... Пошли за каломелью, прошу. Ну, дай этому негодяю еще десять бутылок, пусть его лопнет, чорт... но не могу же я... погибать! И ливень еще... Доктор один, народ гибнет от голода... О, какая мука сознавать в себе еще неисчерпанные силы — и!.. Народ... которому мы, соль земли, отдавали жертвенно всего себя, за кого так страдали... и вот, и он, и мы — у разбитого корыта! Власть упала к нашим ногам, как созревший плод, и... так пошло кон-

чить! так бездарно!.. Причины?.. Они до того очевидны... Софи... кажется, стучат?.. Не доктор ли.

— Корова переступает! — крикнула с сердцем Варшева, и раздался свирепый рев, даже задребезжали стекла.

— А!.. — шлепнул Варшев по одеялу, — дожить до... ко-оро-вника в кабинете! Всё сошлось, чтобы больней добить, морально раздавить. Уже две недели мои уши гудят от этого ужасного рева зверя, от этого — мементо мори! О, пы-тка!.. Но она дает молоко, а без молока мне гибель. И мы ее холим, достаем ей сена, вымениваяя последнее. Бедлам! Когда я решал вопрос, где же ее держать, чтобы не свели, сердце облилось кровью, когда я пришел к страшному выводу, что единственно — только в кабинете! Столовая рядом, меня и так душит зловонием, а кабинет всё-таки подальше... другие комнаты неудобны для нее, узки, а она у нас, как дьявол!.. Да и к чему, в сущности, кабинет, если его уж и нет? Всё ограблено: мой стол, за которым столько выстрадано, продумано бессонными ночами... библиотека с униками, два письма Чернышевского из ссылки, еще неопубликованных, очень важных... Писарев с автографом... мой «Брут», — я привез его из Фло-ренции, — он выговорил мягко: «Фло-рен-сии», — и старшно боялся, что его будут потрошить, так как в нем были письма одного из боевиков и масса «литературы»... — наконец, мои рукописи, итог всей моей трудовой жизни!.. Только мы, мы, писатели, можем понять, что такое ру-ко-писи, письменный стол, ка-би-нет. И я ввел ее. Уже не было сил убирать портреты когда-то чтимых. Не всё ли равно? И я ввел ее. Реви, мычи, гадь, жуй свою жвачку, зверь... самый тупой, самый сонный, ка-ро-ва!.. — выкрикнул он с каким-то свирепым наслаждением, — а вы, вы «властители дум и поколений», взирайте, как митрофанушки наши всё обратили в навоз, в коровье стойло, в... — удушливо хрипнул он, налившись желто-багровой кровью.

— Михаи-ил!.. — окликнула его Варшева из другой комнаты, — вредно тебе так волноваться.

— Лучше яду, стрихнину какого-нибудь, чтобы только не... Что за пытка! — изнеможенно, уже детским каким-то голосом простонал Варшев, прикрывая глаза рукой.

Стало тихо, шуршал за окошком ливень. Сурово глядел со стены Толстой, напоминая прошлое. Должно быть я задремал от слабости — и вздрогнул: Варшев стукнул по столику.

— Помните?.. — крикнул он, — в «Истории рационализма» Лекки есть замечательное место?.. Да заткни же *ей* глотку, этой гнусной трубе... архангела!! — подскочил на кровати Варшев, — *она* мне мешает мыслить!.. Что это я хотел... Да, у Шелгунова, в одном из его писем ко мне, есть удивительно верная идея, точно квалифицирующая соотношение сил мысли и инстинкта. Если, с одной стороны, мысль, — надо разуметь интеллект, личность деятеля сознательного, — есть продукт... О-о-о... — вдруг застонал он жалобно, — как иглы в почках, невыносимо... о-о... Софи, дай мне еще хоть подлого этого пойла из усиков... ччоррт!.. В моем памфлете я цитирую Шатобриана, из его «Гений и Христианство»... — «Царство сильного Хама станет венцом культуры!» Вот, и Шатобриан, и я... мы согласно проводили мысль... Я писал, предостерегал, но наши верходумы и митрофанушки, так самоуверенно схватившие «фрукт»... что говорить! С Михайловским мы несколько разошлись, я и ему доказывал... и он, если помните, — и это как раз после нашей с ним встречи в Петербурге!.. — он обмолвился словечком о Венере Милосской и мужике с топором? Мои предчувствия, мои «темные линии психики масс» блестяще подтвердились! Я удовлетворен. Я мучаюсь, но я у-до-вле-творен! Нет, кажется, опять лихорадит. Софи, дай градусник. Уж извините, неприятная опе-

рация... но подмышку ставить не рискую, боюсь раздавить, а термометров больше нет. Да, я удовлетворен. Софи, убери ты от меня эту ватрушку... от нее у меня завалы. Дай лучше простокваши, — после!..

Костлявая рука Варшевой быстро сняла со столика блюдечко с недоеденной ватрушкой. Варшев повел дремучими бровями, из-под которых остро блеснули его глаза, черные, как кусочки антрацита. Крепкая борода его встряхнулась, словно хлестнула прутьями.

— Так, прогноить, *все!* Я взывал: «по-мните аграрный вопрос, на нем будет дан бой»! Тщетно. Я подавал пример, продал задешево мужикам саратовское имение... и если бы эхо моих проектов... только *э-хо!* — отозвалось в Государственной Думе... — Он вынул из-под себя градусник, — 37 и четыре... не угодно ли! Стучат, кажется... нет? Полвека трудов, исканий, самоограничений... Провел ряд педагогических курсов, выпустил сотни образцовых тружеников на ниве народной, в душу которых заронил этот неусыпающий протест против царящего зла, — и вот, заушаемые, ограбленные... О, как нас обманули эти «верхоплавки»!..

— Выпей валерьянки, — подала рюмку Варшева. — Ты поправишься и завершишь свой капитальный труд...

— «Опорные точки массовой психологии»?.. Но, стоит ли? Впрочем, если за мной пойдет молодежь, самое ценное, что еще осталось от России, тогда стоит поработать. Мы, люди мысли и чуткой совести, соль земли... мы должны помнить о нашем долге, о нашем «стоянии на столпе», — даже в этих звериных условиях. Но в таком случае, пусть же дадут нам хотя бы минимум существования! А *они* хотят отнять даже «Панораму», выкинуть нас на улицу! Народу я готов отдать последние силы, как отдавал полвека, но пусть, пусть, пусть... У меня гаснет голос?..

— Ты всё воображаешь, — сказала Варшева, торопливо вытаскивая из-под столика тарелку с комком сливочного масла. — Он — обратилась она ко мне, — мучается чужими муками, как всегда. Каждый день к нам ходят голодные, — как он волнуется! Но мы уже бессильны. Мы даем лекарства, чего-нибудь... старые газеты, которые они выменивают, кажется...

— Сейчас бы организовать питательные пункты, развить широкую пропаганду, будить общество, бить в набат! Помню, со Львом Николаевичем, с Владимиром Галактионычем... как мы работали! как горели святым огнем! в нас билось всемировое сердце. А теперь, *чем* жить?! Как ночь — ждем бандитов, обысков. Оружия нет, да если бы и было... ну, как я стану стрелять в *человека!* Я принципиально *не могу* убить! Пусть уж лучше меня убьют. Я прошу только одного: дай-те мне покоя! дай-те мне незаметно существовать, думать, мыслить, понять этот катаклизм, найти смысл! дайте же мне завершить мой труд, мои «Опорные точки!».. Вы, кажется, очень устали?..

— Да, ходил по одному делу. Да, прокурора я встретил... высокий, в пенснэ? Его ограбили этой ночью, бежал жаловаться, требовать «права»...

— Аркадий Николаич! — иронически усмехнулся Варшев. — Чудак... Да его *там* сейчас же арестуют! О нем забыли, и я ему советовал не появляться в городе. Что у него могли ограбить? Они давно нищие, всё у них выбрали обысками. Берут у нас, по знакомству, молоко детям... кажется, больше двухсот бутылок забрали! Да, вот интересный случай видеть, как *это* подействовало на сравнительно высокоразвитой интеллект! Он уже совершенно утратил даже первичное чувство... как это... такта, что ли! Каждый вечер он приходит и сидит, сидит, сидит... Пора спать, а он всё сидит, сидит, мнется, ждет... Мы поняли в чем дело. Когда надо скорей от него отде-

латься, иначе он заговорит своим «правом», Софи подает ему стакан молока, он жадно выпивает и сейчас же уходит. За *человека* страшно!.. Ну, скажи прямо... но эта мелкая «хитрость» приводит меня в бешенство! Зачем так унижать себя?! Мы должны гордо встречать эти гнусные удары... Что, не доктор?..

Под окном зашуршало гравием, и пробежала какая-то фигура.

— *Она!..* — крикнула Варшева, заглянув в окно. — За молоком. Надо как-нибудь дать понять!.. Говорили всё о каком-то долге, который им должны прислать... — всё сказки! — сказала она сердито и пошла отпереть.

В передней послышался задыхающийся, истерический голос.

— Да что такое у вас? идите, рассказывайте скорей, Лидия Аркадьевна! — оживился Варшев, одергивая одеяло. — Правда, ограбили вас?..

В комнату вбежала стройная, красивая брюнетка, с матово-бледным, «итальянским» лицом, тонким, но как бы закаменевшим. Мокрая шаль, белыми букетами по золотому полю, волочилась за ней с плеча. На ногах у ней были ночные красные туфли-шлепанки, ситцевый капот был на груди расстегнут, прекрасные ее волосы рассыпались по плечам и груди. Прижимая к себе, у сердца, зеленый кувшинчик, она стала однотонно выкрикивать, каким-то деревянным голосом, в одну точку на потолке:

— Мы погибли... моих малюток... Лидусю и Марочку стукали головками... требовали золота... папу били... мамочку, больную... сдернули с постели... и всё, всё... мое бриллиантовое колье, все наши империалы, золотые часы, все бумаги... кольца, серьги, папин золотой портсигар...

— Да что-о вы?! — привстал на постели Варшев, — и на много?..

Варшева спешно закуривала смятую папиросу, руки у нее дрожали.

— Ах, не знаю... всё, всё... — выкрикивала молодая женщина в какую-то одинокую точку в мыслях, прижимая кувшинчик к сердцу, — сбережения всей жизни, что удалось спрятать... Папа пошел жаловаться... Как они стукали головками!.. Я целовала им руки, ноги... не убивайте, возьмите всё... ужас, ужас, ужас... Дети голодные, просят молока... папа пропал с утра... я ничего не вижу, как... куда...

— Ка-ак?!. — не своим голосом крикнула Варшева. Это «ка-ак» выкрикнули оба, Варшев и Варшева, и потом их слова перемешались:

— Ка-ак?! Такое было у вас богатство, такие миллионы!.. И вы, вы... притворялись нищими... так таились.., Аркадий Николаевич приходил к нам, сидел и ждал, чтобы ему предложили стакан молока... каждый вечер... и вы имели такое богатство... и вы, вы, вы...

Я не помню, кто и какие слова кричал. Помню, как Варшева тыкала в воздух папироской, которая у ней сломалась, и ее грязносерые волосы прыгали по ее морщинам; как Варшев, откинув одеяло, с мохнатой грудью, видной из-за рубашки, тряс бородой-метлой, как дремучие его брови угрожающе двигались, а антрацитовые глаза сверлили. Помню окаменевшее лицо молодой женщины, ужас, на нем застывший. Она пятилась, выставив перед собой кувшинчик, словно хотела защититься.

— Что... что... что... — не то спрашивала она, не то просто произносила попавшееся ей слово, и вдруг, что-то поняв, неистово вскрикнула и кинулась вон из комнаты. Я видел, как мелькнула она в окне, размахивая кувшинчиком, и как волоклась за ней мокрая шаль с букетами.

— А-а-а... а-а-а?!.. — задыхался Варшев, натаски-

вая к себе с полу одеяла — Так, так низко... Так пасть... Я положительно не могу придти... — удушливо шептал он, смотря на меня опешенно и всё натягивая тяжелое одеяло. — О-о-о... — выдохнул он, изнемогая. — Софи, куда же ты ушла... дай нам сюда чаю и приди... я никак не могу...

Старуха гремела чем-то. Я отказался от чаю и убежал под ливнем. Сразу за мной пропала «Панорама» — туман проглотил ее. Он становился гуще и холодней. Не было ничего, нигде: туман — и в тумане шорох. И бывшее стало сном.

Август, 1928 г.

Ланды.

КАМЕННЫЙ ВЕК

I

Безрукий — правую свою руку он потерял еще в бытность слесарем, в Одессе, — перебрался на Южный Берег и занялся более легким делом: водил приезжих по дачам и пансионам, показывал земельные участки, провожал на прогулках в горы, выискивал у татар разную старину, — оловянные кувшины, дедовское оружие, в серебре чеканном, ковры и чадры, — словом, кормился гулевой публикой. Хорошо научился по-татарски, был сметлив, услужлив, ловок и сделался для приезжих прямо необходимым человеком. Приезжавшие отдохнуть и погулять желали развлечений, а Безрукий умел потрафить. Да в иных делишках как-то и удобней было иметь с ним дело, — будто и не человек выходит: одна рука, и уж очень рыжий.

По округе его все знали и так и называли — Рыжий, за огненные бакенбарды, под англичанина, — а то и совсем приятельски: Рыжая Обезьяна. Правда, красотой он не отличался: был носастый, коротконогий и косолапый, уши торчали лопухами, челюсти сильно выпирали.

Такой был случай...

Как-то, один профессор заспорил на веселой прогулке с батюшкой о теории Дарвина, вытащил Безрукого напоказ и при общем смехе — смеялся и сам Безрукий — определил:

— Ну, глядите!.. Явные черты почтенных предков!..

И все признали. И батюшка даже согласился:

— Ммдаа... признаться!..

А нагрузившийся архитектор, для которого наломал Безрукий сталактитов из пещеры, дал ему три рубля и расцеловал в утешение:

— Наплюй, Рыжая Обезьяна... В сущности, говоря... все... скоты!

С того случая и установилась кличка.

И хоть был он уродлив и калека, а обзавелся семейством. Тройка у него детишек подрастала, все рыженькие — в него. И капитальцу сколько-то отложил, собирался собственный пансион наладить и даже имя ему придумал — «Веселый Век» — и выйти, как говорится, в люди. За войну и совсем окреп, совершил уже запродажную на домик, — как вдруг, начавшаяся нежданно смута спутала все рассчеты. Запродажная полетела, капиталец из банка не выдали, банки все сразу кончились, — словом, вся жизнь перекувырнулась и встала на голову. Веселая публика вдруг пропала, а заработать и с двумя руками стало негде. Он было сунулся за пособием к новому начальству, трудовому, — всё-таки бывший слесарь, и без руки! — но его просто выгнали, как «позор пролетариата». Так ему и сказал заменивший полицейского пристава мальчишка с револьвером. А он, правду сказать, надеялся...

Пришлось цепляться, за что попало. Он было взялся охранять дачу, брошенную сбежавшим хозяином, рассчитывая, что теперь затеряется хозяин, и дача станет его, повертелся с годик, выменял и проел, что уцелело в даче, до самой крыши, и до того, наконец, добился, что пришлось ловить кошек на западню, — слесарство-то пригодилось! — но и кошки скоро перевелись. Последнее, что у него осталось, — драповое пальто, он выменял на хлеб — детям и очутился к зиме в трепанном сюртуке, после хозяина-дачника, когда-то очень шикарном,

и в шляпе-панаме, внушавшей, бывало, доверие приезжим, теперь тоже потрепанной и даже для него жуткой напоминанием о прошлом.

Пошли слухи, что уже помирают голодной смертью, но Безрукий не верил в такой конец. От веселых господ, с которыми ездил в горы на пикники, — а сколько было всяких профессоров! — он кое-чего набрался. Говорили душевно, начистоту, — под небом! Это когда еще голыми дикарями жили, в пещерах хоронились, — как вот под Чатыр-Дагом, Тысячеголовая Пещера, там и теперь человечьи кости и черепа находят и даже растаскивают их на память, — в древние времена, когда люди камнями бились и камням молились, — тогда, действительно, было страшно. Потому-то — «Каменный Век» и называется. А теперь — какая культурная цивилизация! Человеческий голос за тысячи верст слышен, про всякие звезды всё известно, и из одного воздуха всё добывать можно, и даже сахар! А работать будут только одни машины. Многого понабрался Безрукий на прогулках, когда, на веселом огоньке, на кизиловом пруту, поджаривал шашлычки из молодого барашка, и, со стаканчиком красного, сам весь красный, довольный, что живет в такое славное время, с такими образованными людьми, подкидывал к общему тосту и свой рев-голос — во славу еще лучшего будущего.

Помереть с голоду, ему и детям?!. Немыслимо. Не допустят. Совсем недавно какие знаменитые господа говорили отчетливо, что постигли теперь все тайны, покорили всю силу земли и скоро раскроют небо! Безрукий любил послушать, душа горела... И было это совсем недавно, даже вот самая та панама!..

И кругом было — как совсем недавно. Те же стояли горы, все ласковые, все разные: голубые, золотые, синеющие к ночи. Те же на них дремлющие леса, и орлы над ними. На яйле ходят барашки, в море гуляет рыба. И

виноградники, и дачи, и дороги, — правда, теперь пустые...

Всё это было. Но у Безрукого дошли последние запасы, и ему стало страшно. Он перезанимал у знакомых татар, что можно, но круг сжимался, и, наконец, сдавило. Стало ясно, что смерть приходит.

Оставалось последнее — сходить в горы, к дорожному сторожу Григорию Сшибку. Правда, надежды на Сшибка было мало, как на камень, — от слез не треснет. Но бывает, что заговоришь и с камнем.

II

Со Сшибком у Безрукого было старое знакомство, дела-делишки. Возил, бывало, Безрукий веселых господ к «Торчку», к высокому камню на опушке, неподалеку от дорожной казармы, — «глядеть луну». У Сшибка брали вина и молодого барашка, были у него красавицы-дочки, а может быть и не дочки, — Безрукий в метрики не глядел, — наливали гостям в стаканчики... А в прохладной казарме было с приятностью ночевать на горном душистом сене и встретить в горах утро. В те времена немало-таки перепадало Сшибку. Знал Безрукий, кого повести ночевать в казарму, кому намекнуть про девочек-хохлушек, что вот, с неделю, приехали погостить к папаше «с-пид Катэрынослава». Понятно, гулять теперь на луну не ездят, и дочки куда-то сплыли. Но казарма и Сшибок — были.

Встретил как-то Безрукий Сшибка, на берегу, у моря. Вспомнили прежнее, поговорили...

Забирал Сшибок у татарина на базаре соль.

— Пищишь, Рыжий?.. — швырнул обычно, через плечо, Сшибок.

— Запищишь... другой месяц с детьми без хлеба...

Быком поглядел Сшибок, как отмерил.

— Хлеба нема — соль лопай. Вот и покуповаю. Що?.. — повел он по-лошадиному, белками, — шляпа одна с тебэ осталáсь да букиньварды... як у кобеля хвист!

С господишками бы тикал, а ты с дурнями скулить остался?..

Безрукий поостерегся спорить: всё надумывал, как бы заговорить о хлебе.

— Что ж, с господишек и тебе перепадало... — сказал он робко, — каждому человеку надлежит питаться...

— То воно у старину було, у глупое время! А тэперь... каждый и шоб трудом... камнем а то колом! — усмехнулся усами Сшибок. — Лихо же твое дело, слесарь... Уси замки посбивалы, а новых повесить не на чого!..

«Сыт, коли зубы скалит», — подумал всердцах Безрукий, а сказал покорно:

— Главное, рука у меня одна...

— У волка и той нету, а воет весело!

— Всё ты веселый, и шея, что у быка! От тебя всё отскочит...

— Булó, ще и бодался! А тэперь и сам на роги попался.

Безрукий оглянул его с бараньей шапки до сапогов: всё такой же, — верстовой столб, чугунный!

— Некому тут с тобой ровняться... — польстил он Сшибку, надумывая о хлебе. — И теперь на горах живешь, ни перед кем головы не клонишь...

Тут он вспомнил про важное и таинственно заморгал Сшибку.

— Еще чого?..

И прежде, бывало, не любил Безрукий, как выкатит тяжелые глаза Сшибок, а тут и совсем перепугался.

— Да так... болтают...

— А ты... добалтывай! Чего такое?..

Мигнул Безрукий: подальше отойти надо, татарин слышит.

— Из дружбы, Григорий, предупреждаю... На Перевале, будто... шибко обижать стали?..

— Ну?!.

— Ну... и тебя словно называют... зря, понятно...

Повел Сшибок зубами, потер, как лошадь.

— На-зы-ва-ють?.. — сказал он глухо, метнув бровями, — подалась даже шапка. — Награбили с господишек, прожрали, дохнуть... а я — гра-блю?! Кто это тебэ говбрил... я тэбэ уважу?

Понял Безрукий темное в глазах Сшибка. Дрогнула в нем душа, шепнула ему: не надо! Но Сшибок держал клещами:

— Кто тэбэ... говори! уважу?..

А голод сказал: даст хлеба! И сказал Безрукий, что говорил так про Сшибка старый печник Семен Турка. И понял, что губит человека.

— Семен Турка... Ладно! Вот, на Кузьму-Демьяна, последнего барана режу, солить буду! — объяснил про соль Сшибок. — Заходи у гости, Рыжий... поделюсь требушинкой. А там... подыхать будем!

— Конь па-дыхал, кароши чилавэк па-мирал... а твой деньга балшой, пашаница в камни ховал, наш турэцки золото татар мынял! — жилами закричал татарин, языком зацокал: — Це-це-це... па-дыхал!? Весь горы знают, какой правда!..

Зашумел Сшибок на весь базар. И пустой был базар, а ближний народ собрался. Поднял Сшибок черный ку-

лак, как молот, и грохнул о прилавок, — запрыгали все гирьки.

— Горы знають?! А того знають, где кровные мои гуляють?! Уси капиталы девчонки-сучонки мои позабырали, с господишками за море укатили!.. Зна-ють?! Тэпэрь с голоду подыхать приходить?..

— Издох мышь на мука́, весь мышь плакал! — кричал татарин. — Па-гади... я тебе сказал!.. Пришел лигушк к маравей, га-лодни...

Не дал ему говорить Сшибок:

— Уси добрые люди знають, какие у мэнэ дочки... до последнего кругляка позабырали! Вот этот человек знает, Рыжий... Ну, какие у мэнэ были капиталы? Ну?!.

— Да какие ж у вас могуть капиталы... трудовые! И те в викуацию позабирали... — поддержал Безрукий.

— Па-гади, я тебе сказал... Пришел лигушк к маравей...

Опять не дал говорить Сшибок:

— Какой мыш на мука́ подох? Татарский!.. Измору нашего ждете, коневья жила?! Мы с голоду подохнем, а гололобые в шиш-беш свой играть будут, нашими костяками у кофейнях? Я двадцать годов камень этими вот бил, дороги чертям чинил... а они теперь на моей крови кататься будут?..

А люди поддержали:

— Известно, теперь нас всякий татарин обидеть может!

— Йёххх!.. — крикнул татарин сердцем. — Ну, какой твой правда?! Все жил, руски жил, татар жил... Я видал, кто жил-обижал! Теперь стал-падыхал... татар обижал?! Йёххх!..

Понес соль Сшибок. Безрукий за ним поплелся.

— Есть у меня, Григорий, брюки замечательные, черного кастора... от старинного времени, когда еще с господишками гулять ездил...

— Подарить мне хотишь, чи що?

— На мучку бы посходнее выменял...

Круто остановился Сшибок, так и ударил взглядом.

— Ты чого мэнэ голову морочишь... ты що, смеешься?! Сказано тебэ, рыжий чорт... во-от дошло! Шо я вам, дьяволам... мырошник сдался?!

— Да я по дружбе... — поник головой Безрукий, — хорошему бы человеку... Татары за ничто схватят! Понесу завтра Амиду, набивался...

Шагал и шагал Сшибок.

— Семен Турка?.. И люди были?..

— Которые тут слыхали... Ну, я ему... Сколько, говорю, годов я этого человека знаю... говорить так оскорбительно негодится! А которые грозились. Мы, говорит, с солдатами дознаем... коротким правом...

— Поглядим, у кого короче! Собаки-воры... Я ихних никаких правов теперь не знаю! Сидел на горах — и буду! Чего за хлебом ко мне на-карачках ходят?.. Почему допрежде не голодали, собаки хлеба не поедали?.. Ку-да его, суки-ны сыны, прожрали?! Да их, проклятых!.. — скрипнул зубами Сшибок, — пущай уси до единого подыхають, як черви на дороги... Попировалы, тепэрь у хряка лизать горазды! А, растереблю всю муру, на степу подамся, на родину... мне на степе вольней будеть. А ты, в случае чего... уважу.

— Да я... я, Григорий... от древнего времени... черного кастору... — обрадовался Безрукий, до слез проникся.

— Ладно, загляни на Кузьму-Демьяна. И брюки мне, пожалуй, необходимо важны, на родину не в чем ехать, оборвался... — сказал Сшибок, поигрывая глазами. — Заходи. Может ще и бутилочка найдется... на прощаньи! Бывало время...

Суров был Григорий Сшибок, душою темен, а видом — цыган-цыганом: высокий, огнеглазый, черный, торчками брови, рука сухая. Знал Безрукий, что звонкое золото любил Сшибок, турецкое и наше; что ходили у него барашки с татарскими на яйле. Менивал у него на муку Безрукий всякого добра с хозяйской дачи, — Сшибок всему находил место. На берегу с голоду помирали, а он сидел на горах, и жалованья ему уже не платили, а он жил и жил бобылем в казарме.

Расстались они дружно.

И хоть никаких штанов не было, и сказал про штаны Безрукий, только бы зацепиться, — всё же пришла надежда. По старому-то знакомству хоть полпудика ячменьку даст Сшибок: и на родину уезжает, и обещал требушинкой поделиться...

Стало уж и совсем круто. С неделю жили одним пареным кизилом, и Безрукий почувствовал, что слабеет. Наконец, дождался: подошло первое число ноября, Кузьмы-Демьяна, — идти на поклон к Сшибу. Раз уж он поднимался к нему, на девятую казарму, на двадцать третью версту, за Перевалом, — и не захватил дома.

И вот, на Кузьму-Демьяна, когда собирался Сшибок барана резать, пустился Безрукий за требушинкой в горы.

Тому с неделю, убили на Перевале старого печника Семена Турка: камнем убили в голову, ограбили и раздели. Нес он муку со степи.

Страшно было Безрукому идти к Сшибу, давило ду-

шу. Но голод гонит. И про брюки, черного кастора, вспомнил...

«Скажу... нес, да на Перевале отобрали...»

Подумал: да чего же на мучку выменять? — не даст так Сшибок. Не было ничего. И взял он для прилику, чтобы не совсем стыдно было, последнее, что у него осталось, — паяльник. Всё лучше, чем с пустыми руками.

С голоду всё темнеет. И в голове темнеет.

III

Вышел он до зари, — еще ярко горели звезды, еще и не начинало светлеть в море. От смутных, спутанных ночью гор — валило тугим и студеным ветром, мотало старые кипарисы. Надел на себя последнее, что осталось: хозяйский сюртук, замызганный и в заплатках, неизносную свою панаму, штаны дерюжные, — из сахарного мешка справил, — и когда-то шикарные, на шнурочках, когда-то оранжевые штиблеты теперь разбитые до гвоздей и замотанные бечевками. Нес в мешке медный паяльник да крохотную ячменную лепешку. Навязала ему жена детскую долю, — а то заслабнет.

Трудно и зябко было идти в ночь, на ветер, прохватывало до кости и душило, а дороги за двадцать верст, и всё — в гору. Но он подвигался твердо, отмеривал шаги счетом.

Чем выше взбирался он по белевшей извивами дороге, больше бледнели звезды, зеленело-яснело небо, ширилось и светлело море. Горы выходили из ночи и придвигались.

Прямо — дымный в рассвете Чатыр-Даг, великая каменная Гробница. Пустота — в глубине его. Слышно, когда кони стучат копытами. Знал ту гулкую пустоту Безрукий, — провалы в камне. Лежит в Гробнице каменный великан, вытянулся в-полнеба, сложил на груди руки. Четко виден на озаренном небе. Всё такой же. На голой груди его горели костры когда-то, дремали у ног отары. Страхом теперь от него тянуло, тоскою камня.

Правей — веселая Катерин-Гора. Всю дорогу будет она кружиться, показывать пышную грудь и гордую голову Царицы, с крутым челом, круглоликую, с пышными волосами, в диадеме. Всю дорогу будет она вертеться, мутить душу.

К морю — Хребты Судакские. Синевато белеют жестью. Один за одним, — Цепи.

На сумеречной, глухой дороге, перед неохватными горами, Безрукий почувствовал безнадежность. Даль какая!.. Не добраться. Камень, да пустота, да ветер. Человека не видно. Петухов по заре не слышно.

А день уже занимался.

Море начинало мерцать в тумане розовато-зеленым, рассветным, блеском. Стали оживать горы, играть тенями.

Любил горы Безрукий, но в это утро он уже ничего не видел. Одно видел: серую пыль дороги. Шагал и шагал на ветер, одно и одно думал: хватит ли сил до Сшибка. И всё казалось: длинней и круче стала проклятая дорога. А глаз привычно хватал знакомое, в долинах и по высотам, где потрескивали костры когда-то и шипели куски баранины, — в бойком вершинном ветре.

На шестой версте Безрукий остановился.

Шума...

По темным кручам пузырилась серым камнем, желтела глиной, лепилась гнездами Шума, татарская деревня. Несло от нее дымом, мучною гарью.

Пекут лепешки?.. жарят баранье сало?.. Есть еще в Шуме богатые татары.

Тихо было в деревне, — только водой играло в многоводной Шуме. Не слышно было бойкого торкатанья осенних мельниц, раннего скрипа дровяной мажары. Тоской безлюдья тянуло с пустой дороги. Кое-где только,

на плоских кровлях, маячили татары — на молитве. Тускло отблескивая зарей, пузато глазели в небо великие корчаги-печи. Ни одна не дымила, не курилась. Не пекли хлебы в многоводной Шуме.

Безрукий миновал притихшую в утре Шуму и сел у камня, у заколоченной кофейни, под орехом.

Знакомое было место: поили коней, бывало, и ели чебуреки...

Жестянка еще висела:

Кофейня Дюльбер Хаджи Мамут Асафа
Шашлыки
Чебуреки.

Трепало жестянку ветром.

Безрукий вспомнил, как был здесь совсем недавно, подымался на Перевал, к Сшибку, и не застал дома. Отдыхал и тогда у камня, под орехом, и вел беседу с почтенным хаджи Мамут Асафом, — про Сшибка и про пшеницу.

Или — не был?.. Или — во сне то было?..

Жаловался, будто, старый Мамут на Сшибка, повторял всё — «жадный, рука сухая!» Жаловался, как ходил покупать у Сшибка мешок пшеницы, отдал последние турецкие золотые, — кровь жизни. Жаловался еще, что отняли у него пшеницу на Перевале, — последнюю кровь жизни. Жаловался еще, что опять с берега приезжали, золота добивались, убивать грозились, последнее позабрали, что осталось: и пару коней, и персидские седла, и серебряные уздечки, и кукурузу. Сидел, погнувшись, на порожке пустой кофейни, и всё потирал у сердца. А с гор дуло.

— Шашлыки
Чебуреки... —

Увидал Безрукий на жестянке, — и ему вспомнился крепкий чесночный запах шипящих в бараньем сале чебуреков. Вспомнился до того ярко, что от голода замутило и пошло драть по кишкам когтями. Потемнело, позеленело в глазах от боли, — он пригнулся и затих у камня...

Уснули боли, — и он увидал желтую сень ореха, а на пороге пустой кофейни — почтенного Мамут Асафа.

Скучный, в сером халате, сидел Мамут, руку держал у сердца. Пожелтел и больше подсох Мамут. А видел его Безрукий совсем недавно...

— Селям алекюм, хаджи... — ворочая языком, как камнем, проговорил Безрукий и приложил руку к сердцу.

— Алекюм селям, — печально сказал Мамут. — Куда ноги твои глядят? Дорога — камень. Камень крепкие ноги любит, слабые не пускает...

— Не дойти, заслаб... — дремотно сказал Безрукий. — А надо. Никак нельзя не идти... дети...

Стал говорить Мамут, как совсем недавно, когда шел Безрукий на Перевал, к Сшибу, а Мамут сидел на пороге своей кофейни и потирал у сердца. А с гор дуло.

— Плохо, плохо. Скучает сердце. Незачем отпирать кофейни. Ни товару, ни проезжих. Добрые люди не ездят по дорогам. Пришли волки, грызут до сердца. Злая вся жизнь стала. Коней взяли, барашков взяли, седла в серебре взяли, последний мешок кукурузы взяли. Кровь жизни взяли. Хлеба нет — ничего нет. И в Шуме плохо. В бедных домах лежат камнем, в богатых не спят, боятся. И татары ворами стали. Скоро убивать будут. Скоро всем смерть будет.

От слов Мамута Безрукому стало страшно, и он заторопился.

— Никак нельзя не идти... дети. А то лежал бы.

Иду к Сшибку, на девятую казарму, на двадцать третью версту... Барашка обещал резать, требушинкой поделиться... Дал бы хоть трошки хлеба...

Поник головой Мамут, потер у сердца.

— Камень. Камень не дает хлеба. Сшибка все горы знают. Рука сухая. Знаю Сшибка, пшеницу запрятал в камни... Золото ему за хлеб носят. А чего ты несешь?..

— Несу...

И Безрукому стало стыдно.

Он пошарил в пустом мешке, вынул паяльник и стукнул клинком по камню.

— Вот, несу...

Покачал головой Мамут.

— Железо ему несешь. Золото ему носят!..

— Паяльник это... — уныло сказал Безрукий. — Орудие для хозяйства. Еще с Одессы, от древнего времени, когда паяли... Рубль серебром стоил, на пуд хлеба!..

— Железо ему несешь... — повторил Мамут. — Зерна́ не бросит, рука сухая. Черный он теперь ходит, ищет... всю пшеницу забрали у него из камня... всё забрали...

— Всё... забрали?! — в страхе вскричал Безрукий. — Кто тебе сказал, хаджи?

Отворотился Мамут, будто глядел на горы.

— Хаджи?!.

— Сам говорит... вон он!

К горам поглядел Безрукий. Пустые стояли горы. Не было нигде Сшибка.

Солнце вставало над Судакскими Цепями красно-

туманным шаром. Улегся ветер. Бурлыкала вода в камне. Дремалось под золотым орехом...

— Надо... надо идти... — через силу сказал Безрукий. — Что-то как кости ломит... А надо... дети...

Он потянулся сладко и привалился к камню...

Подошел к нему Сшибок, высокий, в высокой бараньей шапке, лицом черный, худощавый, жесткий. Повел жутко, по-лошадиному, белками.

— Давай паяльник!

Взял паяльник и крепко ударил в камень. Брызнули в глаза искры, раздался камень, а там — насыпано и насыпано пшеницы! Затрясся Безрукий, запустил руку по плечо в сыпучую пшеницу, закрутил — закрутил дотуга... Потекла пшеница промеж пальцев, — перловая, золотая...

Ушел Сшибок в кофейню, за Мамутом. Из темной кофейни полыхало горячим чадом...

Хотел Безрукий пойти за ними, толкнулся и ушиб голову о камень. Осмотрелся... —

Желтая сень ореха, за ней — синее, дневное небо. Не было на пороге Мамута. Закрыта была кофейня.

И не знал Безрукий: был ли Мамут и говорил ли, — или привиделся, как Сшибок и пшеница.

Солнце стояло высоко над морем, текло золотым потоком сквозь сень ореха, — струилось в камне, рябило в глазах от света. С Шумы тянуло густою гарью, будто пекли лепешки на бараньем сале или палили кости.

— По солнцу во-он бы теперь где быть! — оглянул Безрукий рыжие леса под Перевалом.

И поднялся.

Багряно-золотые чащи лесов под Чатыр-Дагом пылали на полном солнце. Сквозь дымку, дневная, солнечная, вся голая, нежилась сухим камнем веселая Катерин-Гора, еще не обернувшаяся царицей.

IV

Под высокой крутой скалой, рыжей на синем небе, в гуще кустов, к дороге, влажно шумел источник.

Знал Безрукий слова из золотых жилок на сером камне, — живые слова Корана. Спали слова на камне, и не вспомнил про них Безрукий. Припал к камню горячими губами. Пил сладко, долго...

И вдруг, увидал в ажине: серая курица... глядит красноватым глазом!

Он поднял камень...

Глядел из ажины камень. Краснел ягодою шиповник...

«В глазах рябится?» — оторопел Безрукий, приглядываясь к камню.

И его охватила слабость.

Он дотянулся рукой до камня: камень! И за ажиной — камень, стеной поднялся. Синело над нею небо.

Он присел у воды, подумал, — и съел лепешку. Сладко шумел источник...

В дреме шепнуло:

«А надо идти, надо...»

Не было сил подняться. Но он одолел слабость.

Ломило глаза яркой, сухой дорогой, — кололо солнцем. Кусты и камни манили прохладной тенью, но он подвигался, меряя шаги счетом. Все камни были похожи, все кочки щебня, поросшие колкой сушью, все серые

вешки телеграфа, на ржавых рельсах. Кусты дубняка и граба — все были рыжи, шершавы, сухи, — томили сушью.

Катились на гальке ноги.

Ржаным караваем лежал при дороге камень. Признал Безрукий: смотрели отсюда море! Великой синью дремало оно на дали. Но он не взглянул на море, а заглянул вперед, кверху.

Чатыр-Даг мягко светился лоском осенних пастбищ. Россыпью редких камней серели по ним отары. Струилось марью над рыжими лесами, дымилось ладоном у Гробницы. Вправо — веселая, золотая, на синем небе, нежно курилась в солнце рождавшаяся из камня Гора-Царица. Перед нею парили орлы тенями.

Все камни глядели мягко.

Безрукий тащился по жаркой пыли, валился на острый щебень, поросший сухим бурьяном. Звенело в сухом бурьяне. Лежал и глядел на море. Осело оно, катилось туманной далью, синело в ветре.

Глядел на берег...

Белелись внизу скорлупки. Вывелись, улетели птицы, — одни скорлупки.

Туманный берег...

— Куда девалось?!.

К горам поглядел Безрукий... Даль высота какая!..

— Не подняться...

Гора-Царица казала золотой гребень. Скоро, живая, взглянет. Вихры и щели, где когда-то жарились шашлыки, — пропали. Знал Безрукий извивы-петли, — много их будет по дороге! — и совсюду видна она, обманывающая близью. И за Перевалом — та же. Так же будет кружить-вертеться, манить и томить далью.

А люди — куда девались?

Одна дорога. Пустые петли. Ни единой букашки-точки. Ни постука. Ни звука.

Леса.

С провалов, с глубоких балок, из золотистой глыби, где дна не видно, — тянулись буки. Гладкие их стволы казались — из серебра литыми, звонко сияли солнцем. Сквозь золоченые их короны синью дымилось море, серо глазели камни.

На перекрестке лесных дорог тропы сбегали в балки. Безрукий взглянул на солнце: пошло за полдень. Дорога томила сушью: тропы манили тенью. Тропами ближе...

И он повернул на тропы.

Тропы терялись в балках, ползли на взгорья, вползали в чащи. Чащи душили мятой, взгорья горели камнем, томили жаждой.

Безрукий валился в балки, всползал на взгорья. Тропы опять сползали...

С гребня открылось море — едва синело, курилось дымкой, пустело далью...

На золотистом море широковерхих буков — на золотой порфире, Гора-Царица лежала грудью, — близко-близко. Знал Безрукий эту обманку камня. Великая до нее долина — провалы, леса, балки. Над ними орлы летают.

Помнилось: где-то вот тут — Ай-Балка, четыре версты до Перевала, а в ней — источник.

И он свернул поискать источник.

Опять и опять скатывался он в балки, всползал на взгорья, — не было нигде Ай-Балки.

Он взлез на высокий камень, откуда далеко видно. По рыжему дубняку синело. Полоска дыма?..

— Чабаны? — спросил он полоску дыма.

И понял, что там-то и есть Ай-Балка.

Он вспомнил глухую прорву, выбитую потоком в камне. Знали ее одни чабаны. Сюда он редко водил приезжих — смотреть «Три Камня». *Покоем* стояли камни. Шайтан поставил! — сказали ему чабаны.

«Чабаны... А где отара? Отары пасутся выше... а тут всё чаща...»

Не было силы думать. Вода в Ай-Балке!

Опять он спускался в балки. Терялась полоска дыма. Всползал на взгорья — синела полоска дыма. Дикий кизил, ажина, цапкое держи-дерево, все обитатели горных балок рвали его за платье, выхватывали заплатки. Корни, пеньки и камни, спавшие в сухих листьях, путались под ногами, били. В ушах стучало гремучим треском, будто пропавшие на зиму цикады опять явились. И молодые орлы, сорвавшиеся с Царицы, швыряли веселый клекот. Совсюду блестело — красным, зеленым, желтым, — последним осенним блеском, — ходило в глазах волнами.

Безрукий остановился... Горько запахло дымом?.. Ноздри его зашевелились. Тянуло горелым салом?..

Он лег на взгорье.

Прямо из-под него, с таившейся за кустами балки, тянуло густой гарью, — горелым мясом?..

— Чабаны... дадут кусочек... — принюхивался он к гари, — чабаны не откажут. Душу бы отвести — напиться... До Перевала теперь близко, а там и Сшибок...

Пугало его молчанье балки.

— Чабаны... а где ж овчарки?.. Овчарки должны бы чуять...

Безрукий дополз до гребня, вытянул за куст шею...

Через сквозившие сучья граба обрыв на той стороне кручью своей напомнил, что это и есть Ай-Балка.

— Чабаны?..

В глухой глубине Ай-Балки, «Медвежьей Щели», дымился костер у камня. Сидели двое, в бараньих шапках. Жарилось на огне баранье мясо, — сладко тянуло чадом.

Безрукий закрыл глаза... — баранье мясо!

— Уж не мерещится ли опять? — подумал.

Опять заглянул, — всё то же: курился костер у камня, пахло горелым мясом, сидели двое — в бараньих шапках.

Чабаны?..

— Не чабаны...

По одежде — то были не чабаны.

Не было бараньих курток, с серебряными застежками — гремками, круглыми и тяжелыми, как яйца, ни длинных, крюками, палок, — хватать баранов; ни цветастых рубах под кафтанами. Не лаяли чуткие овчарки. Не слышалось голосов отары.

В тревоге, смотрел Безрукий... Не знал, — окликнуть?..

— Бандиты?.. Теперь по горам их много...

Смотрел — боялся. Тревожно взглянул на солнце: ушло далеко за полдень.

Подумал: а что — бандиты! еще накормят...

От сытного дыма замутило, — и он, хоронясь за грабом, робея, крикнул:

— Братцы!..

Сидевшие у костра вскочили.

Высокий, в бараньей безрукавке, схватил винтовку.

Другой, с рукою на повязке, сверкнул кинжалом. Вытянув шеи, искали они по гребню балки...

— Чего-то берегутся? — думал Безрукий, в страхе.

— Кто там? — тревожно отозвалось из балки.

Окликнул высокий глухо и вскинул ружье — на гребень.

— Свой... — ответил из-за куста Безрукий. — Меня все татары знают!

И показал на пустой рукав:

— Вот, глядите...

Знали его хорошо под Чатыр-Дагом: красно-рыжий, как садовый кизил, безрукий.

— Сходи... твою мать!.. — крикнул, — виляя ружьем, татарин.

— Братцы!..

И Безрукий упал за грабом. Хлопнуло гулко снизу и раскатилось в балках. Срезанный сучок граба хлестнул по лицу с визгом.

— Сходи!..

— Братцы... не обидьте!.. — поднялся из-за кустов Безрукий.

— Сходи, собака!.. — крикнул другой татарин, грозя кинжалом.

Оба следили, как он валился кустами в балку. Сыпались за ним камни.

V

Сорвавшись с последнего уступа, Безрукий упал на гальку и, шатаясь, пошел к татарам. Высокий держал винтовку.

— Один? — спросил он с усмешкой.

— Один... безрукий...

— Чего тебе здесь дорога?!.

— Воды поискать свернул... Меня все татары знают.

— Куда идешь, шайтан?

— За хлебом, на девятую казарму... к Сшибку...

— К... Сшибку?!

— К нему...

— Йеййй! — словно завыл татарин, блеснув глазами. — К собаке?!

Другой подошел вплотную, пряча за спиной руку, — готовился что-то сделать. Безрукий поймал его нехороший взгляд и закрылся мешком от страха.

— Не обижайте... — взмолился он, стараясь поймать их взгляды; но взгляды были неуловимы.

Но он понял: без слов решали его судьбу татары. Решил высокий:

— Погоди, узнаем.

Другой отошел покорно.

— К Сшибку? — спросил высокий. — Идешь... к Сшибку?

— Голод погнал... за хлебом...

— Хлеб с ним, собака, делишь?.. — прыгнул к нему татарин, взмахнув кинжалом.

Безрукий метнулся по-собачьи, упал и завыл от страха. Панама его свалилась.

— Падаль! — пнул татарин ногой и поднял камень.

— Постой, узнаем! — опять удержал высокий.

Безрукий и не видал, что было.

Когда затихло, он поднял голову от земли, нашел и надел панаму. Страшное прошло мимо. Татары сидели у костра, курили. Шипело на углях мясо, дымок курился...

Безрукий потер глаза, — всё то же: камень, татары, мясо...

Крепкие были парни. Высокий, с красивым лицом татарина генуэзской крови, — знал различать Безрукий, — загоревший до черного блеска меди, вертел над углями шомпол с кусками мяса. Через всю его щеку и по шее тянулся кровавый шрам, присыпанный чем-то серым, — порохом ли, золою. На нем была синяя куртка под безрукавкой, синие штаны в обтяжку, щеголеватые сапоги желтой кожи, с хлыстом за голенищем, и барашковая шапочка джигита. На руке, в которой он держал шомпол, сиял широкий золотой перстень, с бирюзой в голубиное яичко.

Этот широкий перстень напомнил что-то, и лицо татарина показалось Безрукому знакомым. Но где он его видел — не мог припомнить. А где-то видел?..

Другой, кряжистый, широкоплечий, был настоящий монгол, скуластый и косоглазый, с размятым, ноздрястым носом. Лохматая папаха, серого барана, задвинутая за выбритое темя, лихо сидела на затылке. На нем были нанковые штаны, зеленая, солдатская, рубаха, подтянутая уздечкой, в серебряном наборе, обмотки и гор-

ские постолы из сыромятной кожи. Он сидел, привалившись к камню, и всё пожимал и гладил подвязанную руку: должно быть, сильно она у него болела.

Безрукий понял, с какими людьми столкнулся.

— Поранились, напоролись где-то...

Из-под куста, за камнем, выглядывали чьи-то ноги, босые, в раскрученных обмотках, и ерзали, как от боли. Слышалось, — будто, стонет? Безрукий увидал ерзавшие ноги, ясно услыхал стоны и понял, что это *ихний,* — больной или раненый товарищ.

— Бандиты, — подумал он, — берегутся чего-то в балке.

Татары сидели молча. Шипело на углях мясо. От острого его духа больше томила жажда.

— Попить бы... — с трудом выговорил Безрукий и сделал горлом, как-будто его душило.

— В море, поди, попей... — сказал скуластый, ощерив зубы, и поглядел по-волчьи.

Татарин с перстнем тоже показал зубы, усмехнулся, достал из куста бутылку, налил вина в жестянную кружку — и неторопливо выпил.

— Поднес бы, да самим мало! — подмигнул татарин — и кого-то опять напомнил. — Много ты вина попил, знаю...

«Татарин, а вино дует!» — подумал завистливо Безрукий и поглядел на татарина с мольбою.

— Братцы...

Татарин блеснул зубами, налил еще и понес за камень. Ноги быстро заерзали, словно от жгучей боли, и послышалось, как глотает.

Ноздри Безрукого зашевелились, глотку его схватило спазмой, и он опять сделал горлом.

Татарин вернулся из-за камня, взглянул с усмешкой, налил еще — и протянул монголу. Тот пригубил и выплеснул за камень.

— Попить, братцы... — робко сказал Безрукий и приложил руку к сердцу, как делают татары, — но татарин не захотел слушать.

— Что, Рыжая Обезьяна... — сказал он злобно, — всё еще по горам гуляешь? с приятелем-то всё дружишь?..

От его голоса у Безрукого зашлось сердце. Он понял, что татарин его знает; но кто он такой, — так и не мог вспомнить.

— Что у тебя в мешке? какие несешь подарки? Друзьями были! Молчи, знаю!..

— Никак нет... не были друзьями... — робея, сказал Безрукий. — Грабил он меня только... Спросите кого-угодно, горе злое к нему погнало... голод...

— За хлебом к нему идешь?

— За хлебом...

— А хлеб он сеял?!.

Безрукий смолчал; не понял: к чему это спрашивает татарин?

— Ты отвечай!.. Хлеб он... се-ял?!.

— Да нет... запасцы у него, сказывали, были...

— Ты всё знаешь... А знаешь, дорого ему хлеб-то достается? чем он за него платит?.. — через зубы сказал татарин. — Должно быть дорого! Золотом за пшеницу получает... Не знаешь?

— Не знаю.

Татары засмеялись, и от этого смеха Безрукому стало жутко. Он отмахнул головой, — да *верно* ли всё, что видит? — в испуге вспомнил, что там его ждут, у моря, поднялся и попросил робко:

— Дозвольте идти... братцы... Дети! с голоду погибают!..

— Нет, уж ты посиди немножко, потолкуем... еще обедать будем... — мотнул татарин на шомпол с мясом. — Пришел в гости — садись к обеду! Так бывало.

— Братцы... — начал, было, Безрукий — и поперхнулся спазмой.

— Погоди, всё будет. А ты, как же... с пустым мешком да к нему за хлебом? С пустыми руками только к друзьям ходят. Как же, не друзья вы? Или золото несешь, в мешке-то?.. Покажи, посмотрим... Ну?!. — поднял татарин шомпол.

— Вот... последнее ему несу... — сказал, застыдясь, Безрукий и вытряхнул из мешка паяльник.

— Мо-ло-ток!.. — крикнул джигит монголу.

И оба засмеялись.

— Паяльник... — сказал Безрукий, — орудие для хозяйства. Нет у меня ничего больше, всё проели...

Он сунул в мешок паяльник и заплакал. Высокий татарин усмехнулся:

— В голову молотком бить хочешь? Бей собаку!..

— Он и сам собака! — крикнул монгол. — На одну падаль ходят... Чего с ним думать?!

— А погоди, узнаем... Рыжий хорошо придумал, — в голову бить хочет! А знаешь где золото он хоронит? Друг всё говорит другу... А? не знаешь?..

— Разве у него узнаешь... — сказал Безрукий, стараясь свести разговор на шутку, но у него не вышло: губы разъехались, и он захныкал.

— Ревешь, баба? А хлеб когда делили... небось, смеялся?.. Ничего не знаешь? И золота сколько у него —

не знаешь? На нас хватит? Опять не знаешь!.. А ты спроси-ка? Или и тебе не скажет?..

— Он нипочем не скажет... Да я с ним разве?

— Я тебе дам совет. Говорить не станет, — немножко его за горло... Можешь?

Татары засмеялись.

— С ним мне трудно, с одной рукой... — сказал, подлаживаясь, Безрукий, и у него захрипело в глотке. — Попить дозвольте... братцы... голова мутится...

Татары не слыхали.

— Трудно! С молотком не трудно.

— Сами, небось, слыхали, какой... рука сухая...

— А ты — молотком в затылок! да постукай! Скажет, собака, где у него зарыто!..

— У него, говорил... дочки всё золото забрали... за море укатили...

— Дочки? В него, золото тоже любят... Небось, плачет? — засмеялся высокий, мигнул монголу. — А ты вот как... ты язык ему потяни, клещами!.. Ска-жет. А не скажет... — гвоздь загони в коленку, вот в это место... — показал татарин, — да не сразу! Скажет!! Вот, мы к нему скоро побываем... Так ты к нему... за пшеницей?

— Хоть ячменьку бы... Братцы!..

— Проси пшеницы, у него пшеницы много. Сколько ему на Перевале уродилось... собирал мешками! Сыпать некуда стало — в камни валит! Как же ему с приятелем не поделиться?

Взглянул татарин, — и у Безрукого упало сердце.

— Никакой я ему приятель.. кро-шки никогда так не дал! Голод к нему погнал... Не даст — подыхать придется...

— Подохнешь раньше! — сказал монгол.

Не понял его Безрукий.

— Детей жалко... всю душу истомили...

Свет заволокло мутью, откачнуло, и Безрукому показалось, — дрогнула, будто, бурая кручь оврага и пошла на него стеною, а с неба скатилось солнце. Он вскрикнул и поднял руку — укрыться, что ли. Было это — одно мгновенье. Огненным шаром, швыряя пламя, солнце вскочило в небо, легло на рога граба; стала на место стена оврага. Синело дымком у камня. Каких-то двое, сидели в шапках...

Смотрел — и не понимал Безрукий: сон ли, явь ли?

Татары пошептались. Монгол кривился, поглаживая руку, — не соглашался с чем-то, махал кинжалом.

— После. Есть будем... — сказал высокий, снимая с углей шомпол.

Что-то соображая, он оглянул по гребню и тихо сказал монголу:

— Проводишь его из балки... после. А то... не найдет дороги.

И лицо его стало жестким.

Безрукий и не слыхал, что было. Валила его слабость, томила жажда. Он прилег на горячей гальке, глядел на огонь дремотно. Казалось ему, что он в дороге: яркие звезды в небе, хлещутся кипарисы в свисте, валит его с ног ветром; темные стоят горы, тянет от них горелым салом...

— Собака!.. Собака идет по следу!.. Надо! — крикнул монгол, споря опят о чем-то.

Безрукий от крика вздрогнул, открыл глаза, увидал — над костром струится, услыхал мясо, — узнал Ай-Балку. Солнце лежало на самом гребне, плющилось в рогах граба. Чернела под ним круча. Идет время...

— Братцы... идти надо... — жалобно попросил Безрукий. — Водицы найду, дозвольте... С самого утра во рту ни крошки...

Татары не слыхали.

VI

Высокий достал чурек, разломил надвое и дал монголу. Срезал с шомпола шашлыки.

Монгол забрал на кинжал и понес за камень. Ноги опять заерзали.

Потом, татары принялись есть сами.

Безрукий жадно смотрел, как они смачно жевали мясо, закусывали чуреком, похрустывали сладким луком; как монгол ловко управлялся, одной рукой, шлепал дымящиеся куски ладонью, лязгал клинком по камню и кидал в рот с кинжала.

Смотрел на них по-собачьи. Рот его налился слюною.

— Ты по-нашему понимаешь, знаю... — почмокивая, сказал, высокий.

— Понимаю. Сколько с татарами жил.. бывало, водил приезжих, показывал пещеры...

— Татар обманывали, знаю!

— Нет, от меня татары доход имели... гостем принимали. Безрукого-Рыжего все горы знали. Спросите хоть в Шуме, у почтенного Мамут Асафа... Друзьями были...

— Врешь, собака!.. — вскричал монгол. — Хаджи Мамут!

— Молчи! — оборвал джигит, налил вина и понес за камень.

И опять Безрукому показалось, что где-то его он видел.

Татары кончили есть и закурили. Солнце зашло за гребень, балку покрыло тенью.

— Идти мне надо!.. — опять попросил Безрукий. — Братцы!..

Татары не слыхали.

— Душа горит, попить отыщу... дозвольте!..

— Пойдешь к Сшибку? — спросил джигит.

— Некуда мне больше... помираем...

— Трудно тебе из Ай-Балки выйти! — сказал монгол. — Шайтан не пустит. Идем вместе!..

Он вытер кинжал о шапку и сунул в ножны.

В страхе, смотрел на него Безрукий: сузил монгол глаза, — поблескивало из них беловатой искрой.

Высокий татарин отвернулся, глядел за камень.

— Айда! — крикнул монгол, вставая.

У Безрукого похолодели ноги. Он с мольбой поглядел на джигита, — джигит не видел.

— Вставай, говорю! — кричал — торопил монгол, — до Перевала тебе не близко... далёко живет Сшибок!

— Попить дозвольте!.. — отчаянно закричал Безрукий, — сам отыщу... родничок я знаю!..

— Родник высох, — сказал монгол, — *там* сладкая тебе вода будет... досыта пить будешь!.. Вставай, живо!

— Погоди... — удержал высокий и подмигнул монголу. — Верно, родник высох. Вина не хочешь?..

— Дайте! — крикнул Безрукий и заплакал.

Он ткнулся в гальку, бился в нее лицом, крутился.

— Барашка хочет!.. — засмеялся монгол, встряхивая его за плечи. — Барашка... хочешь?..

Безрукий взглянул, не понимая... — снится?

— Барашка хочешь? — спросил высокий и показал пустой шомпол. — Гостя-то и забыли!.. — А чурека... хочешь?..

И показал кусок белого чурека.

Безрукий вытянул к огню шею...

— Дайте! — крикнул он не по-человечьи, приложил руку к сердцу и поклонился.

Голова закружилась, он качнулся и повалился навзничь.

Татары засмеялись.

— Надо ему... в дорогу! — мигнул высокий.

Он пошарил и швырнул Безрукому кость с оставшимся на ней мясом.

— Грызи, собака!

Кость попала Безрукому в колени. Он жадно схватил ее, обнюхал, сдул приставший песок и мусор и стал обдирать зубами. Зубы у него были плохи и шатались, но тут окрепли. Он рвал жилы, давился и взглядывал по-собачьи, исподлобья. Татары смотрели на него с усмешкой, но он не видел. Он быстро оглодал кость, выгрыз хрящи и серую труху мослака и высосал костяное масло.

— И собачьему куску рад... — сказал он, обсасывая пальцы. — Кошек ели, — и тех не стало. Сразу всего решились... Ни правды, ни закона... Страшную жизнь узнали... Чего же теперь-то будет?.. Хуже зверя стали...

— И будем звери! — сказал татарин. — Вот, и будем! по своему закону! своим правом!.. Ну?! — крикнул он, вспомнив что-то, — идешь... к Сшибку?!

— Дозвольте сказать... На берегу меня встретил... требует, — достань мне новые брюки, на родину уеду...

— На родину уедет?! Так и сказал — на родину уеду?!..

Татары переглянулись что-то.

— Уеду... И говорит... последнего барашка для прощанья буду резать... хочу с тобой требушинкой поменяться... Чтобы доставал я брюки... Вот и пошел я к нему... мучки, думаю, выменяю... А Мамут Асафов мне... поразил... говорит нынче... всю пшеницу у него из камней забрали, будто... черный весь теперь ходит...

— Черный ходит?.. — повторил татарин. — Мамут Асафов?!. Говорил тебе... Мамут Асафов?!. Когда говорил тебе Мамут Асафов?.. — быстро спросил татарин.

— Да на заре сегодня... в Шуме видел... у самой его кофейни, под орехом?..

— Врешь, кривая душа!.. — крикнул монгол, выхватывая кинжал. — Умер хаджи, тихий ветер его душе!..

— Как, умер?! — оторопел Безрукий. — Нет... не умер... я его на заре видел... у самой его кофейни, в Шуме?

— Не мог ты видеть! — крикнул — вскочил высокий.

— Нет, видел... у самой его кофейни видел... — растерянно повторял Безрукий. — Говорил с Мамутом! Нет... не умер... Своими глазами видел!..

— А, собака! — вскричал монгол, тряхнул головой по-бычьи, схватил кинжал и бешенно пырнул в землю.

— Почтенный хаджи Мамут от горя умер... — благоговейно сказал джигит, смотря мимо глаз Безрукого.

И вдруг, — побледнел до пепла, схватил винтовку...

— Твои!.. проклятые его убили!.. Псы ваши!

Безрукий смотрел в обезумевшее лицо джигита —

ждал смерти. Винтовка медленно поднялась, ходила... чиркнула кверху, — лопнуло сухо, с визгом...

— Постойте!.. — вскрикнул Безрукий, стараясь схватить винтовку. — Не убили! видел!!.. Не убивайте!.. видел!..

— Не мог ты видеть! Почтенный Мамут умер!..

— Видел! Живой Мамут! Сам говорил мне сегодня... коней у него взяли!

— То раньше было! А после... последнее на Перевале взяли, бандиты ваши!..

Джигит опустил винтовку.

— Когда ты видел почтенного Мамута? Говори правду... или — пуля!..

И будто — страхом прошло по его лицу, тревогой.

— Вот, как перед Богом... Аллах видит... — давясь от страха, проговорил Безрукий. — Нынче, на заре видел! У самой кофейни... сидели, говорили?..

Словно спрашивая себя, говорил Безрукий, и с каждым словом уверенность его слабела.

— ...Полный уж день был... под его орехом... ясно видел...

— Ты... ясно видел?.. — впивался в глаза татарин, — ясно видел!?..

— Да... как тебя вижу... ясно видел?!.. — растерянно повторил Безрукий.

И вспомнил, что и Сшибка видел, и пшеницу... и серую курицу в ажине?

Да что же он *верно* видел?

Всполошный крик из-за камня вспугнул тишину Ай-Балки. Татары оглянулись. Крик перелился в стоны. Джигит поглядел за камень. Стихло...

Безрукий смотрел, как бились-крутились ноги.

А это — *верно*?..

Смотрел на татарина, на камень, на кручу балки. Исподлобья глядел на него монгол, сонно дымились угли.

А это — *верно*?..

Безрукий потер глаза, — лежала на глазах сетка.

Или во сне — всё это?

Опять стоял перед ним джигит, опять говорил тревожно:

— Ты... видел?!.

— Я тебя... вижу? — сбрасывая сонливость, слабость, спросил Безрукий странно глядевшего на него джигита. — Как... живого видел... Сидел на порожке, у кофейни... руку всё прижимал, к сердцу... Совсем живого... — как во сне бормотал Безрукий.

— Руку прижимал... к сердцу?!. — крикнул джигит, пугая.

Безрукого оглушило криком.

— Господи! Я же тебя... вижу? Ясно видел... руку держал, всё потирал у сердца... жаловался, что болит сердце...

— Болит сердце? — издалека, будто, — сказал татарин. — А ты... почему ты знаешь... про сердце?!.. Прижимал руку?.. Две недели, как хаджи умер... Лжешь ты! — крикнул татарин исступленно, — ты его не мог видеть!..

— Видел... — прошептал Безрукий, ощупывая камни. — Мамут умер?.. Что же это... душа его мне явилась?

Плыли на глаза пятна, сливались, накрывали. Безрукий быстро потер глаза... — всё то же: балка, дымок, татары...

— Душа... явилась?! — всматриваясь в кого-то, тихо сказал татарин, и лицо его стало мягким. — Тебе... явилась?!

— Собаку слушай! — крикнул монгол, — айда!..

— Сиди!.. — крикнул ему татарин. — Ты... видел?!. — схватил он Безрукого за плечи, — как ты видел?.. Говори правду, нужно! Тебе нужно!.. *Как* ты видел?..

И он опустился рядом, скрестил ноги.

— Не трону тебя... скажи правду... видел?..

— Да я же... самую правду... видел!.. — во сне говорил Безрукий. — Как же ты говоришь... Мамут умер?

— Сейчас говори... видел?!..

Татари вскочил и опять побледнел до пепла.

— Не мог ты видеть!..

— Я тебе говорю! — крикнул — вскочил монгол, — на Перевал ему надо!.. Оба они собаки!.. Идем!..

— За...чем?! — закричал, вне себя, Безрукий. — Зачем неправду!.. Я почитал хаджи, святого человека... такого по горам не знаю... Справедливый хаджи!.. На самой заре, у кофейни видел!.. говорили! Да что же это... душа его мне явилась?

— Как с тобой говорил хаджи? какой был хаджи?..

И Безрукий сказал, как видел Мамута под орехом и о чем говорил с Мамутом.

— Как вот... живого видел!.. Постарел только шибко и похудал... и скучный...

— Скучный? — тревожно спросил татарин.

— Скорбный... — повторил Безрукий и увидал: голову преклонил татарин.

Почтенный хаджи от черного горя помер... — тихо сказал монгол и тоже преклонил голову. — Черное горе сердце его убило...

Татары сидели молча, преклонив головы. В глухой тишине Ай-Балки явственно отдавались стоны, тянулись из-за камня; да в угасавшем костре потрескивали угли.

— Всех убило... — сказал Безрукий.

— Молчи, падаль! — крикнул монгол, взрываясь. — Святой был хаджи... а ты — собака!..

Безрукий поник и поглядел на джигита. Лицо джигита угасло, потемнело, между бровями легла морщина, — и тут-то Безрукий вспомнил, на кого был похож татарин: на старого Мамута! И перстень Мамута вспомнил, с памятной бирюзой в яичко, и взгляд Мамута, и его усмешку. И понял, что Усеин это сын Мамута.

Знал его Безрукий еще мальчишкой, у отца в кофейне, брал его при конях в горы. Но это в давнее время было. Столько всего случилось! Ушел Усеин в солдаты, изменился. Был татарчонок, худой и рваный, — вырос теперь в джигита, — не узнаешь.

Признал Безрукий. Но что-то ему сказало, что узнавать не надо.

— Идешь к Сшибку... — нарушил молчание татарин, будто на свои мысли.

— Некуда мне больше... Чую, не даст он хлеба...

— Не даст хлеба? — усмехнулся нехорошо татарин. — Чуешь?.. Ну... даст мяса!

— Обещал... требушинкой поделиться...

— Требушинкой? А требушинки не даст?

— Не знаю... — растерянно поглядел Безрукий.

— Тогда... вытряхивай из него! вот, молотком-то! Бери за горло!..

— Закон не дозволяет...

— Бей! — бешено закричал татарин, ожег глазами. — Теперь никакого нет закона! Хлеба нет — закона нет, бей!..

— Йейй! — вскрикнул дико монгол и провел по кинжалу пальцем. — Айда, на Перевал тебе надо!..

От его вскрика и от того, как провел монгол по кинжалу пальцем, Безрукого пронизало дрожью. Он с мольбой кинулся к джигиту, но джигит оттолкнул и погрозил монголу:

— Без тебя выйдет!

Монгол вздернул плечами, осмотрелся...

— Собака идет по следу!.. убей собаку!.. — яростно закричал монгол и погрозил на море. — Из одной стаи падаль!..

Джигит думал.

— Знаю! — сказал он властно. — Сиди, знаю.

— И я знаю! — крикнул монгол, сжимая больную руку, и сел у камня.

Безрукий понял глаза монгола. Мысли его мутились. Он закрыл рукою глаза и попросил чуть слышно:

— Не мучьте... водицы дайте...

Джигит думал.

— На заре сегодня... ты говорил с Мамутом?

— Говорил...

— И хаджи сказал... — не даст *тот* хлеба? с усмешкой спросил татарин. — Так и сказал, — камень?!..

— Сказал... камень не даст хлеба...

— Камень?!.. И еще сказал?

— Да, камень. А еще... что сказал? Да... черный ходит, пшеницу у него всю...

— Так и сказал.. — черный?!..

— Так и сказал...

— И — всю пшеницу?

— Всё забрали...

— Святой хаджи!.. Помни! Святой хаджи!..

И лицо джигита посветлело.

Он взял из куста бутылку, отбил шомполом горло и налил в кружку.

— Пей. Святой хаджи!

Безрукий подполз к огню, — как и на пикниках когда-то, — и, расплескивая, взял кружку. Он хотел сказать что-то, но — с жадностью, залпом, выпил — и задохнулся.

— Пей! — налил еще татарин.

Безрукий выпил и закрутил головой, от наслажденья.

— Пей — и помни! Святой хаджи!.. — вылил ему последнее татарин.

Глядел на Безрукого монгол от камня, узил глаза, поглаживал — давил руку... Но Безрукий его не видел. Он ничего не видел. Рот его растянулся, глаза блуждали.

— Иди!.. — крикнул к горам татарин.

Безрукий сидел — не слышал. Вино унесло тревогу, связало ноги. Вино бодрило. Балку налило солнцем. Хотелось сидеть на людях. Хоть и ругались, а ничего — жалеют. Раньше в солдатах были, теперь — бандиты... Теперь уж и все — другие! Свои, из Шумы... Что-нибудь и еще уделят.

— Покурить бы, братцы?

Но он ошибся.

Прыгнул к нему монгол и яро швырнул на землю. Безрукий видел, как рука сунулась за пояс, — и закрылся мешком от смерти... Высокий не дал: он пнул Безрукого сапогом и крикнул:

— Беги, падаль!..

Безрукий метнулся через кусты, не чуя за собой криков. С крутого откоса он сорвался и побежал вверх, по балке. Балка сходилась щелью, стены ее срывались. Он побежал по щели. Путались в ногах камни, намытый водою хворост. Узкая щель давила, кусты хлестались, цепляли, рвали. Щель, наконец, сомкнулась, вывернулась тропинкой. Тропинка юлила в чаще...

Безрукий и не заметил, как провалилась за ним Ай-Балка. Одно в нем билось — бежать и бежать надо. Он прорывался чащей, не разбирая, куда приведет тропинка, вскочил в забитое голышами русло спавшего до зимы потока, споткнулся, упал на камни... Как-будто кричали сзади?

Он послушал: трещало в чаще? Страх погнал его дальше. Он поднялся с сыпучей гальки и явственно услыхал топот. Кусты рванулись, и на краю потока появился с ружьем татарин. Связало ноги, — и Безрукий остался на коленях.

— Стой! — крикнул татарин, целясь.

Безрукий стоял и ожидал удара. Путались в глазах пятна — плескавшееся за кустами солнце, желтые сапоги джигита... Они мелькнули, хряпнули голышами, побежали, остановились, вдавились в гальку...

— Ты! — запаленно крикнул, замахиваясь ружьем, татарин, — помни!.. слово скажешь, что видел... живым зарою!..

— Что ты... Усеин... что ты... — забормотал Безрукий, немея от его взгляда.

— Убью! — зубами крикнул татарин и замахнулся камнем.

Безрукий ткнулся. Тяжелый камень стукнул по голышам, рядом.

— Валялся бы в балке... падаль! — услыхал Безрукий запаленный голос. — Ради отца только... помни!..

Ноги захряпали по гальке.

Когда затихло, Безрукий осмотрелся. Пусто, плещется за кустами солнце.

Было?

Он схватился — и побежал по гремучей гальке. По каменному потоку длинно синели тени. Солнце тонуло за кустами. Застрявший в потоке пень корнями загородил дорогу, Безрукий ткнулся — и выбрался на откос, пугаясь рухавшего за ним камня.

VII

Скоро он вышел опять на тропы.

Вровень встала золотистая Катерин-Гора, снизу и по щелям уже охваченная тенью. Леса пылали теперь внизу. Влево — отступала громада Чатыр-Дага. Край Великой Гробницы затягивало мутью. Россыпью синих камней лежали под ней отары.

В зарослях дубняка и граба Безрукий приостановился, осмотрелся. Катерин-Гора показывала ему дорогу — на серые зубья Перевала. Когтями они висели на синем небе. Под ними леса желтели.

Он взял прямиком, на зубья, по дубняку и грабу.

Падали опять балки, вздымались взгорья, над ними вспыхивал там и там золотистый гребень Горы-Царицы, за серые камни крылся. Да где-ж дорога?..

Лежал на пути великий камень, серым горбом вздыбался, — оброс дубняком и грабом, лежал в золотой постели. Безрукий припомнил камень: на пикники ездили, бывало, — Плевок-Камень. Сплюнул его Чатыр-Даг Великий, побил отару хвастливого чабана: «моя отара весь Чатыр-Даг покроет!» Побил на глазах чабанов. Смеялись приезжие чабанской сказке, а старый чабан Бекир — нет мудрее его по Чатыр-Дагу! — не смеялся: на его глазах было.

И верно: даже ученые признали. Камень скатился сюда с Гробницы, вломился в чащу. Бешеный ход его всё еще был заметен: протер по горам широкую дорогу.

Безрукий взлез на высокий камень — осмотрелся. Признал крутую дугу дороги, голую площадку Перевала и погнувшийся черный дуб, вытянувший на полдень побитую ветрами верхушку.

Это был Перевальный Дуб, — заветный, давний.

— Добрался!.. — с облегчением вздохнул Безрукий и лег на камне.

В голове мешалось.

Его давно мучили кошмары, сливались с явью. *Верное* — что же было? Он ощупал мешок, паяльник... Вспомнил, что идет к Сшибку, на девятую казарму, на двадцать третью версту, за требушинкой, за хлебом... Когда же из дому вышел? Вчера? сегодня?.. Не мог припомнить. Стал соображать время... — давно вышел! И ночь шел, и день — всё шел. Ярко горели звезды, темные были горы, и дул ветер. Потом... — всё солнце?.. Помнилась тихая деревня, на рассвете, Шума... Сидел под орехом, у кофейни, и говорил с Мамутом... А говорили, будто, что Мамут давно помер? Или — во сне всё было?.. Помнилось, что сидел у костра, в Ай-Балке, и косоглазый, страшный, провел по кинжалу пальцем... Или — во сне всё было? Бежал по щели?

Он еще чувствовал вкус вина, истомой томились ноги. Вспомнились желтые сапоги джигита и страшный голос:

— «Валялся бы в балке, падаль!..»

Всё вспомнил ярко. И понял, что ушел от смерти.

— Бандиты были... На Перевале грабят... Побоялись, что выдам... знаю... Живут в Шуме...

Стало страшно, — и он перестал думать.

— В горах еще хорошо живут... И хлеб, и барашка, и вино пьют... А — *там?*

Он посмотрел через леса, книзу.

Там — было мутно, сине, — как облака. Он дремотно глядел в туманно-сизую пустоту, где море мешалось с небом. И казалось ему: *там* — сны. Другая земля, не эта: — *тот свет*. Вспомнил, что там ждут дети, за этой мутью, — и сжалось тоскою сердце. И вдруг блеснуло: *туда* уже нет дороги...

И он перестал думать.

— Надо идти... — всполохнулся он, — солнце над Аю-Дагом, часа четыре...

К дороге он вышел на самом Перевале.

В него хлынуло свежим, перевальным, ветром. Всегда они здесь гуляли, — степной, и — с моря.

На каменисто-голом, бесплодном месте стоял кривой перевальный дуб, побиваемый ветрами, заветный, давний. Редкие его сучья вытянуло на полдень и придавило, и сумерками казалось, что он, пригнувшись, бежит отсюда, закинув в ветер исхлестанные космы.

Здесь проходили степные орды...

За окаменевшие сучья дуба и ржавые гвозди-крючья, вбитые невесть кем, веками привязывали коней, веками раскладывали костры, — и уходили, оставив по себе память — с подножия принесенный камень. Тысячи их лежали на черном поле, — дымные камни походного огнища, омываемые дождями, заласканные ветром, — всё нужные.

Ветер не позволял задерживаться здесь долго: к морю ли, в степь ли, куда-нибудь, — только не оставайся.

Безрукий не задержался.

Он сторонкой обошел дуб, место недавних веселых станов, оглядывая с жутью задымленные камни и головешки, раскиданные ветром. В этом черном кругу огнищ нашли недавно старого печника Семена Турка, убитого камнем в голову. Страхом тянуло с гари, давило душу...

У сгоревшей шоссейной будки, зиявшей пробоинами оконниц, на вершине, Безрукий приостановился: потянуло взглянуть на море.

Солнце уже прошло над морем и стояло теперь над Аю-Дагом, Медведь-Горою. Пригнулся Медведь на лапах — попить в море. Пил он, наставил ухо. Рыжая Кастель лежала под ним муравьиной кучкой, а темный, дó-неба, Бабуган тянулся за ним горбами, дремуче-дремучим лесом, откуда Медведь спустился.

Безрукий видел, что скоро начнет смеркаться, — дойти солнцу до Бабугана. Пятнышко полумесяца снежно белело над Судакскими Цепями, к морю.

Спешить надо...

Дорога побежала книзу. Вечерняя Катерин-Гора близко горела медью. Розовая была на ней корона — высоким гребнем, округлые щеки ее пылали, голая грудь и шея дышали тенью. Над золотившимися вечерними лесами дремотно глядела она в долины.

Безрукий ее не видел. Вертелась под ним дорога, бежала винтами книзу, в золотисто-прозрачной тени осенних буков.

Глушью глядела безлюдная дорога. Совались в нее ущелья, валились в прорву, вползали в горы. Клыками, зубьями лезли камни. Серые звери лежали за кустами — спали, — тугие бока, крутые спины. Каменными стадами стояли в сквозивших чащах. На острых горбах их, на грузных ногах, столбами, — жидко играло солнце. Пятнами, полосами, струились — бежали камни, грозили на заворотах, сверху, высокой стеной вздыбались. В прорывах — вдруг открывалось небо, пустело бездонной далью.

Башней выступил на дорогу камень.

Знакомое было место. В пологой балке — с дороги видно — лежала седая глыба. Выласкало ее дождями, и

стала она похожа на могильный камень. Под глыбой бурлил источник.

Булькала вода звоном, кипела шумом. Эти живые звуки дошли до сердца, кинули в дни прогулок...

...Истомленные зноем кони сами бежали в балки, брызгали по воде, играли. В свежей тени орешин шумело веселым станом...

Безрукий напился в балке. Будто совсем недавно водил он сюда приезжих: осталась в кустах бумага, сияла в воде жестянка.

Глыба была всё та же — могильный камень, с намазанными крестами — в память троих убитых.

Дорога пошла провалом, в высоких стенах камня. Черный мост мертво висел в ущельи: перебегала дорогу балка, — вправо, к подножию Царицы, влево — в долины, глушью.

Издалёка узнал Безрукий черные, в глубине, перила, черняво-золотые буки. Тянуло сырою глушью. Здесь проезжали молча. Прислушивались: шумит водою...

В это сухое лето не шумело.

Он узнал черные перила, вспомнил: трое где-то висят на буках, голые, черные, а кто — не знали.

Он тревожно спускался к мосту, прислушиваясь к шагам в ущельи, приглядываясь к букам. Темные, тихие, тянулись они из глыби, несли золоченые короны. Уронят, — только сорваться ветру.

Одни золотые листья...

И вдруг — увидел: висят на деревьях... тряпки?..

Тяжело висели. Затаивая шаги, он подошел ближе, увидал в тряпках ноги, темные головы, склонившиеся к дороге, разглядывающие на ней что-то...

Он пробежал под ними, поднялся в гору... *Они* ви-

сели, один за одним, как тряпки, в черняво-золотых буках.

И тут же забыл, за поворотом.

В прорыве падающих лесов открылся весь Бабуган на дали. Солнце катилось к его вершинам, леса по хребтам горели.

В сторону отошла глухая мажарная дорога, мигнуло над чащей камнем...

— «Торчок»! — увидал Безрукий.

Высокая глыба на опушке... Когда-то катали сюда на тройках, ночевали в казарме Сшибка...

В редевших буках белела стена казармы, чернело черепицей. Боковое окно, к закату, пылало солнцем.

— Добрался... — вздохнул Безрукий, завидя пылавшее окошко.

И сразу затяжелели ноги. А ну, не застанет Сшибка?

В сквозившем лесу высокоствольных буков было до глуши тихо и золотисто-светло в этот осенний вечер. С глубоких балок тянуло усохшей мятой, прохладой, прелью. С нагретого за день камня струилось сухим жаром. Золотце на кустах сквозило.

Слева открылась луговина.

Облетевшие тополя стояли высокими столбами. Острые их верхушки пылали солнцем — над низкой белой казармой, с черными крестовинами окошек, над почерневшей крышей. На прибитой сухой куртине жидковато желтели мальвы, радостно-яркие, жаркие когда-то в забытое уже время, когда хлопотали здесь хохотушки-дочки и дарили их веселым гостям на память. Не слышно было Волкана, чуткой и злой овчарки, издалёка встречавшей лаем.

— Неужто опять ушел? — подумал встревоженно Безрукий, всматриваясь в тихую казарму.

Черная дверь казармы была приоткрыта щелью, пестрой стайкой стояли перед нею куры.

— Застал, дома!..

И Безрукий повернул к казарме.

VIII

— Берегется, заколотил окошки... — подумал он, подходя к казарме. — Один живет, в такой жути!..

Окна, — от двери по два, — были забраны изнутри досками.

Куры пугливо побежали за казарму.

— А курей держит, кормов-то еще имеет... — обрадовался Безрукий курам: не так всё плохо! — Волкан опять как бы? — поостерегся он, выглядывая овчарку: прошлый раз насилу отмахался.

Дверь была приоткрыта щелью. Старые постолы валялись на плоском камне.

— Его обувка... — признал огромные постолы Безрукий.

Он не решился войти в казарму, а вежливо постучался гостем.

Не было на стук ответа.

Он повыждал, глядя на тополя, послушал, — тихо. И опросил через щель, негромко:

— Дома, что ли... хозяин?!

В пустой казарме отзвякнуло горошком.

— Не за нуждой ли вышел...

Он потоптался у двери, постучал ноготком по скобке, выжидая...

— Главное дело, нет Волкана?

Зная Сшибка, он постеснялся войти в казарму, — в такое время: подумает чего Сшибок!

— Не за водой ли вышел... родничок тут неподалеку?..

Он раздумчиво погремел щеколдой, послушал и отошел к дороге.

— Да как же это?..

Поглядел туда и сюда, послушал...

В настороживщейся тишине не было ни звука слышно. В высоком ущельи, за дорогой, тянувшем в горы, бесшумно полз по кустам огненный блеск заката, вползал на камни. Далекими медными стенами громоздились они к подножию Царицы.

— Да куда его унесло, чорта? — с досадой сказал Безрукий, смотря, как тянулись в ущелье тени, а терявшие солнце камни начинали синеть и меркнуть.

Холодом потягивало с ущелья, осенней ночью. Застукало четко-четко, отбило по камню молоточком. Это чеканка, птичка, выбивала вечерний час. Выстукала свое — и смолкла.

Тревожно стало: вот уж и ночь подходит. И он повернул к казарме.

Она синела, глядела строже, черными пятнами окошек. Желтые мальвы гасли.

— Смеркается... — сильней затревожился Безрукий и посмотрел на небо.

Над головой небо голубело мягко, к закату зелено золотилось, но за ущельем, за серым камнем, синело по-ночному, густо. Над меркнувшими коронами черных буков облачный полумесяц начинал наливаться светом.

— Светлая ночь будет... — подумал Безрукий, соображая, что месяц теперь над морем. — До полночи светло будет.

Он подошел к двери, поглядел в черную полоску щели, но войти всё же не решился: и раньше не доверялся Сшибок, а в такое время... Еще рассердишь.

Шорохом побежало сверху, испугало... Упавший с тополя лист крутился-шуршал по крыше.

— Листа пугаюсь! — с сердцем сказал Безрукий и подумал: да не пьян ли Сшибок?

Это за ним водилось.

— Уснул у себя в закутке — и не чует?

Он приотворил дверь пошире, просунул голову в темноту и крикнул:

— Эй... Григорий?!

Не было опять ответа.

С сумеречного света в казарме было до черноты мутно. Чуть мерцало из бокового оконца, сверху.

Безрукий взглянул направо, где за перегородкой была теплушка, — стрельнуло в него зелеными глазами. Он метнулся и хлопнул дверью, словно его швырнуло из казармы.

— Проклятая... напугала!..

Он понял, что это кошка, — но страх остался.

Придерживая дверь за скобку, он глядел на темневшее ущелье.

Серые камни верха тонули в мути. Понизу, в глубине, чернело. Не было ни звука слышно: ни журчанья воды из балки, ни постука мажары, за версты слышной по вечерней заре в горах в такую сухую осень. Чуялась в тишине тревога. Давила жутью эта необычная тишина, беззвучная пустота, — тугая глухота камня. Ее и звери боятся — воют. Не любят и дикие чабаны: зачуяв ее, начинают травить собак.

— Жуть... — прошептал Безрукий, озираясь, — что-то и курей не видно?.. А были будто...

И не знал Безрукий, — не померещилось ли ему, как утром.

— Целую стайку видел? Покликать разве?..

Он покликал — и испугался звука. Пропали куры.

— Как же быть-то? — спросил он смутные тополя глазами.

Чутко стояли они на светлом небе, прислушивались как-будто, собрав свои ветви к ночи.

— Не спит ли уж на задворках?..

Пугаясь шагов, он стал обходить казарму.

Боковое окошко, к Перевалу, не пылало, а лишь тускло светилось отблесками садившегося за Бабуганом солнца.

На задворках чернел колючей горою хворост. Отблескивая зарю, торчал топор на обрубке, лежала грудка дровишек-суши, будто только что бросили работу. На закопченных камнях огнища чернел котелок с водою, — плавал на ней листочек. Брошены на сушняк черная рубаха и портянки, стиранные, в морщинках. Видно по всему было, что Сшибок наскоро отлучился: в такое время не бросят добра на воле.

Безрукий напился из котелка, пощупал под золой землю, — давно погасло. Заботливо осмотрел рубаху... — добротная, ни заплатки, ластик; на муку если, — фунтов восемь. Приметил — под сушняком белеет! Нашел коробку из-под печенья, с веселых времен осталась... Разобрал на крышке, на обрывке —

«Чайное печенье»

(Смесь)

— синие буквы, веселым вавилоном, в винограде, а кругом пляшут штучки, румяные, бугорками, как живые! Осмотрелся по сторонам и поднял крышку... Чудесное пшено было, золотое, — такого теперь не сыщешь. Втя-

нул губами... Рассыпчатое, как сахар. И отсыпал в карман немножко.

— Кулешик на ужин варить будет... не откажет...

Подумал ждал его Сшибок на Кузьму-Демьяна...

— Не за пшеницей ли пошел в камни, для промена?.. Запасов теперь дома никто не держит. Должен сейчас вернуться, тёмно...

Про обещанные брюки он не раз за дорогу думал — и надумал бандиты на Перевале отобрали!

Он представил, как будет плакать, рассказывать про татар-бандитов, как убивать хотели, — и вспомнил жуткие глаза Сшибка.

— Не поверит, не даст пшеницы...

Показалось, будто собака лает?.. Он долго слушал. Не было ни звука слышно.

— В балке, может, чего заслышал... побег с Волканом?..

Думая о тяжелой встрече и о кулеше с салом, он присел на хворост, лицом к закату, и, пожевывая пшено, стал дожидаться Сшибка.

Здесь было веселее, чем — к дороге.

С задворков падал глубокий спуск, под ногами темнел дубняк, тускло светились камни, балки, дальше, валились одна за одной в долину. На светлой дали чернел Бабуган горбами, лесистый, мягкий. Багрово пылало за ним небо, сулило на завтра ветер. Глубокая, на версты, долина затягивалась мглою. Но еще видны были рыжие купы поросли, светлые ряды нив, темнели шашками виноградники, белели разводами дороги, крапинками яснели дачки. Светлая плавала мгла в долине, яснел и яснел месяц, ложились тени.

Меркнущая долина и строгий, мохнатый Бабуган

тревожили близкой ночью. Слева, из-за округлых лесных вершин, выглядывал камень Чатыр-Дага, в медно-лиловом блеске невидного заката, теплый. Скоро блеск сполз, потух, — и камень сразу похолодал, стал синим.

— Ну, как же быть-то? — спросил Безрукий потухший камень.

Фыркнул — испугал ежик, темным клубком покатился в хворост. Сидеть стало неспокойно, и Безрукий пошел к казарме.

На краю обрыва темнел сарайчик.

— Не там ли куры?

Он заглянул в сарайчик, увидал на полке шампанские бутылки, пузатые, смоляные... — вспомнил, как инженер путейский учил откупоривать их Ганку...

Не было ни дверки, ни насестов. Это его смутило.

— Да где же куры?.. Здесь бы должны вертеться, пора садиться. Целую стайку видел?

Он оглянул задворки, рогатый хворост, чернеющий котелок, пустынный, — и стало еще тревожней. Быстро темнело, накрывало.

Он пошел задней стеной казармы, глухим бурьяном. Одиноко смотрело окошко на задворки, — закуток Сшибка, где спали когда-то дочки. И оно было забрано досками.

Шурша бурьяном, Безрукий добрался до окошка и пригляделся в щели. Так, мутилось...

— Была тут у них печка... пампушки пекли девчонки, вареники гостям крутили? Она, печка... И самый его самовар ведерный... к печке?.. Еще и самовар всё держит! Надежду имеет, значит... А строго берегется, и тут заколотился!.. — присматривался Безрукий к белевшей печке. — Продухи только вверху оставил. Живет тут, в жути!

Он обошел казарму и опять вышел на дорогу.

Пустая была дорога, темнела к ночи. Он долго стоял, всё слушал. Ни шороха, ни звука. Поглядел туда и сюда, — пустая. Оглянул казарму. Строже показалась она ему, синей и синей к ночи, с черными крестовинами окошек, под черным горбом крыши. Высокие тополя закутывались тенями, жались.

— Чего на дороге стоять, пойду прилягу... — решался войти Безрукий, — за что же ему браниться? устал человек с дороги... Все же люди!

Он решительно повернул к казарме и вдруг — запнулся... Пугливой стайкой бежали от двери куры.

— Да... откуда они, чорт.. ку-ры?!

Он ясно видел: черные, как одна, бежали за казарму куры. Как мыши, тихо.

— Куры?..

Он захотел проверить. Пошел, дошел до угла — и забоялся. Кусты за углом темнели.

— Откуда же они взялись?.. Не было на задворках... — подумал растерянно Безрукий. — Мерещится мне, что ли?

Два раза видел... И стало легче, когда придумал: конечно, куры, тогда убежали за казарму, а как пошел на задворки, вернулись к двери...

— В хате курей держит, вот и трутся...

Но он не вошел в казарму, а сел у двери, на камень. Широкий был камень плоский, совсем как жернов. Знакомый камень. Самовар раздувал Сшибок на этом камне. Нож, бывало, точил здесь Сшибок, когда заказывали господа барашка... И всегда сидела картинкой которая-нибудь из дочек, в расшитой цветной сорочке, в лентах, в звонких монистах-бусах, и вертко бежала в хату, завидя, что едут гости.

— Как же всё хорошо было!.. — вспоминал, пожевывая пшено, Безрукий. — И всё-то как сном пропало...

Культура была какая, у всякого человека капиталы... И астрономы были! И медицина... и всякие товары, сколько хочешь... И все доходы получали, все с сахаром чай пили... А хлеба! Собаки не поедали!! Белый, рыхлый... пятак, ситный?.. Последний самый, дармоед последний сало лопал! Нищие хлебом торговали... сам покупал, свиньям... Господи, да как же могло случиться? На горы иду... голый... за кусочком... И ни души единой...

В голове Безрукого замутилось, и он встряхнулся. Не сон ли снится?.. Зажгло в затылке, буравчиком засверлило, и побежали искры. Он встряхнулся, потер затылок... Дети!

И стало ясно, что это не сон снится, что ждут его погибающие дети, а он еще всё в дороге. Когда же из дому вышел?

Горели звезды...

Он поглядел на небо. Начинали проклевываться звезды. На тех же местах, те же. Всегда были.

Поглядеть на камни. Камни гуще темнели за дорогой. Стал вспоминать дорогу. Одни камни...

Хлыстами чернели мальвы-рожи. Желтые на них пятна побелели. За Перевалом, вправо, месяц наливался ночным сиянием.

— Вот уж и ночь.. — в тоске прошептал Безрукий.

Посвежело. Со степи, снизу холодом напирало, тугим, без ветра. Дальнее, над степями, небо казалось в туче.

Кто это? — в страхе спросил Безрукий, заслышав шорох.

Клубком покатилось на дорогу. Ежик?.. Черный клубок приостановился, хрюкнул, черкнул дугою и потонул в ущелье. Безрукий слушал, как зашуршали листья, — тяжелое там возилось, громыхало. Или в ушах шумело? В темном ущелье мерцали тени, начинали ползти к дороге.

Окликнул кто-то?..

— Кто там? — тихо спросил Безрукий.

Как-будто, топнул? Показалось, — кто-то остановился, топнул... Кто-то за казармой ходит?

Безрукий насторожился... Сшибок? И понял, что бьется сердце. Нет, крадется? За углом крадется... Он тихо поднялся с камня, слыша, как поползли мурашки. Крутится листок по черепице, упал на камень.

— Лучше войду в казарму... — решил Безрукий и поглядел к ущелью.

Он уже нашарил скобку, как вдруг, сорвавшийся где-то камень с грохотом выкатился к дороге.

Безрукий вскочил в казарму и хлопнул дверью.

IX

Шипеньем прыснуло из-под ног, сверкнуло зеленой искрой.

Безрукий вскрикнул — и вспомнил, что это кошка. Она метнулась к окну, на доски, повисла и сорвалась когтями. Вспыхнули из угла холодные огоньки, мелькнули и погасли.

— Проклятая!

Безрукий топнул и замахнулся в угол. Мелькнуло к перегородке тенью. Пугала жутью невидимая кошка.

Скоро он пригляделся. Признал заднюю глухую стену, белесую перегородку, за ней — мутный на потолке отсвет, от заднего окошка. В это окошко он и смотрел с задворков, в теплушку Сшибка, где спали когда-то дочки. Сквозь щели досок-ставен и незабранные доверху окошки сумерки плыли мутью. Белелась закрытая дверь теплушки.

— Запер?!

Он увидал ясно — черный замок на двери. Его смутило...

— Ушел Сшибок?..

Он всё еще прижимался к двери, словно боясь, что в нее толкнутся. Теперь уже не казарма его пугала, а темневшая дорога, тревожная мгла ущелья, чуткая тишина камня, — то, незнакомое никому, но чуемое всеми, что таится в молчании глухого места. В пустой казарме была всё же живая тварь, кошка, которая и сама боялась. Она затаивалась в углах, прокрадывалась по стенке тенью, мерцала зелеными глазами, сторожила.

Темнела у задней стены скамейка, куча разваленной печурки. Дымовая труба свесилась с потолка глаголем. Было ясно, что Сшибок казарму бросил и перешел жить в теплушку. Только стол остался на своем прежнем месте, под окошком.

Безрукий глядел на стол... Лежала калабушка хлеба?

— Хлеб?!.

У него задрожали ноги, он метнулся — и вспомнил Сшибка. Но темная калабушка всё закрыла. Он нащупал щеколду и задвинул, схватил чудесную калабушку, но она выскользнула из пальцев и стукнулась о кирпич пола.

— Ка-мень! — вскрикнул с отчаянием Безрукий.

Он потолкал ногою, — камень! Это был, похожий на калабушку, голышь-камень.

У него ослабели ноги, и острая боль схватила его когтями, как на дороге, утром. Он повалился на стол и замер. Но и сквозь боль помнилось ему что-то, смутно... Было на столе что-то? Он поднял голову, пригляделся — и увидал бутылку.

«А это... *верно*?..

Он потянул руку, осторожно... Схватил бутылку. Не верил руке: бутылка!? Бутылка, и в ней тяжело плескалось, чудесным вином пахло... густым и крепким.

Он жадно глотнул, уже ничего не помня. Вино было сладкое, густое, — полная почти бутылка. Сразу утихли боли, ушла тревога.

— А, всё равно подохну!..

Еще и еще выпил.

— И вино у него, и курей водит... и по дорогам грабит! Пшеница в камнях запрятана, мешками... Кто у него забрать может?..

Вино бодрило. Под ногу попала табуретка. Он поднял, но она упала, — было всего две ножки. Он присел на стол, взглянул на бутылку и еще выпил.

— Ну, ругайся!.. — сам с собой рассуждал Безрукий, — мне теперь ничего не страшно! Люди с голоду подыхают, а у него и аликанте, и барашка... За хлеб теперь любую душу купит! Как себя самоуверил, ничего не боится... пошел с дому, вино такое зазря покинул... Сейчас вернется, ну... скажу... ну, голову сыми, помирал от своей болезни...

Путалось в голове, — сон ли, явь ли?.. Слова подбирались сами, сыпались с языка, как спьяну. Мелькало, — что-то такое надо сделать, про Сшибка что-то, что-то про дверь нужно...

— Так и скажу: «сколько тебе от меня перепадало? ты меня приглашал в гости, на Кузьму-Демьяна... полез к тебе через горы... ограбили на Перевале...»

Стало совсем спокойно: приглашал в гости, значит — муки уделит!

— Не может же насмеяться! Полез человек на горы... едва на ногах мотаюсь! А... Семен Турка?!. Я ему намекну деликатно, поймет, чего я знаю... А сколько я ему пользы всегда делал! Инженер путейский, которому Ганку сватал.. с первого слова ему три красных, и за каждый приезд особо... Прямо — сыпал! И еще мыловарный заводчик, всё лето с Маруськой занимался. Гостей рекомендовал самых ку-льтурных! Обязан и пуд отсыпать...

И ему показалось, что сейчас должен воротиться Сшибок, и нужно отнять щеколду. Вспомнилось темное лицо Сшибка, как трет зубами и как плечом поводит, а говорит — кулаками тычет, — и ему опять стало беспокойно.

— Не даст без променки Сшибок!

Шатаясь, пошел он к двери, чтобы отложить щеколду, — метнулось у стены тенью, резнуло искрой.

Кошка!

А он и забыл про кошку.

Зеленые глаза мерцали, гасли. Он вгляделся: у переборки жмется, черное пятно на мути. Следили за ним две искры, тревожно мерцали, ждали...

В жути, он замахнулся, топнул... Кашка метнулась тенью, швырнулась на окошко и опять сорвалась когтями.

— А-ты, проклять!

Искры сверкнули к переборке, опять следили. Безрукий схватил камень. Они погасли, метнулись за печуркой. Он бешено бросил камнем. Они пропали, мигнули, — сторожили...

Не помня себя, он крикнул и бросился на искры. Ноги его скользнули... Его пронизало искрой, остановило жутью. Он вгляделся... Что-то у ног чернело. Он нагнулся, потрогал пальцем, — липкое что-то, как замазка... Его передернуло с отвращения и жути: пахло несвежей кровью. И вдруг, он понял, почему здесь вертелась кошка...

Он старался оттереть палец, тер его о кирпич пола и с жутью глядел на лужу.

— Зачем лужа?

И вспомнил:

— Хотел на Кузьму-Демьяна барана резать!.. Здесь и резал, чтобы не увидали люди...

И ему стало ясно, зачем на столе камень: солил барана, а камень для гнетки нужен: и почему ушел Сшибок к ночи: понес прятать кадушку в камни, — теперь всё прячут; и почему не видать Волкана: нажрался требушины, дрыхнет.

Он вспомнил, что надо отнять щеколду, пошел и остановился, замер... За дверью кто-то... шуршит по листьям?

— Ветер?

Ветер, сорвался с Перевала.

К ночи всегда поднимался ветер, менялся с денным — с моря.

Ветер валил с ущелья.

Тополя зашумели, запели щели. В черной трубе, глаголем, гудело, тарахтело. Тряхнуло дверью, задребезжало в окна, застучало, пошло холодом по казарме. Застукало по крыше черепицей.

Ветер ломился в двери, гремел щеколдой, — через казарму стремил в долину. Накатывало гулом — леса по горам шумели.

Безрукий слушал, как завывают щели и дребезжат окошки.

— На Перевале теперь захватит!

Студеный был ветер, зимний, похолодало сразу.

— Отпирать не надо... — решил Безрукий, прислушиваясь к ветру, — настежь расхлебестит, не удержишь...

Жуть на него напала. Прежде он не боялся ночи, не раз ночевал по балкам, а теперь боялся. Не людей боялся, а неизвестного, жути своей боялся.

Так и стоял у двери, прислушивался, как шумят тополя над крышей. Ступить боялся.

— Да чего ж это неидет-то?..

В казарме, как-будто, посветлело. Стало хорошо видно, как качается на стене черная труба — глаголем. И развалившуюся печурку стало видно. И черный замок на переборке... И на потолке отсвет?

Безрукий взглянул на незабранный верх окошка — к Перевалу, и по светлому небу понял, что это месяц светит, — стоит, пожалуй, теперь над морем, к Аю-Дагу, — и времени теперь — часов восемь.

Он подошел к окошку у самой двери и пригляделся в щели.

Яснела на месяце дорога — бело. В зеленоватой дымке вставало за ней ущелье, смутно над ним, на дали, темнели камни. Всё в ущелье струилось, волновалось, хлестались тени, мерцало, серебрилось. Листья несло через дорогу, на казарму, мышиные стаи мчались. Черные мальвы хлестали землю. Всё за окном бесилось, трепалось, мчало, чертило небо...

Смотреть было беспокойно.

Он перешел к двери и стал напряженно слушать. Показалось, будто собака лает?

Он долго слушал, выслушивая шумы. Камни в горах стучали? леса валились? Долбило по казарме, в стены, трясло казарму. На миг стихало, и только шипели листья.

— Не идет-то что же?

Щелями дымились окна. Через верх бокового окошка, к Перевалу, месяц светил полоской. Стало видно в углу — горбатое корыто, мотыги, доски. У задней стены что-то чернело кучкой.

Безрукий подошел ближе, тронул ногой — и понял, что кирпичи выбраны из пола... Чернела ямка. Он сунул руку, пошарил в ямке... — гладкое место, как в печурке.

— Тайник?!

Его пронизало искрой...

— Золото свое прятал!?

Он перешарил в ямке, излазил вокруг печурки... — пусто. Вспомнил, как соль покупал Сшибок, как обещал требушинкой поделиться, звал к Кузьму-Демьяну, играл глазами... Вспомнил, как говорил Сшибок — на родину уеду!.. И его охватил ужас.

— Насмех?.. Забрал капиталы и казарму бросил... велел заходить, насмех?! Нарочно и про бутылку?..

Он растерянно оглянул казарму, увидал кошачьи глаза...

— А... кровь-то?

Поглядел на дверь перегородки, подошел ближе... Побежали по спине мурашки, толкнуло в сердце... Он пригляделся к двери, тронул замок — и понял, что не заперта теплушка, что замок висит на одном пробое...

Он шатнулся, но дверь тянула. Он тихо приоткрыл дверь и остановился на пороге. Его толкнуло, и он сунул голову в темноту, зная, что здесь Сшибок...

X

Здесь был Сшибок.

Чернело на полу закутка, и Безрукий признал по росту, что черное и есть Сшибок. И только признал — спокойно принял, словно это было давно известно.

— Го-тов, Григорий...

Через незабранный верх окошка косая полоска света лежала на белой печке. Кудлатая голова чернелась, резко белели ноги.

— Го-тов... — повторил Безрукий, смотря на ноги.

Вышел и притворил теплушку.

Но только вышел — толкнуло его сзади. Он побежал к двери, опять услыхал ветер, увидал дымные щели в окнах...

— Бежать надо?

Шумы опять проснулись, трясли казарму. Камни в горах стучали, леса валились, хлестало в окна.

Он вспомнил про дорогу, о Перевале вспомнил...

— Ничего не добуду детям!..

И вдруг открылось, что ждать никого не нужно, что теперь всё его в казарме...

— Пшеницу надо!

И только вспомнил, что теперь всё его в казарме, — увидал кошачьи глаза и метнулся к двери. Но только отвел щеколду — швырнуло его и задушило ветром, облило светом. Он навалился на дверь, захлопнул и заложил щеколдой. Под небом было еще страшнее.

Зимний ветер летел со степи, бился о Чатыр-Даг, крутился. Швырял его Чатыр-Даг комнями. Рухался он в долины, крутил лесами, — новый, летел со степи. Знал Безрукий этот ноябрьский ветер: один никогда не ходит — нагонит тучи; на Перевале застудит стужей, накроет снегом. И жуть напала: не Перевала теперь боялся, а неизвестного, страха теперь боялся.

— *С ним* придется... Пшеницу надо... перегожу до утра.

Про бутылку вспомнил. Некого теперь бояться...

Вино его подбодрило.

Вспомнил, что пшено на задворках, рубаха, куры... самовар ведерный! Всё забирать можно.

Но теплушка мешала думать.

— Позвал в гости! На Кузьму-Демьяна...

То, что за дверью — Сшибок, мешало думать. Притягивал его Сшибок: хотелось лицо увидеть.

Он подошел к теплушке и послушал... Как-будто утих ветер, возится за перегородкой что-то?

Он напряженно слушал... Блеснули из темноты искры, — и он убежал в теплушку.

У Сшибка казалось ему спокойней. Он даже притворил дверку: жутко было в пустой казарме, где сторожили искры.

Черное, длинное — манило. Он нагнулся и стал выглядывать лицо Сшибка. *Теперь* — какое?.. Разглядывал он жадно. Узнал шершавую голову, а лица всё не видел. Пригляделся, — и у него зажгло под волосами, прошло морозом... Темное пятно было, торчало изо рта, — тряпка?.. Хотелось глаза увидеть... И он увидел. Мутно смотрели они шарами. Выкатившимися белками смотрел на него Сшибок.

Безрукий отвел глаза, узнал изодранную рубаху, за-

литую будто дегтем, — почувствовал, что стоит в липком чем-то... Он отскочил, оттопал, — и всё высматривал, где же руки? Руки были подсунуты под спину. Ноги? Нашел и ноги. Запутаны веревкой. Одна согнулась и выставила колено: чернелось оно на печке.

Безрукого затошнило, когда он увидал колено. В глазах мутилось... Гвоздь был забит в колено!.. Так непонятно было: гвоздь — в колено! Он встряхнулся, чтобы прогнать виденье, — оно осталось: гвоздь был забит в колено. Он вытянул руку и потрогал, — туго.

Всё в нем окаменело.

Он только что знал, что нужно: надо забрать пшеницу, на задворках забрать рубаху... Но увидал колено — и позабыл, что нужно.

— *Они* это! — вспомнил он про татар в Ай-Балке.

Вспомнил, что надо что-то?

— Закрыть надо!

Он увидал, что сенник свесился с кровати, и принялся натаскивать его на Сшибка. С одной рукой было неспособно, но он таки натащил на Сшибка.

Не стало видно.

— Что, Григорий... вот и самого убили! — сказал он тихо.

И заторопился — вспомнил: надо забрать, что можно!

Он перебежал в казарму, схватил бутылку...

Стало легче, — и он услыхал ветер. В двери ломились, — пугало, что придти могут.

— Пшеницу надо!..

Он побежал в теплушку, перескочил через Сшибка, к печке, и начал шарить.

— Самовар... ведерный!.. Забрать надо... за пуд пшеницы...

Он швырнул самовар на Сшибка. Задел на шестке миску, — борщом запахло... Он выхлебал остатки. Нашарил жестянку с солью, пучок луку, кошолку с кукурузой...

— Да где ж пшеница?!

Он полез на скамейку, чтобы обшарить полки, но оступился и упал на Сшибка. Вскочил и кинулся из теплушки.

— Пшеница... где пшеница? Проклятые... всё забрали... Что, Гришка? — закричал он к теплушке, уже не слыша ветра, — убили!? И людям не досталось!.. Так и погниет всё в камне!..

Вспомнил опять татар в Ай-Балке, как жарили барана.

— И барашка взяли!?..

Он расшвырял из угла мотыги, швырнул корыто, — пустые бутылки оказались...

— Вино у него было?!

Вспомнил, что держал Сшибок вино в подполье. А где подполье? Помнилось, что в закутке. Пошел в теплушку, завернул по дороге в угол. Валялись доски... Темнело за досками...

— Кадушка? Солил барашка!

Из кадушки остро воняло салом, на дне плескалось...

— И барашка взяли!..

Он нашаривал рукой в рассоле, поймал отонку, цедил рассол через пальцы, вылавливал кусочки...

— Проклятые, всё забрали!..

Трясло его лихорадкой, выстукивали дробь зубы.

— Да где ж пшеница?..

Он бегал по казарме, не слыша ветра, натыкался на рассыпанную печку, стукался в дощатую перегородку, словно его швыряло.

— Пшено, куры... — бегали за ним мысли, — скорей забирать надо, сейчас захватят... И самовар ведерный...

Он побежал к двери, но что-то его остановило...

— А где пшеница?..

И вдруг — увидал пшеницу! Текла она по ногам волною, ядреная, золотая, — шелестела. И он утонул в потоке...

...Идут!.. — крикнул над головой голос.

Он очнулся и опять услыхал ветер. Огляделся...

— Убили Сшибка?

И опять заметался по казарме. Схватил мешок со стола, вытряхнул из мешка паяльник, — и позабыл что надо?

Стоял, раздумывая, а ноги бежали к двери.

— Соль надо... самовар ведерный...

Он разыскал отонку и кусочки, сунул в мешок и вспомнил, — что-то еще взять надо? Побежал в теплушку, принес лук, соль и кукурузу...

— Под хворостом всё обшарить... прятал! Кур не найти, в кустах посели... светать будет, на пшено подманить надо!

Его уже не держали ноги. Он выпил вина — и вспомнил:

— Было у *него* вино в подполье!

Он опять побежал в теплушку, по стуку нашел подполье.

— А, проклятый!..

Как раз на твориле лежал Сшибок.

— И тут не даешь! — пнул он ногою Сшибка, — Ста-щим!

Он упал на пол, уперся ногами в Сшибка, спиной в перегородку. Не шевельнулся Сшибок.

Мелькнуло — тело, нельзя так с телом!..

— Стервó... колода!.. — сказало ему другое, — сволочи те дознали... бросили, убежали... всё дознали!.. подыхать швырнули!

Он бешено пинал Сшибка. Не Сшибка, а тех, далеких, которые всё дознали.

— Гуляли, убежали... Подыхай, собака!..

Не подавался Сшибок.

— Чем бы *его?* — старался понять Безрукий, чем бы отвалить Сшибка. — Чорт... улегся... И мертвый, а замучил... а-а, колода!

И вдруг ему осветило, что в подполье-то и лежит пшеница. И понял, чем отвалить колоду.

Он побежал в казарму и разыскал мотыгу.

— Теперь подашься!..

Он всунул мотыгу под *колоду,* сам подлез под мотыгу, напружил спину... Вывернулась из руки мотыга, и он опрокинулся на Сшибка.

— Не даешь, проклятый!

Он задвинул мотыгу глубже, подсунул под нее коленку, плечом уперся — и передвинул Сшибка. Колодой перевалился Сшибок.

И только теперь разобрал Безрукий, что месяц заглядывает через верх окошка, лежит полосой на печке. Он посмотрел на месяц, — и этот месяц в глубоком небе сказал ему светом что-то. Он поглядел на Сшибка, вспомнил его, живого, и стал креститься...

— Прости, Григорий... Господь видит...

Черным затылком кверху лежал Сшибок, сучил вздутые кулаки, крест-накрест. Яснели они на светлой печке.

Вздутые кулаки, налитые черной кровью, были страшны. Безрукий закрыл кулаки матрасом и стал поднимать творило. Но не за что было ухватиться.

— И кольцо вынул, чтобы неприметно...

Ясно было, что здесь и лежит пшеница.

Он старался зацепить ногтями, но творило забухло, и только срывались ногти.

— За топором надо, на задворки?

И увидал мотыгу. Стал защеплять мотыгой. С одной рукой было неспособно, мотыга не давалась. Наконец, защепил и поднял. Из черной дыры подполья понесло теплой гнилью.

Вгляделся — черно, ничего не видно. По краям ощупал, — и лесенки не оказалось.

— Огня надо...

Он пошарил в печурке спичек. Не было давно спичек, надо высекать кресалом. Не было ни камня, ни кресала.

— В кармане у *него* нет-ли?

Он поглядел на Сшибка — и не решился. Лег на брюхо, спустил мотыгу, стал шарить по подполью. Переболтал всё подполье — пусто.

— И тут забрали!..

Он перещупал всё дно подполья, зацепил за что-то и вытащил рваный войлок.

Не было и тут пшеницы!

— Под хворостом... на задворках?

И ему показалось, что стучатся? Он долго слушал...

— Опять... в окошко? Ветер?..

Ломился ветер.

Безрукий закрыл творило.

— Бежать... захватят...

И услыхал сквозь ветер — мяучит кошка? Он и забыл про кошку. Опять охватило жутью.

— Как же теперь... что надо?

Полоска лунного света передвинулась с печки на пол. Черные кулаки опять сучились.

Он выбежал из теплушки.

— Что же надо?..

Щелями дымились окна. По казарме носилось с воем, трогало за лицо, кружило. Черная труба качалась, скрежетала.

Стукнуло позади, скрипнуло с тонким писком...

Безрукий оглянулся и окаменел на месте.

Дверь теплушки приотворилась, запищала... стукнулась — и опять стала отворяться. В ее просвете мреяло что-то, шевелилось, — и вот, кудлатая голова Сшибка высунулась в казарму...

— Ты?! Григорий!.. — в ужасе закричал Безрукий.

Видение помутнело. Теплушка открылась настежь, и на белесой печке выступил черный угол.

— Коленка! — узнал Безрукий.

Он покрестился и закрестил теплушку. Стало легче. И только теперь он понял, что дверь отворяло ветром. Пошел и старательно притворил покрепче.

— На задворки лучше пойду, в сарайчик... пересижу до света.

Он пошел за мешком, оглядываясь на дверь теплушки. Как-будто опять возилось, цапалось по стене, потряхивало дверью...

— Ветер?

Он неотрывно смотрел к теплушке. Постукивало дверье. Кто-то за ней возился...

— Сшибок...

Замреяло в глазах мерцаньем, вспыхнули снизу искры, — и Безрукий понял, что это кошка цапается у двери, что она *туда* рвется...

Он топнул и замахнулся в жути:

— У, ты... — по-гань!

Зеленые огоньки пропали, мелькнули за печуркой. Он кинулся к печурке, упал на разваленную груду и больно зашиб коленку.

— Убью, дьявол!..

И бросил кирпичом в искры. Кошка бешено заметалась, заурчала. Плясали ее глаза и гасли...

Безрукий схватил со стола паяльник, пригляделся — где кошка? Она таилась, но ее глаза сказали: опять у двери!

— У, проклять!..

Он подкрался к перегородке и изо всей силы швырнул паяльник. Звякнуло в доски с дребезгом и оглушило визгом. Тень побежала за корыто. Он увидал по тени, что подшиб ноги, нашел паяльник и стал подкрадываться к корыту. Кошка учуяла и заурчала злобно. Он подползал, затаивался и слушал. Она урчала протяжно, хрипло. Он швырнул кирпичом, послушал... — кошка таилась за корытом. Он подполз ближе, занес паяльник — и по удару понял, что попал удачно: молчала кошка. Он бросился к корыту и вскрикнул от страшной боли. Кошка вцепилась в руку. Он выдрал ее из-за корыта, ударил об пол и придавил ногою. Но она и под ногой вертелась, замерла на руке когтями. Он сорвал кошачьи глаза с руки и продолжал бить железом... Наконец, понял, что кошка лежит неподвижно, и отбросил ее ногой, как тряпку.

Сразу ему стало легче, словно убил свой ужас.

XI

Придя в себя, Безрукий опять услыхал ветер, — и опять поднялась тревога.

Он подошел к окошку и пригляделся в щели.

Черными столбами, до дороги, шатались тополя — тени, хлыстами хлестались мальвы. В дымном ущельи возились — мерцали камни, черно чертили по небу буки. Как сбитые птичьи стаи, кружились над ними листья.

— На Перевале теперь захватит!.. Кто теперь придти может?..

И решил подождать рассвета.

Он допил вино, доел оставшееся пшено и бараньи крошки, — и стало валить дремотой.

— На столе лягу, лучше слышно...

В теплушке опять возилось, постукивало дверью. Ветром?.. Он вздрагивал, сваливал с себя давивший камень... Стук, показавшийся ему громом, свалил камень, он поглядел к теплушке: дверь отворило настежь, — и в ней мерцало.

— Не даст покою...

Он поднялся и запер на замок Сшибка. Стало легче.

Подумал: как бы не захватили, — за ветром и не услышишь?..

Чтобы лучше слушать, он переволок от стены скамейку и поставил у самой двери. В дверь сильно дуло. Он повесил мешок на скобку, лег на скамейку и стал слушать...

Ветер, ветер...

Дрематься стало, думалось — как убивали Сшибка...

...Пришли, должно быть, утром, — ночью не допустил бы. Застали на задворках, за работой. Знакомые татары... пришли покупать пшеницу. Солнце уже стояло, рубаху сушить кинул... Пошли толковать в казарму, вина поставил... Тут-то и оглушили камнем...

Он представил себе, как бешено отбивался Сшибок. Вспомнил подвязанную руку у монгола, кровавый шрам Усеина, ерзавшие за камнем ноги.

...Не давался, бился. Печку разворотили... Табуреткой бился... Убивать сразу не хотели, дознавались. Про золото добивались, про пшеницу. В коленку забивали...

Глаза слипались, но он не сводил глаз с теплушки. Мреянием в глазах мерцало, тянулось по потолку, в мути...

И вот, кудлатая голова гукнула раз о стенку и затрясла казарму... Полезла выше, под потолок, выставилась и легла на стенке... Выкатившимися мутными белками Сшибок смотрел в казарму...

Безрукий вскочил, вгляделся...

Ветер?.. Ходил по казарме ветер. Белелось на потолке мутно, потряхивало дверью...

— Не даст покою... лучше уйду в сарайчик...

Долго ему мерцало.

Путанные сны кружили. С кем-то сидел в кофейне, красное вино пили, лили... По темным чердакам лазил, кромсал сало... Сучил кулаками Сшибок, с татарами ругался... А надо было спешить куда-то, да потерялась шляпа... А кони за дверью пляшут...

«Скорей, Рыжий!» — торопил голос Сшибка...

Стукнул под ухом выстрел?..

Безрукий вскочил на лавке...

Где он?.. Мутно дымились щели, по крыше топотали...

Он понял, что это ветер, узнал на потолке отсвет, белевшую перегородку, — и вспомнил, что он у Сшибка...

Донесло ветром выстрел?

И только подумал, что это по крыше, ветром... — отчетливо стукнул выстрел.

— Стреляют? От Перевала, будто...

Выстрел?

— Чабаны, может... Или... на кого напали?..

Он долго слушал...

Не доносило больше. Только дверь рвало со щеколды.

— Или... дверью?

Сильней бухало за стенами, — встряхивало коврами. Тополя не шумели, — выли. Визжало по казарме, дребезжало...

— Буря...

Он понял, что ветер перешел в бурю.

— На Перевале теперь творится! Кто теперь стрелять будет? Показалось...

И только прилег, — послышалось: будто, скачет?

Четко несло, от Перевала. Стихло. И опять чокот, ближе...

— Сюда скачет?! От Перевала... — оторопел Безрукий. — Камнем глушит, на заворотах...

Отчетливо стало слышно: карьером гонит, часто секут подковы.

Безрукий вскочил, прильнул к окошку...

Белела на месяце дорога, хлестались мальвы. Чокот несся от Перевала, справа.

И только успел подумать — а ведь это по *нем* стре-

ляли! — как из-за камня на завороте вылетел черный конь, занесся передними ногами, черным столбом взметнулся — и помчал на хлысты, к казарме.

Безрукий присел от страха...

Топотом накатило, храпом — и, стукнуло в дверь два раза...

— Отчиняй... Григорий!?.

Конь топотал за дверью, храпел страхом...

Стукнуло крепче, опять два раза:

— Да отчиняй!.. Григорий?!.. Да я ж, Николай... с Тушан-Балки! — кричал запаленный голос.

Конь топотал за дверью, храпел, дыбился...

— Ушел... дьявол?!.

Щелкнуло крепко плетью, конь пересыпал дробью и взял галопом.

Безрукий прильнул к окошку.

Верховой вынесся к дороге, попридержал, послушал — к Перевалу, поднял коня и понесся книзу.

Камень с души свалился.

Безрукий признал объездчика-лесника с Таушан-Балки, под Чатыр-Дагом..

— Вместе ночными делами занимались... На кого-то попал под Перевалом!..

И его придавило страхом:

— А ну, захватят?!. Бежать надо...

Осталось в глазах, как конь на казарму скачет.

Он сорвал мешок с двери, заметался...

— С Перевала наехать могут... В камни куда приткнуться?

Вспомнил, — пшено взять надо, рубаху на задворках, — швырнул скамейку, сорвал щеколду... Его отмахнуло ветром, хлестнуло светом. Он пригнулся и головой кинулся к задворкам. Ударило его о стену бурей...

За казармой было куда тише. Месяц стоял еще вы-

соко над Бабуганом, но уже шел к закату. Хворост трепало ветром, черные его рога мотались, выли. Черным пятном стоял котелок на камне, сиял топор на обрубке. Подбитой птицей прыгала по сушняку рубаха, трепала рукавами. Портянки унесло ветром...

Безрукий схватил коробку, содрал с сушняка рубаху. Долго искал портянки, — не белелось. Подергал — покачал хворост, — не запрятана ли где пшеница? Ободрал только руки о колючки. Тяжелой путанною горою лежал хворост.

— А где же куры?

Казарма белела жутко. В черном окне теплушки пустынно светил месяц.

Безрукий обошел окошко, покосился... взглянул в сарайчик. В сарайчике было пусто. Пошел к обрыву, долго шумел кустами, — не закричат ли куры? Швырнул камнем. Ветер сорвал панаму и унес за кусты в балку. Безрукий кинулся, было, за панамой...

Круто валилась балка, струились верхушками деревья, мерцали, серебрились. Тускло светились камни. Долина курилась мутью, молочной мглою. За ней Бабуган дымился.

Безрукий поглядел в балку — и повернул к дороге.

Вышел, — и его повалило ветром. Он выставил спину ветру, увидал синюю казарму, черное жерло двери, — вспомнил про самовар ведерный...

— Нельзя оставить!..

И про паяльник вспомнил: нельзя оставить.

Переборол жуть и вошел в казарму, — швырнуло его в казарму ветром.

Черная труба качалась, тарахтела. Теплушка рвалась с запора. Ветер плясал в казарме, гонял бумажки.

Безрукого охватило жутью, словно попал в могилу.

— Самовар... у *него*... ведерный...

Подошел к двери, постоял, подумал...

— Не донести... В хворосте спрятать разве?

И не решился.

Он долго искал паяльник, весь пол обшарил. Не мог оставить. Нашел наконец, паяльник лежал на кошке. Мелькнуло в мыслях:

— Хоть чего-нибудь детям будет...

Оглядел при свете на пороге. Худящая была кошка, черная, плоская, как тряпка. Посомневался: брать ли?.. Сунул в мешок, растерянно поглядел к теплушке, — не подождать ли утра?.. Перекрестился, сказал теплушке:

— Прощай, Григорий!..

И головой побежал к дороге.

Его схватило и задушило ветром, швырнуло в камни. В страхе, он поглядел к казарме... Уходить ли?.. Толкнула его от себя казарма — черная дыра, в ней ветер... Осеребрясь краями, тополя ходили над ней столбами, выли.

Он кинулся головою в ветер и зацарапался, шаг за шагом, по беспокойно мерцающей дороге, по ерзающим на ней деревьям, по неподвижным теням от камня.

Вино еще в нем бродило, будило мысли: куда-нибудь ткнуться в камни, дождаться утра.

XII

Его заливало, топило ветром, крутило за полы сюртука, швыряло от камня к камню. Он пригибался, тащился боком, старался забиться в камни. Но ветер низал и камни. Это был буйный ветер, степной, разлетный. Он бился о горы грудью, не знавшей камня, — швырял его Чатыр-Даг в долины. Сразлету рухался он на камни и переплескивал с воем к морю.

Как мошка, сдуваемая ветром, цапался по камням Безрукий. Все чувства его окаменели, — и только одно мерцало: куда-нибудь схорониться, ткнуться.

На светлой от месяца дороге бились — метались тени. Стаями мчало листья; камни свистели, выли; с балок глушило ревом. Взбитые бурей чащи, сбросив свои покровы, плясали в гуле. Спавшие за кустами звери — серые камни-звери — вздывали крутые спины, ревели, ломились в чащах. Каменные стада проснулись, топотали. Всё струилось, металось, мчало. И опускавшийся к Бабугану месяц тоже куда-то мчался. Нагоняла его степная туча, дымила серебряными горами, тяжелая, снеговая, с обвисшим брюхом: вот-вот ударит о Чатыр-Даг и лопнет, — накроет снегом.

Безрукий ее не видел.

Дорога тянула в горы, крутила петли. На заворотах чернели камни — стояли, ждали. Сбросив свои короны, черные буки качались в балках, из черного серебра литые.

За поворотом, на светлой стреле дороге, чернело что-то, жутко храпело зверем...

Швырнуло за камни страхом. Безрукий присел, послушал: ясно, храпело зверем? Выглянул из за камня... Лошадь? Черная голова вздымалась, мчало по ветру гриву...

На дороге лежала лошадь.

— Это по ней стреляли... — вспомнил Безрукий верхового, кто-то еще с *тем* ехал...

Выступил из-за камня и стал обходить лошадь.

Она увидала человека. Она забилась, блеснула зубами в храпе и рухнула головой в дорогу. Он уловил ее взгляд молящий, застывший в вывернутом глазу ужас, черную лужу на дороге, блеск месяца на ребрах, — и побежал от нее на ветер. Его свалило. Он повернулся спиною к ветру и снова увидал лошадь: кивала она ему, мотала гривой. Как-будто манила его, молила лошадь.

И долго еще он видел, как кивала она ему, пока не закрыло поворотом.

Дорога вступила в балку, — и стало тише.

Слева — ущелье входило в горы, и в его дальней пасти, на синеющей по ночному дали, дымною тенью встала недвижная Катерин-Гора, — смутная, легкая, ночная. Всю дорогу будет следить дремотно,

Безрукий ее не видел.

Он миновал теснину, с железным мостом, — глухое место. Не вспомнил даже, что где-то на буках — трое. Они висели, покачивались в ветре.

Выступил башней камень.

Знакомое было место. В пологой балке — с дороги видно — лежала глыба. Выласкало ее дождем и ветром, и стала она похожа на могильный камень. Здесь, бывало, поили коней и отдыхали. Под глыбой бурлил источ-

ник. Была глыба — могильный камень: стояли на ней три крестика, черной краской.

Безрукий узнал глыбу.

— Пережду до утра, зароюсь в листья...

Узнал и тропку.

Внизу, в дубняке и грабе, под сенью глухих орешин, было совсем спокойно. Месяц стоял над гребнем. В черной сетке лежала глыба, мерцали на ней деревья — тени.

Безрукий смотрел на глыбу...

...В солнечный, жаркий день, — все дни тогда были солнечные и жаркие, — спускались весело от пещер верхами и тут выезжали на дорогу. Под камнем бурлил источник. Шумели веселым станом в свежей тени орешин. Все становились на колени и припадали к струйке. Холодом обжигало губы, в груди ломило. А Безрукий, в чудесной своей панаме, покуривая сигарку, рассказывал приезжим, как против этого камня, на дороге, убили троих безвинно, — извозчика, почтальона и солдата, которые везли деньги. И, нюхом зная, что слушать об этом любят, шептал с подмигом:

— «Ну, понятно... *они* это... для народного, как сказать, блага...»

Слушатели загадочно молчали...

Он смотрел на черные крестики, как сонный. И вырвалось у него беззвучно:

— Проклятые... сбежали... подыхаем!..

Крестики показались ему — из дальней дали, загадочным сном мелькнули...

— Пировали тогда... Новая жизнь будет!.. Всё открыли! Всё убили!..

Было ли когда *это*?

Бульканьем из-под камня повторяло: *было... было...*

С ветра ли, от вина ли, — томила жажда. Он встал на колени, как бывало, и приник губами к бурливой

струйке. Ему обожгло губы, как и раньше, и словно молнией осветило — восстало ярко, как весело пили эту воду, и так же в груди ломило...

Пил жадно, долго...

И вот, встало над ним неслышно, вспыхнуло ярким светом, и погасло.

— Ты что за птица?!.

Крикнул командный голос.

Безрукий вскрикнул... Снова сверкнуло в струйке, озарило гнилые листья и чьи-то ноги... Крепкие сапоги мелькнули, — и погасло.

— Вставай! — крикнул суровый голос.

Вспыхнуло, ослепило... Безрукий узнал фонарик, приклад винтовки... Высокий стоял у камня, сильный...

— Красив молодчик!. — сказал человек с винтовкой. — Ты кто такое? Откуда?..

Погас фонарик.

Безрукий молчал от страха. В глазах осталось: баранья куртка, баранья шапка, патроны, штаны с кантом...

— С тобой говорят, болван? Кто? откуда?..

— Попить... спустился... — стуча зубами, проговорил Безрукий.

И так и остался, на коленях.

— Нашел время!.. Бумаги? Не понимаешь, совсем младенец?.. от вашей, болван, собачьей власти?.. Документы!..

Безрукий, как-будто, понял, кто перед ним с винтовкой. Он протянул, было, руку, — просить о чем-то? — но человек крикнул строго:

— Бумаги, от собачьей власти... имеешь? Через горы боятся сами... вам, болванам, носить дают, собаки! Документы?!.

Теперь он понял.

— Будь они прокляты... — вытянул из нутра Безрукий, — всю жизнь убили...

— Поешь складно. В мешке чего у тебя?

— Ничего-с... глядите...

Рука осветила лампочкой, рванула мешок, встряхнула...

— Кошка?! Зачем — кошка?..

— Кошка... — уныло сказал Безрукий, смотря на кошку.

Прыгнуло пятно света, блеснули оскаленные зубы, выдутые глаза, как стекла, и тут увидал Безрукий, как исполосовал он кошку.

— А зачем это вам, *товарищ,* кошка?! — насмешливо спросил голос. — Ходили на охоту?..

— Детям добыл...

— На котлетки... Прекрасно. Пшено — не надо. Рубаха... — берем рубаху. Поручений собачьих не имеешь? Документы!..

— Законный имею пачпорт... царский...

— Имей. И кошку можешь. Рубаху покупаем. В раю рубахи не полагаются. Чей-то еще и сюртучок имеешь? — прыгнуло пятно света. — Хоть и однорукий, а реквизнул, мерзавец! Шелковые когда-то отвороты назывались!..

— Берите-с... покорно сказал Безрукий и отложил рубаху.

— Ну, как... живется в раю сладко? Сколько, небось, просился-добивался... — таки впустили? С кошечками играешь... Ну, забирай свою бliманжу, и — марш! — ткнул невидимый человек в кошку.

— *Я* с *ними*... не имею!.. — выкрикнул из последних сил Безрукий. — Лучше бы уж убили.. сразу...

— За-чем же сразу? Сразу, брат, не прочувствуешь. А ты поживи, прочувствуй... Лазаря поете, как подыхать настало?..

— Брось, Вахабин... — сказал другой голос, и из-за камня вышел еще, с винтовкой.

Месяц еще светил над гребнем, в набегавших тучках, и в свете его Безрукий признал погоны.

— Гляди, капитан, бобра! — сказал Вахабин и брызнул светом. — Хорош молодчик?.. А ты погляди на рожу! махровый самый!.. самый, что ни на есть... райский!..

— Нашел время... Замерз дурак, да еще безрукий! — устало сказал пришедший. — Пусти его, замерзнет...

— Изъятие излишков сделал, рассчитаться надо... — сказал Вахабин и свистнул трелью. — Рубаху нашему казаку добыли. Нет, каков, однако, мерзавец! Безрукий, а сюртучок себе реквизнул, осилил! Кошек по горам ловит, а из рая уходить не хочет!..

Безрукий поглядел жалобными глазами.

— Ваше благородие... всё неправда! Чего мы можем?.. Оружие поотняли... шайка...

— Молчи, кошатник! — выругался Вахабин, стреляя светом, и Безрукий видел, как передернуло его скулы. — Поотняли?! Камнями бейся... раз у тебя жизнь отняли! Падаль, сукины сыны, жрете, а подыхать всё боитесь?.. В навоз, всё равно, пойдете! Детей уж жрете!

— Кому говоришь! — сказал капитан с сердцем. — Сматываться пора. Теперь ни одна собака не поедет...

— Они все такие, панихида... а как грабить!..

— Ваше благородие! — крикнул с отчаянием Безрукий, — я всякую культуру понимаю... разорили! Дети... трое помирают...

— Брось, поручик. С третьего поста сняты?..

— Сейчас снимаю. Я отходную ему читаю... Ты чего меня «благородием» величаешь? Кончилось благородное! — через зубы сказал Вахабин и помотал у глаз пальцем. — Узнали зверье — по другому теперь начнет-

ся! На зверье — кнут да палка, чтобы твою «куль-ту-ру» не растоптали, дерьмом не завалили! Стой, за рубаху будет... Верховой попался?..

— Видел, версты четыре...

— Что, веселый?

— На, поправься... — сказал капитан, вытаскивая из-за борта фляжку. — Замерзнешь, голый...

Он отвинтил серебряный стаканчик, налил...

— За...мерз... — выстукивая зубами, прошептал Безрукий и принял стаканчик горстью: уже не владели пальцы.

Как огнем обожгло глотку и побежало жгучей струей по телу.

— Ваше... благородие... — задохнулся Безрукий, поперхнулся, — ко...ньяк?!. Знаю... я всю культуру!..

— Понимает культуру, шельма! — сказал Вахабин. — И чего расточаешь бисер перед свиньею!..

— Всю культуру... с профессорами обходился... из древнего времени... всегда гуляли... культуру признавали... Знаменитая была куль...тура!.. все хлеб имели...

— Пей, культура! — сказал капитан и налил другой стаканчик.

— Господи... из древнего времени!..

— Ай хорошего чего есть? — крикнуло из-за камня басом, и вышел бородатый казак в папахе.

— Да вот, купили тебе рубаху, Иван Коныч... теперь щеголяй на все! — сказал Вахабин, давая казаку рубаху. — Дашь ему чего... сала, хлеба!

— Живем! — усмехнулся казак, зевая. — Баловать их, сволочь... В боях, почтенный, потерял руку?

— Машиной оторвало, — сказал Безрукий, — из древнего времени, когда был слесарь...

— Сле-сарь?.. Знаю вас, сволочей... За слесарей вся

завороха вышла, работать сукины сыны не захотели! — выругался казак и пошел за камень. — Дайте ему раза, ваше благородие! Са-ла... — услыхал Безрукий из-за камня.

— Слыхал? — с усмешкой спросил Вахабин. — Кто говорит? На-род говорит... казачья воля! Семью оставил, хозяйство бросил, не захотел жрать кошек!

— Ваше благородие!.. Что мы?!. Профессора одобряли... для удовлетворенья!.. Сбежали сами... Я с ними обращался... по всем горам гуляли... всего открыли!.. Господи!

Коньяк разогрел его. Стаканчик с походной фляжки распахнул перед ним дверь в прошлое. Недавно, на пикниках, бывало!..

Облокотившись на камень, стоял офицер, в приплюснутой фуражке, такой знакомой, в гороховой шинели, с биноклем на ремешке, — курил. Его заросшее бородой лицо, совсем еще молодое, на месяце было смертельно бледно, устало, грустно. Печально смотрели его глаза, и Безрукому показалось, что человек этот его жалеет. И он пожалел его. Вдруг открылось, — отомкнуло ему вино? — что связывает его что-то с ними, что-то такое... — не назвал бы словом. Давнее?.. Что *это* — у камня с тремя крестами — последнее от *той* жизни, — последнее прощанье. Вдруг осветилось ему в потемках, — и стало ему до острой боли жаль и себя, и этих, ушедших в горы, леса и камни, — и всё, ни за что погибшее. Впервые за эти годы, за эти страшные дни метанья постиг он бездонный ужас и понял, что *всё* погибло. Это открылось ему не мыслью, а светом, из тьмы сверкнувшим. Вдруг подступило к горлу, хлестнуло в глаза правдой... Он вспомнил детей — у моря... — и зарыдал, заухал.

— Отставить! — крикнул, смеясь, Вахабин. — Так ты верхового встретил?..

— Так точно, видел...

— Ну, так скажи собакам, что болван со звездой в раю, под мостом, где «фонари» играют!.. Понимаешь?

— Понимаю... висят трое...

— Три собаки! И пусть лучше не посылают сволочь, которая нищих грабит... а махровые чтобы приходили, с собачьим документом! не прятались за болванов!.. По-нял?!.

— Понял...

— А семерых на автомобиле, с билетами... сам, скажи, поручик Вахабин... *снял!* Татарин, скажи, Вахабин! *Они* знают... И еще за ними остается! Хорошо запомнил?..

— Помню...

Казак вернулся.

— За рубаху больше ему не стоит, ношеная... — сказал он грубо. — Я б ему ни хера не дал, балуете их только...

— Пойдет ему на поминки! — ткнул Вахабин Безрукому чурек и сало. — Вспоминай, как... в аду едали! В раю расскажешь...

— Всё бы отдал! — вскрикнул Безрукий, хватая сало. — Последние вы... в горы ушли... за нашу Россию бьетесь!.. за правду бьетесь...

— Да уж не за ваши сопли!

— Давай мешок, — сказал капитан, вынимая из пазухи ком бумажек, и бросил, как мусор, смаху. — Миллионером будешь, на собачьи собачьего хлеба купишь...

— Господи! — завопил Безрукий, хватая его руку, но тот отдернул.

— Сматываться, поручик!..

И все трое ушли за камень.

Безрукий глядел на глыбу, на светлое за ней небо. Хотел крикнуть... — не выскочило из глотки. Шумели над головой деревья, сновали по глыбе тени.

Было?..

Бурлил и бурлил источник: было... было...

— Эй! красавец! — донесло ветром сверху. — Слушай, дурак... за-мерзнешь!.. За Перевалом... огонь!.. чабаны!.. Скажи... по-ручик послал... мурзак, князь... Вахабин!..

Безрукий невнятно крикнул...

Месяц зашел за гребень, темнело в балке. Кресты померкли.

Было? И верил, и не верил. Шумели над ним деревья, бурлил и бурлил источник. Валялся мешок, чернело пятно... Кошка?..

Он забрал в мешок кошку, увидал сало и кусок чурека на бумажке... Было!.. Он схватил сало и обнюхал, впился зубами... О детях вспомнил, сунул в мешок и замотал потуже.

...За Перевалом огонь?.. чабаны?..

Перекрестился и побежал из балки.

В ушах стояло:

— За Перевалом огонь! чабаны!

XIII

Ветер уже не бился о каменную плотину Чатыр-Дага: теперь он нашел дорогу и рвался за Перевал прорывом.

Безрукого гнало в спину, низало стужей, — несло на тугих крыльях. Мотавшийся за спиной мешок не мог защитить от стужи, рука застыла. Страшась уронить мешок, он вцепился в него зубами. Пугало его сомненье...

— А ну... не попадутся?..

Не набежит на огонь — замерзнет.

— С ними бы попроситься... дождаться утра... — вспоминалось ему о встрече. — Да нет, не верят... Хоронятся где-нибудь в пещере... огонь разложат... Хорошо в пещерах, тихо... И всякие припасы... никто не доберется... Детей бы перетащить... жили бы себе да жили...

Мешались в голове мысли.

Да была ли встреча? Чувствовался во рту вкус сала. Зубами помнилось, как хрустело... И коньяком всё пахло. В ушах осталось:

— «За Перевалом огонь! чабаны!»

— И денег дали... два пуда купить можно?

Несло на тугих крыльях.

В глазах осталось — прыгающий круг света, сверканье струйки, светлый стаканчик с фляжки, комок бумажек...

Была встреча!..

И всё казалось, что это из давней жизни.

Черными полосами струились кусты и камни. Дорога меркла, — месяц ушел за горы. Сзади, из черноты, густо валила туча, клочья ее светились. Сеяло тонким снегом, но Безрукий его не слышал. Он даже и ног не слышал: несли его деревяшки, попрыгивали, как спьяну. Он засыпал набегу, — и встряхивало его испугом:

— Мешок?

Мешок колотился в спину, терло дерюжкой губы.

И вдруг проясняло мысли:

— Господи, что же это? Голый бегу... который уж день... всё горы? Сейчас упаду, замерзну...

Стучало в ушах, как камни: огонь... чабаны!..

Кусты пропали, снегом блеснуло поле... Рвануло в гуле, — и Безрукий понял, что он на Перевале.

Ветер нашел просторы, рухался за плотину с ревом. Мчались по снегу камни великого огнища, выли. Пригнувшись, несся навстречу дуб, закинув в вихре исхлестанные ветви, — мелькнул чернотою в свисте...

И сбросило с Перевала вихрем.

— А где огонь?..

Дорога бежала книзу, черная пустота глотала, — и вот, глубоко во тьме, красновато мигнуло искрой.

— Огонь... чабаны!..

Черными полосами мчались кусты и камни. Искра мигала, гасла. В долины валились балки, чернело глубью. Качало небо великой тенью — смутной Горой-Царицей: дорога крутила петли.

Безрукий ее не видел.

Слева мигнула искра, мигнуло справа. Огонь вертелся, летел навстречу. Дымилось над ним сиянием.

— Огонь... чабаны...

Хлестало снегом, стегало глаза метелью, катило камнем. Казавшийся всё далеким, огонь появился близко, у ног, в провале. Бурно над ним дымилось...

— Чабаны... на нижней петле!

Рвануло вперед надеждой. Невидный, смутный, стоял у дороги камень. Ударил камень — и Безрукий упал сразбегу.

Долго ли он лежал — не помнил. Крутило над ним метелью. Стегало воем.

— Огонь... чабаны... — сказало ему в метели.

Он поднялся, но его сбило ветром.

— Мешок свалился!

Опять его сбило ветром. Он пополз, обшаривая дорогу, но пальцы уже не могли нащупать.

— Сбросило ветром... в балку?

Ноги отяжелели, онемели. Он всё же пополз на локте, выискивал, — где чернеет? Что-то чернелось на краю дороги? Куча щебня. Жужжало по ней бурьяном.

Безрукий дополз до края, заглянул в черноту провала. Гулом во тьме ходило — леса качались. Он поглядел на небо. Стояло на небе — тенью. Смотрела Гора-Царица, — темная, тихая, ночная. В небо за ней поглядел Безрукий, сказал беззвучно:

— Господи... погибаю...

Склонился к краю, — погнуло его ветром, — и увидал: у края, на снежку чернеет.

— Мешок?

Он потянулся, но не мог захватить рукою, — не схватывали пальцы. Он перегнулся в балку, схватил зубами... Зубы его нащупали дерюжку, впились, как в мясо, и, пятясь по-собачьи, он выволочил мешок из балки. Хотел подняться, но его повалило ветром.

— Огонь... чабаны...

Его задушило ветром. Он укрылся за кучей щебня, ткнулся губами в камень...

Хлестало, лепило снегом. Он смутно помнил, что

где-то недалеко чабаны, и огонь совсем близко... что нельзя оставаться на дороге. Но его сковывало дремотой — камнем.

— «Огонь!.. чабаны!..» — крикнул над ухом голос.

Он вдруг рванулся, поднялся на колени. Близко, на нижней петле, над темными кустами, сияло огненное пятно, дымилось... Он крикнул в черную пустоту за светом, и огненное пятно пропало. Прошло замиравшей мыслью:

— Огонь... чабаны...

И этот огонь стал искрой. Она погасла.

Его пробудило собачьим лаем. Лай по горам катился, с Гробницы Великана, гремел камнями.

— Овчарки? — прошло дремотно.

Сыпало, как камнями, — лаем, накатывало ближе, злобно.

— Разорвут... — пронизало искрой, под грудой камня. — Овчарки... злые... — подумал Безрукий безнадежно, чувствуя, что не сбросить камня.

Страх, что сейчас разорвут овчарки, вырвал его из мрака. Он знал овчарок. Чутье ли ему сказало — осталось от диких предков, или он вспомнил, что так учили его чабаны, — он втянул шею в плечи, подобрал под грудь руку и замер лицом в дорогу.

Словно сквозь сон он слышал, как яростно лаяли овчарки, драли когтями землю, прыгали у лица, дышали горячей псиной. И вот, через лай донесся хриплый и жгучий чабаний выкрик, как-будто защелкало бичами:

— Аррьчччь! арьчь-арьчь-арьчь!

Лай оборвался визгом. Чабан выпрыгнул на дорогу, гикнул, как умеют одни чабаны, и яростно завертел палкой. Собаки отскочили с воем.

— Йеййййй!.. Покажи руки!

Лохматый, похожий на огромную овчарку, чабан

подскочил ближе, втянул носом, вгляделся — и тронул долгой крюкастой палкой, какой выхватывают баранов из отары.

— Йеййй, человек!.. айда!..

Овчарки опять рванулись.

— Йеййй, шайтан!.. — крикнул чабан свирепо и дернул крюком за шею.

Овчарки рванулись с визгом. Чабан закрутил палкой, крикнул свое, понятное только овцам, и дернул опять за шею.

— Ач-ча-ча-ча! — вырвалось из него рычаньем, и он подошел вплотную.

За ним — овчарки.

— Йеййй, человек! Огонь!.. — взвыл он над самым ухом, нажал на шею, подумал — бросить? — и что-то сказал овчаркам.

Они швырнулись с свирепым лаем.

— Аррьччь!.. — прыгнул чабан к овчаркам, поднял лежавшего за плечи и поставил. — Айда!.. Не можешь?..

Безрукий забормотал невнятно.

Чабан, наконец, дознался, что человек ничего не может. Он отогнал от мешка овчарок, забрал мешок, взвалил Безрукого на плечо, как взваливают барана, и, попрыгивая, побежал легко книзу. Скоро он свернул прямиком по балке, приметной ему тропинкой, и кустами спустился в котловину. Послушные его свисту, рассыпались по местам овчарки.

XIV

Под каменистым обрывом, в тиши от ветра, жарко горел костер. У стенки, на груде веток, на войлоке, спал под тулупом старик-чабан, надвинув на глаза шапку, — торчала седенькая бородка. В ногах у него лежала крупная овчарка, с крутым загорбком, похожая на волка. Заслышав шаги чабана, она вскочила, сделала торчком уши, втянула носом — и вдруг, с рычанием, вцепилась в мешок зубами.

— Гайть! — гикнул чабан, пиная ногою в морду.

Овчарка, рыча, пошла на место. Старый чабан проснулся.

— Что там, Алим? — спросил он в огонь, не видя.

Чабан свалил Безрукого у огня, подергал за полу сюртука, потрогал пустой рукав, тряхнул головой и засмеялся.

— Шайтан, без одной руки... голый! Собаки хотели рвать... Замерз, не чует!..

— С берега?

— С берега. Красная борода, как у шайтана! — смеялся чабан, толкая ногой Безрукого. — И шапки нет, потерял!..

— Знаю его, Безрукого... — сказал старый чабан, зевая. — Покупал прежде у меня барашков, водил с берега глядеть пещеры... А, волки!.. Прибавь-ка огня, Алим...

И потянул на голову овчины.

— Йейй, ты! шайтан!.. — кричал, расталкивая, чабан. — Проснешься!..

Он взял горящую головешку и сунул к носу. Безрукий повел глазами, — узнал огонь. Зубы его ощерились улыбкой, он вспомнил что-то и завозился, ошаривая землю.

— Жив остался?.. — крикнул, смеясь, чабан, суя головешку к носу. — Шайтан красивый!

— Ме...шок... — чуть слышно пробормотал Безрукий.

— Мешок ищешь?

Чабан вырвал из-под овчарки войлок, кинул Безрукому в-голова мешок и накрыл с головою войлоком.

— С Перевала шел, а в мешке у него барашка... Чорх учуял!

— Бродят волки... — сердито сказал старик. — У себя всё сожрали, к нам теперь на горы воровать ходят. Не отзывай собак, пусть их грызут до сердца!..

Чабан подкинул в костер сухого дуба, погрел на дыму руки и стал набивать трубку. Сидел на корточках, курил и плевал в огонь. Шуба завернулась на его груди крутыми волнами белого кудрявого барана, мохнатый воротник закрыл спину, шапка сливалась с ним. Казалось, — сидит у огня огромная кудлатая овчарка.

Ветер срывался с обрыва в котловину, крутил и хлестал снегом; порой ударял в костер, шибал дымом, взрывал золотым столбом, срывал и уносил искры. Летели они золотым роем, тянули во тьму огневые нити. Но всё реже и реже встряхивал — затихал. Порой доносило визгливый лай. Чабан прислушивался, вкладывал в рот два пальца и пускал резким свистом. Собаки отзывались. Чабан подымался, задирал голову и, напружив горло, железной глоткой кричал — аррьччь-аррьччь! Собаки отзывались подругому. Набегало запаленное дыханье;

шуршало за кустами, пробегало глухою дробью. За светлым кругом мелькали тени, из темноты совалась острая, волчья, морда с торчащими ушами, с точками огоньков в глазах, вздыхала и пропадала в мути.

Безрукий уже ничего не слышал.

Жаркий огонь костра плясал по войлоку языками. Дымился войлок. Спал чабан под тулупом. Спала овчарка в его ногах. Потряхивало в камнях ветром.

Чабан докурил трубку, позвал собаку особым свистом и пошел не спеша к дороге. Овчарка повозилась, поглядела на старого чабана, к огню взглянула, зевнула — и осталась.

— Гайть! — крикнул чабан настойчиво и свистнул резче.

Овчарка нехотя поднялась, уставила голову по ветру, послушала, передернула рваными ушами, перетянулась с визгом и потрусила лениво за чабаном.

Скоро донесло жгучее, щелкающее — аррьччь-аррьччь! — и страстный заливный лай, будто гонят собаки зверя. И с другого края, от верха, из-за обрыва, с невидимой отары, отозвалось задорно:

— Арррьччь!.. аррьччь-аррьччь!.

Это чабаны перекликались в тревожной ночи. Овчарки вели дозоры.

Две рослые белые собаки набежали снизу и встали за светлым кругом, высунув волчьи морды. Их красные языки дрожали, глаза горели. Они поглядели на спавшего чабана, потянули к огню носами, остановились в дрожи... Впрыгнули в светлый круг и бешено ткнулись в войлок. Оторвал их призывный свист, — и они понеслись к дороге.

Новый чабан пришел снизу, ввалился из темноты зверем, в черной овчине, наружу шерстью, седой от снега. Он легко подбежал к огню, будто на мягких лапах,

отбил постолы от снега, встряхнулся по-собачьи, сбросил бараньи рукавицы, задвинул на затылок белую баранью шапку, — и юное, свежее лицо его, в густом румянце, открылось пылающему огню бойкими бровями, жарким и влажным ртом, и засмеялось радостными, детскими глазами. Он протянул к огню руки, потянулся и позевал сладко. И вдруг — насторожился...

Послышалось ему что-то?..

Он поглядел тревожно на старого чабана, всмотрелся через огонь, приметил войлок...

Слышались глухие стоны, тяжелое дыханье...

Чабан подбежал, послушал — и поднял войлок.

— Ачь-чя-чя-чя! — вырвалось у него из горла.

Смутило его мертвенное лицо, чужое, с ввалившимися глазами, красная борода, как у шайтана. Он поглядел на спавшего чабана, подался и бросил войлок. Задумчиво отошел — и тут же забыл и замурлыкал песню.

— Гляди огонь... — сказал старый чабан впросонках.

Чабан-мальчик заботливо оглядел костер, поправил головешки, подкинул сухого корня. Огонь проснулся. Чабан опять замурлыкал песню, сидел на-корточках у огня, качался. Валило от него паром.

...Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли... гайть!
Джиль-джиль!..

Сонно журчала песенка. Красные языки огня поплясывали сонно.

Чабан стянул свою шкуру, остался в бараньей безрукавке. Шкуру расстелил вверх шерстью, попрыгал на коленях, играя перед огнем, как играют на месяце молодые зайцы, и повалился грудью, — принялся набивать

трубку. Трубка его долго занимала. Он разглядывал на ней синий камень и медные разводы, и пестрый бисер на кожаном кисете. Разглядывал и дымок из трубки. Потом устроился поудобней, подпер голову кулаками, курил и думал. Черные глаза его неподвижно смотрели в пламя, слипались, спали. Угасшая трубка выпала, — он не чуял. Его голова поникла, свалилась шапка, закрыв огонь...

Снег валил хлопьями, сеял в костер дождем. Потише стало и потеплело сильно. На кустах, за светом, налипли шапки, розовым от огня светились. Красные зайцы сидели под кустами. Последним валило снегом, — проглядывали звезды.

Потрескивало в костре, шипело. Стал засыпать огонь. Спал мальчик, — и старый чабан. Зимняя ночь тянулась...

Снизу, откуда пришел чабан, понуро вышла старая овчарка, встряхнулась перед огнем, перетянулась с визгом, вываливая язык, оборвала визг стоном, словно болели у ней все кости, лениво поискалась, поерзала на спине, к теплу, и пошла умащиваться в ногах чабана.

— Спи, старая... — впросонках сказал старик.

Она простонала тихо и сунула голову в овчины.

Скоро вернулся первый чабан — с другого конца, снизу, бросил охапку суши.

Мальчик-чабан проснулся, заслышав вернувшуюся овчарку, надел свою шкуру, присел на-корточки и опять заурлыкал песню. Без слов урлыкал, играя горлом.

— Злая ночь... — сказал пришедший чабан, приваливаясь к огню.

— Злая...

Урли... урли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

Слушал — слушал другой, — и в его горле заклокотала песня, бурливая, как прыгающий в камнях источник...

Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

Пел и огонек с ними, и уркающий ручей в балке, рожденный снегом.

— Были? — спросил мальчик.

— Два следа на дороге. Пошли книзу.

Сидели молча. Чабан стал набивать трубку.

— Кто пришел? — показал мальчик, смотря на войлок.

— Шайтан, греться...

— Кто, Алим?..

— Собаки нашли. Бекир знает.

Долго сидели молча.

— С овцой баловал опять!.. Скажу Бекиру.

— Доил я... — сказал виновато мальчик. — Бекир сказал.

— Видел... Скажу.

— И я видел...

— Молчи, хорек! Я не порчу... Подбавь огня!

Метнулись красные языки, забило дымом. Песня опять журчала в затихшей ночи.

Давняя была песня эта. Знают ее чабаны, а слов не знают. Песня воды и камня, и песня ветра, и песня травы звенящей, и полыхающего костра — под ветром. Горлом играют ее чабаны — живой струною.

Ур-ли... ур-ли...
Урли-юрли-юрли — гайть...
Джиль-джиль...

И громче уркало и журчало в балках.

С невидимой отары, за кустами, и за обрывом, выше, доносило овечье мэканье и трепетное ржание баранов. Когда совсем унимался ветер, слышалось топотанье метнувшейся отары и за ним — беспокойный, назойный лай.

— Чуял, внизу как гнали?

— Чуял... — оборвал песню мальчик. — У Гайды морда в крови. Рвали...

— Кровь по следу. С берега, воры. Бекир сказал: не отзывай собак, пусть их грызут до сердца. Теперь можно. Бекир сказал. Собака грызет волка...

— След к потоку?

— К потоку.

— А много крови?.. Погляжу утром.

— Заметет снегом... — сказал старший. — Вечером двое на конях барашка захватили... знаю! Съ Таушан-Балки, лесной. Устерегу ночью...

— Бекир ружье не даст.

— Мне не надо. Камнем. Козла убил... И его убью. Это у тебя чья трубка?..

— Нашел в Ай-Балке, у Трех Камней... Те забыли...

— Это Амида трубка, я ее знаю... Курил, видел... показывал Бекиру. Отдай Бекиру! Все из Шумы ее знают...

— Знаю.

Дремали. Спали.

Донесло шорох, рокот... Камень катился в балку?

Проснулись оба.

— Слышал?

— Слышал... к Дубовой Балке?

— Нет, к дороге. Ступай по кругу, через Чорох-су, где Большой Камень... Наперерез, балкой, Сухой Водою... Твой черед.

— Знаю... пойду.

Чабан-мальчик надел рукавицы, оправил нож и пошел своим кругом, в ночь.

Чабан подбросил в костер, стал дремать.

Кверху, с невидимой отары, яростно залились собаки. Старая овчарка дернула головой из-под овчины, поставила ухо, заворчала...

Чабан встряхнулся, послушал — и погрозил овчарке:

— Цааа!

Она вскочила, торчками уши, и затопталась, в дрожи...

Чабан слушал...

— Ачь-ча-ча-ча... йяй-йяй! — тревожно сказал он ночи.

Собаки гнали.

Овчарка подняла лапу и застыла, выкинув вперед уши. Хвост ее натянулся, дрожал пружиной. Она поглядела на чабана, спросила нетерпеливым визгом...

— Ца!.. — погрозил чабан.

Он выбежал за круг света, послушал и засвистал протяжно. Собаки не отзывались — гнали. Бараны за обрывом тревожно ржали.

— Гайть! — крикнул чабан овчарке.

Овчарка выкинулась к дороге, повела шумно носом; глядела, словно звала чабана. Чабан выпытал темноту, гикнул и побежал книзу. Овчарка заерзала на месте, потопталась за светлым кругом, повела мордой кверху, визгнула и, что-то поняв, свое, яро метнулась за чабаном.

Ночь наполнилась голосами, свистом, — заполошилась. Шарахнулась топотом отара, бараны заревели...

Старый чабан проснулся, послушал, как заливаются внизу собаки, раскатисто свистнул в пальцы и загикал. Ему ответили сверху, снизу. И он ответил. Узнал, что нужно, накинул тяжелые овчины и сел к огоньку — слушал...

— А, злая сегодня ночь!.. — сказал он со вздохом в небо.

Сидел, уставясь в огонь, недвижно.

Огонь приветно играл на его груди, расшитой шелками и каменьем, на серебре застежек мерлушчатого кафтана, в крупных, с яйцо, гремках, на чеканном серебре богатой опояски, на рукоятке ножа в коленях, на крепком глянце кожаного лица его, в черных и жарких еще глазах.

— А, злая ночь!..

Он набил черную, корневой черешни, выложенную затейливым серебром и лазоревыми камнями трубку, привешенную на звонкой цепочке к поясу, достал из огня голой рукою уголь и прикурил неспешно. Сидел и курил, нахмурив черневшие мохрами брови, — сухой, горбоносый, зоркий. Смотрел на огонь и думал...

XV

Снизу пришел чабан-мальчик. За ним прибежали две овчарки: палевая, с подгаром, и — волчьей масти. Они поиграли, покрутились, метнулись к войлоку, вынюхали мешок и стали грызться.

Старый чабан кинул головешкой. Собаки отскочили с визгом.

— Положи на камень! — крикнул она мальчику-чабану. — Барашка чуют. Волки-воры...

Мальчик положил мешок на выступ.

— Опять были? — мотнул чабан в темноту, книзу.

— Были. От Большого Камня собаки гнали... У Яя в крови морда...

— Куда гнали?

— Через Сухую Воду... Алим подозвал Чорха...

— Шайтан! Через Сухую Воду?!. Пустая голова твой Алим!.. Надо было на пересечку, заслать с Ай-Балки!..

— Чорх побежал с Ай-Балки, Алим подозвал, погнал на Сухую Воду...

— Мой Чорх умней пустой головы Алима... Помни, Чорха слушай... Мой Чорх до Палат-Горы услышит!.. Умней собаки быть хотите? Собака тебя старше... умней всей яйлы!..

Сидели и молчали. Сопела трубка.

— Волки, с берега... — сказал старый чабан огню. — Собака грызет волка. Бог велит...

Выстукав на ладони трубку, чабан сходил в куст, вымыл о снежок руки и посмотрел под войлок.

— Он, знакомый. Хороший был человек — волком ходит! На горы голый ходит... — покрутил головой чабан. — Пропали люди на берегу... про-пали!..

Поглядел на небо, как тучи бегут по звездам, и лег под свои овчины.

— Тепло будет. Завтра назад погоню, на яйлу... С шайтанами тут, с волками! Держи огонь. Да больше по верху слушай... переломился ветер... от верху будут!

И правда, начал ломаться ветер, — потянуло теплом, от моря.

Слышалось в затихавшей ночи, как шлепало с кустов снегом, шорохами сползало с камня. Из-под войлока доносило хрипы, тревожное бормотанье. Слушал его дремотно мальчик, — сонное мэканье в отаре, подкашливанье вожаков-баранов...

Лизавшиеся у огня овчарки насторожились, вытянулись за круг света. Сказало им в тишине что-то, — и они яро метнулись книзу.

Чабан-мальчик проснулся, схватил палку и побежал за обрыв, к отаре.

Старый чабан отвалил овчины и послушал. Брови его насторожились, заиграли. Уши выпытывали у ночи, ждали...

И вот, — острый, сверлящий посвист, — тревоги-спешки, — похожий на злобный клекот, донесся снизу...

Старый чабан отшвырнул овчины, вскочил, как мальчик, и выбежал за круг света. Совсюду били тревогу свисты. Чабан поднял над головою руку, провел ведомые ему дороги, как-будто мерил и ставил знаки, — тряхнул головой и обругался:

— А, злая ночь... шайтаны! ползут, волки!

Что-то наслушал, плечами передернул, метнул гла-

зами. Ноздри его раздулись, втянулись сухие губы. Он бережно вытянул ружье из-под овчины, с выгнутым, как ступня, прикладом на вытянутой шейке, богато украшенное насечкой, широкотрубное, с долгим боем, старательно осмотрел при свете, поправил у замка что-то, вытянул из ствола затычку — пучок шерсти, побормотал у дула и, бережно взяв подмышку, тихо пошел к дороге.

Совсем с другой стороны, от низу, понесся пылкий собачий гомон. Собаки гнали. Лай оборвался визгом... На вскрик, похожий на человечий, ответил ярый чабаний выкрик — гойть-гойть!.. — древнейший выкрик чабаньей травли. Другой, визгливый, ответил выше... — и всё покрыло звериным воем. Вой покатился влево, на низ, к дороге. Чабаны травили вперебивку, сверлили тревожным свистом.

Лай становился глуше, срывался, гаснул. Травля и свист затихли.

Стало слышно, как овцы пугливо звали. Бараны унимали коротким ревом. Слышалось — аррьччь-аррьчь-аррьчь!.. — приманивающее лаской, совсем другое, — глухое шараханье отары, топотанье, ворчливое тятяканье овчарки, сбивавшей к стаду.

Живые голоса затихли. Только звонко бурлила вода по камням да рухались снеговые комья.

И вот, к дороге, тяжело грохнул выстрел, и покатилось в балках. В насторожившейся тишине за ним, одним свистом спросил о чем-то... Другой — ответил.

И всё затихло.

Старый чабан вернулся, принес барашка. Чабаньи глаза горели, шептали губы:

— А-а, шайтаны!

Он осмотрел у огня барашка, мотавшуюся его головку, — вынул кинжал и заколол у горла.

— Шайтаны-волки...

И подержал над огнем за ножки: следил — *берет ли?..* Черная кровь стекала, огонь весело прыгал языками, — *принял.*

Барашки будут!

Кожаное лицо чабана посветлело, он вытер нож о барашка и убрал тушку в камни, чтобы не достать овчаркам. Потом заботливо осмотрел ружье, протер шерстью, всыпал пороху из бараньего рога на ладони, забил натуго шерстью, забил картечью, поцеловал у дула и бережно спрятал под овчины.

— Шайтаны-волки!

Он вытер о снежок руки, поел снежку, захватывая его в пригоршни, как святое, и сел у огня с трубкой. Суровое лицо его стало жестким, строже сдвигались брови, усы дрожали, — будто он спорил с кем-то или шептал молитву. Упорно смотря в огонь, он поднимал порой руку и грозил кому-то.

Выкатывая язык и бурно нося боками, пришла старая овчарка, ткнулась к огню и вытянулась с долгим стоном. Чабан поцокал. Она поднялась с трудом и ткнулась ему в ноги. Он осмотрел ей морду и потрепал загорбок...

— Ах, старый-старый... — ласково сказал он, закручивая ей ухо, — двенадцатую зиму носишь, трудно тебе! Лежи.

Овчарка куснула его рукав, лизнула в руку, потерлась о колени и улеглась со стоном. Он курил, почесывая ей за ухом. Она дремала, вскидывая порой глазом.

Подремывали оба.

Потрескивало за кустами... Старый чабан вгляделся: топталась в кустах овчарка.

— Це-це, Яя!.. Чего ты там стал... поди!

И прошло по лицу тревогой.

Повизгивая, приковыляла рослая белая овчарка,

ткнулась к огню и, изворачиваясь всем телом, стала зализывать у зада.

— Ать, Яя!.. — мягко позвал чабан.

Она поднялась, жалуясь на боль визгом, и ткнулась ему в колени. Он увидал страшный разрыв по заду, достал из огня уголь, размял в пальцах, перемешал слюною и накрепко вмазал в рану. Повизгивая, она глядела ему в глаза, старалась лизнуть в губы. Он строго грозил ей пальцем.

— Ступай, — здоровый будешь!

Она лизнула его в бородку и покорно пошла на место. Она легла за огнем, вытянув морду в лапах, поёрзала-повихляла задом, устроилась, чтобы не так болело, и, уставясь в огонь, задумалась.

— А-а... злая ночь!.. — со вздохом сказал Чабан.

Ветер совсем улегся. Чаще тукало по кустам мокрым снегом, шорохами сползало с камня. Следы за костром чернели. Громче и громче бурлыкало по балкам. Теплой волной тянуло — с моря.

Подняли головы собаки... Шорохом набежало, и запыхавшийся голос крикнул:

— Яя... вернулся?..

Мягким лохматым комом прыгнул с уступа чабан-мальчик. Лицо его разгорелось, черные глаза сверкали.

— Ну? — строго спросил чабан.

— Двое было... — восторженно начал мальчик.

— Трое... — сказал чабан.

— Двое?

— Трое. Ишак четвертый. Говори дальше...

— ...Подошел сверху...

— Ага!?. Тебе говорил — сверху будут!?. Переломился ветер!

— Сверху, от Долгой Балки... собаки его погнали...

— А ты? Побежал за ними, ишак?! Я говорил — сверху будут! Алим, голова-котел, тебя вызвал! Кого тебе слушать?.. — Следов на снегу не видел?! От Долгой Балки на Кривой Камень следов не видел?.. Всю отару могли порезать!.. С берегу ветер, овчарки не могут слышать... Болтай дальше!..

— Алим вызвал... там другой полз снизу, схватил барашка, заколол барашка...

— Котлы пустые! Говори дальше...

— Яя не дал!.. *Он* ножом ударил Яя... Алим *его* камнем, в это!.. — на темя показал мальчик.

— Где Алим?..

— С *ним* возился... велел к тебе, по верху...

— Раньше надо по верху! — крикнул чабан, заёрзав. — Трое было... Третий с Кривого Камня, у дороги. Тащил барашка. Окружили, волки, сманили собак книзу! Отбил... — мотнул чабан на уступ в обрыве. — Отару могли порезать! А, шайтаны!.. Дурак, сапоги надел, слышно было. В постолах бы... не услышал! Всю отару могли порезать...

— Стрелял ты... Ушел?

— *У-шел... А тот?*

— Алим знает...

— А, злая ночь!.. — вскрикнул чабан, заёрзал. — А *твой,* от Долгой Балки?..

— Собаки его погнали... крови по следу много... травили долго... Алим отозвал после, чтобы к верху...

— Чорх сторожил по верху, котлы!.. Чорх *того* на меня выгнал!..

— Чорх? Чорх был на низу, с нами...

— Я говорю! После... я Чорха послал книзу! Травить велю до пустого! до... камня! Теперь пусть грызут до сердца... Собака грызет волка.

Пара волков-овчарок вернулась снизу, ткнулась к огню лизаться, но чабан гикнул — послал к отаре.

Они стали за светлым кругом, смотря на огонь, — просились. Он поднял палец и погрозил к отаре. Они пропали.

Снизу пришел чабан, принес заколотого барашка, бросил.

— Вот, шайтаны! — крикнул он виновато, хлопая себя по бедрам. С берега, двое было...

— Трое... — сказал старый чабан, мотнул к уступу. — Всю отару могли порезать! Отбил.

— Ушел?

— Ночь знает. А *тот?*

Молодой чабан по-собачьи оскалил зубы.

— В балку упал, на камни.

— Мало собаки гнали! Я говорю! Не мешай овчаркам, овчарки знают!..

— Кровь по всему следу... в крови морды!

— Котлы! Не отзывать!! Палки хочешь? Отару у меня порежут, чем теперь жить будешь?! На берегу волки, всё сожрали! Закона теперь нет, закон сломали!.. Мой закон! Собака грызет волка... Бог велит.

Еще четыре овчарки пришли следом, жарко нося боками. Качая языками, они упали перед огнем и принялись лизаться. Старый чабан поднялся, потрепал овчарок, оглядел морды и вытер о снег руки.

— Шумит хорошо... — прислушался он к ручьям по балкам. — Сойдет к утру, следа не будет. Тепло будет.

Поглядел на небо. Прочищало, больше яснели звезды.

— Сниму до солнца. Опять погоню на яйлу, ну, их... До большого снегу.

И лег под свои овчины.

— Обойдете — и ложитесь. Не придут волки...

Чабаны покурили, подремали — и пошли поглядеть отару. Побежали овчарки с ними. Яя повел в темноту ухом — и остался, вытянув морду в лапах.

Храпел чабан. Храпела в его ногах старая овчарка, вздрагивала во сне с визгом.

XVI

Еще далеко до света, старый чабан поднялся.

Туманно, мягко светили звезды. Парило от земли, теплело. Гремели ручьи по балкам, катились к морю. Курились кусты туманом, красно в огне чернели. Белые шапки давно упали, шорохи на камнях затихли.

Дремали у огня чабаны, надвинув шапки, уронив головы, — каменным сном давило. Теперь лишь одни овчарки несли дозоры.

— Поспите! — крикнул чабан, — один управлюсь.

Чабаны, тычась, полезли под овчины.

Старый чабан прибавил огня, забрал бараний мешок и пошел за водой в балку. Проснувшаяся с ним овчарка села к огню — чесаться: одолевали блохи, — тепло будет. Ставила уши, поглядывала на войлок и ворчала: тревожили ее стоны.

Чабан принес воду, поставил котел на камни, бросил красного перцу, чесноку и луку, всыпал кукурузной крупы и соли. Потом стал свежевать барашков. Тушки он обернул в шкуры, а требушину сложил под камень. Когда в котле закипело, он положил варить ножки и головку, — другую у огня оставил, — бросил еще сердечину, почки и печенки и стал помешивать свежей дубовой веткой. Когда опять закипело, он сбросил пену, всыпал толченого кизила и покрошил брынзы. Забило розовой пеной, потянуло душистым паром.

Сварив похлебку, чабан накрыл котел бараньей шкурой умылся снегом и стал поджидать рассвета.

Безрукий всю ночь метался. Всю ночь снились ему огонь да ветер. Носило его по балкам, по дорогам, душило ветром. Стреляли из костра искры, палило жаром. Он старался уйти от жара, — стегало его из ночи снегом. Он отворачивался от снега, искал согреться, — палило его огнем, душило дымом. Всю ночь метался, — и снились ему всю ночь огонь да ветер.

Ночь отшумела и затихла, а ему всё казалось, что его душит ветром. Он много раз просыпался, видел сидевшего у огня чабана и не понимал — кто это. Швыряло его в балку, и ему казалось, будто лежит он на остром камне, а сверху давит. Он вскидывался от острой боли, выцарапывался из черной балки и снова видел: сидит у огня лохматая собака... И не понимал — где он?..

Когда забелело в небе, Безрукий признал у костра чабана, признал овчарку, синевшие по обрыву камни, услыхал рев барана — и понял, что здесь чабаны, под Чатыр-Дагом. Вспомнил, как сбросило его с Перевала вихрем, как огонь в черноте вертелся... И всё вспомнил: что он в дороге, и еще далеко до дому. Всё тело его ломило, все кости ныли, кололо в боку ножами, трепала лихорадка. Увидал черные, мокрые деревья в рассветной мути, синеющий снег за светом...

— Идти надо... — подумал он в бессильи, — а весь разбился... не подняться... У них бы отлежаться...

Он передохнул со стоном.

— Жив, голый? — поглядел на него чабан.

— Жив... спасибо тебе... — через силу сказал Безрукий, — без тебя погиб бы...

— Благодари не меня... а Бога. Послал на тебя овчарок. Не разорвали! Овчарки теперь злые, волка чуют...

Синели холодом на рассвете камни, дымком синело. Черные, выступили кусты из мути. Синело за ними снегом.

— Зачем на горы ходишь голый?.. — спросил чабан, смотря на Безрукого с усмешкой. — Или тебе всё лето?..

— Нужда погнала, за хлебом... одежи нет ничего, всё съели... — выстукивая зубами, еле сказал Безрукий.

— Как же это у тебя — нет одежи?! был богатый, покупал у меня барашков, ходил мурзаком! Помню пояс у меня купил бахчисарайский... ханский... пять золотых стоил! Я всё помню... Богатые, сильные с тобой гуляли... У них бы и попросил одежи, хлеба!.. Знакомые твои были... Смотрели, как барашки мои гуляют... горькую травку щюплют, а мясо сладко! Я всё помню... А меня называли бедным! Где они, головы бараньи? И почему — такое?.. Ученые, мудрые люди назывались... А почему — такое?..

— Все пропали... — сказал Безрукий. — Вся теперь земля пропала... погибаем...

Покачал головой чабан, зацокал...

— А-а, це-це-це! Мудрые были, богатые были, на мягкой земле жили... Почему волки стали?!. Ваши чабаны были! Почему волки стали?! Умный чабан знает, куда гонять отару... чабан умный сторожит отару!.. Каждого барашка знает... Больной барашка болезнь приводит — коли барашка! Волк ходит у отары — убей волка!.. Куда ваши чабаны делись? Волки почему стали?..

Говорил чабан — стучали камни.

— Пошел на горы, голый... А дадут тебе хлеба горы?.. На берегу всё сожрали, приходите воровать барашка?!.

— Я не ворую... — сказал Безрукий.

— Я всё знаю. Кто с вороной пирует — у того нос грязный! А в мешке у тебя барашка?

— А мешок мой... где же? — вспомнил Безрукий и завозился.

— Вон твой мешок! — мотнул чабан на уступ в обрыве. — Ваших воров здесь не ходит. Откуда у тебя в мешке барашка?! Собаки мои чуют...

— Там у меня ошметки только... Это... кошку чуют...

— Ко-шку?! А зачем у тебя кошка?.. — поглядел на него чабан с усмешкой.

— Детям добыл... с голоду погибаем... Ходил за хлебом, на девятую казарму... не достал у Сшибка...

— Знаю волка. Крал у меня барашков! Ну... видал Сшибка? Здоров Сшибок? веселый смотрит?.. У него пшеницы много... натаскал в свою яму волчью!.. Видал волка?..

— Видал... убили его... — как во сне говорил Безрукий.

Будто в тумане сидел у огня чабан, качался. Качалась стена обрыва, — вот-вот завалит.

— Убили? Слышал и я, что убили. Убили волка!.. А ты не кидай языком, что знаешь! — погрозил чабан трубкой. — Ты помни: оставили тебе жизни! Ай-Балку помни... — понизил чабан голос. — Я всё знаю. В горах камень на камне лежит — слышит.

Он набил трубку, прижег угольком, — сидел, нахмурясь, курил и думал...

— А-а, шайтаны волки! — крикнул он вдруг, как бы на свои мысли, и закачался, будто от острой боли. — Всякого у вас добра было! Куда девали?! Мягкая земля, хлеб давала... рыба в море, сады, виноградники, орехи,

табак, кони... хорошую одежу ткали... всё добро! Всё сожрали?.. У меня — камни... а я живу! У меня собаки работают, а вы, волки, лазите по ночам воровать у меня барашков!?. Семьдесят зим живу, к вам не ходил... — чего вы ходите!? Ходит волк, убей волка! Бог велит. Камень траву ростит, барашка траву ест, чабан барашка бережет. Всё барашка дает... Барашка не будет, — ничего не будет.

Стучало в ушах Безрукого, будто камнем по камню стучал чабан.

— Я всё знаю. Я правду-закон знаю. Я человека рукой подыму из ямы, а волка за ноги в балку кину. Бог велит! Вчера двое с берега на конях были, барашка поймали в петлю. Знаю. Не жить волкам! Я всё знаю. Вытянул ноги волк — знаю. Скажи на берегу всем волкам: бьем волков! Бог человеку барашка дал — жить, овчарку дал — барашка беречь, крепкие руки дал — волка убить. Стал человек волк, — убей волка, Бог велит!

И много еще говорил чабан.

— У человека шуба на плечах, шапка на голове, — зима велит. Дает ему барашка. Волк со своей кожей ходит, голый. Голый — не человек. Ты — голый. Какой ты человек?! Зачем на горы пришел, голый? Голому камень дадут горы. Смерть дадут горы!..

Небо светлело, голубело.

За черным кругом костра, за проталинами ночных следов, равно синело снегом. Со снега тянуло холодом. Снежно мерцали в туманах горы. Чернели леса под ними.

— Гей! — крикнул бодро чабан, — вставай!..

Чабаны завозились под овчиной, потягивались, мычали. Терли непроснувшиеся еще глаза поеживали плечами, — сон ломали. Кололо глаза от снега, но уже улыбались лица. Всё кругом было ново, светло, — белой зимой смеялось.

Старый чабан взял войлок и отошел на снежок, к сторонке. Он расстелил войлок, помылся снегом и принялся молиться. Кланялся и покачивался долго, — в туман, на море. Чабаны потерлись снегом, наскоро помотались к морю и пошли поглядеть отару. Утренним, звонким лаем отозвались овчарки. Гревшийся у огня Яя повел мордой к невидимой отаре, потянулся, визгнул, — и не пошел к собакам. Старая овчарка потянулась, встала — и осталась сидеть на месте: холодно, что ли, показалось. Поглядывала хмуро.

Пришли чабаны. С ними пришли овчарки. Ждали.

Старый чабан достал из-под камня требушину и дал собакам. Потащили они кишки по снегу, рычали, грызлись. Яя не пошел за ними. Чабан дал ему из котла ножку.

— Чорх!.. — позвал старый чабан овчарку.

Она подошла чинно, села рядом. Он достал из котла головку и погрозил — не трогай! Овчарка перебрала ногами и стала дожидаться, когда остынет.

— Садись! — приказал чабан.

Чабаны сели, скрестили ноги. Старый чабан пошептал молитву и роздал ложки. Валило из котла душистым паром. Чабан достал из сумы кукурузную лепешку, сломал над котлом, дал по куску чабанам. Черпнул первый. Стали по череду хлебать чабаны.

Когда поели похлебку, чабан отломил еще по куску лепешки.

— Бери и ты свою долю, — сказал он, давая Безрукому кусок лепешки. — Был и ты человеком раньше, делился хлебом. Про-пали вы все, волками стали. Не говори, я знаю.

Есть Безрукому не хотелось, — томила его жажда, — но он не отказался: знал, что обидится татарин.

Чабаны глядели исподлобья, жевали молча.

— Было время... — сказал старый чабан со вздохом, — гостей принимал, колол барашка. И язьмы было, и катыку, и брынзы. И светлого хлеба люди носили за барашка. Теперь ночью ползут, с ножами!..

Мутило сладким бараньим духом. Безрукому стало тошно и показалось, что валится на него стена обрыва. Плясало перед глазами дымом, качались в дыму чабаны, щелкали белыми зубами.

Старый чабан достал ножом из котла сердечину и печонки, покрошил на камне и разделил чабанам. Безрукому мяса не дал.

— Из-за волков-шайтанов... едим барашка! Сколько у меня порвали!.. У Шумы все отары погубили... до Корбеклы доходят... по всей яйле!..

Он посмотрел на кусок, покрутил головой и сказал, словно читал молитву:

— Всё — от Бога. Сказал Бог: всё человеку дает барашка!

Чабаны работали зубами, шумно жевали мясо. Безрукого мутило.

— Попить бы... — попросил он чуть слышно.

Чабаны не слыхали.

Когда доели мясо, чабан отрезал овечьей брынзы.

— Бери и ты свою долю, — подал он на ноже брынзы. — Не хочешь. В горло не идет барашка...

— Попить бы... — простонал Безрукий.

Чабаны не слыхали.

— Я тебе скажу, как было... — сказал старый чабан, закуривая трубку. — Камни одни были. Сидел человек на камне, плакал. Сказал Бог: «плачь, горькая трава будет!» Горькая трава стала. Ел человек горькую траву, плакал. Сказал Бог: «не плачь, барашка будет, всё будет!» Стал гулять по горам барашка. Не стал человек

плакать. Пришел волк, резать-давить барашка. Стал человек плакать. Сказал Бог: «не плачь, хорошо будет, овчарка будет!» Дал Бог человеку овчарку. Не стал волк барашка резать, не стал человек плакать. Забыл человек Бога, стал давить человека. Стал человек волком, шайтана слушал. Стал хороший человек плакать. Сказал Бог: «не плачь! волк волка грызет, овчарка волка грызет, хороший человек волка бьет!» По-бьет! Вот как будет. Бог велит.

Небо светлело, синело в разрывах туч. Снежно, на мутной дали, встала зимняя Катерин-Гора, с черными полосами трещин. Холодом от нее тянуло... Над грязной стеной обрыва, стоял Чатыр-Даг, зимний, — накрыло его покровом.

— Попить... — попросил Безрукий, укутываясь в войлок.

— Нет у меня воды, сходи в балку... — сказал чабан. — Снегу поешь. Снегу много.

Безрукий взглянул на снег, и его пуще забило дрожью.

За черным кругом костра, за грязными пятнами проталин, остро синело снегом, кололо глаза зарею. Вся пологая котловина колола блеском. И воздух колол — горьким духом сырого камня, мокрых кустов и дыма.

Безрукий отвалил войлок и поднялся. Сюртук его распахнулся, в дырья сквозило тело.

Чабаны засмеялись:

— Шайтан голый!

— Кожу ему погрызли волки! — усмехнулся старый.

Ломило глаза от снега. Пошатываясь, пошел Безрукий. Всё перед ним плясало: кусты, камни, черные по снегу пятна и даль в тумане. Шумело вокруг, журчало. Потоки в балках — или в ушах от крови. Прямо — дым-

ная Катерин-Гора синела матовым серебром с чернью, накрылась горностаевой порфирой, — вся зимняя. Синело холодом за ней небо. Вздрагивали на нем стрелки — солнце?

От снега обожгло губы, ломило скулы, но голове стало легче, дышать свободней, — даже теплее стало. Не колыхались камни: сидели крепко по снеговому полю. Горько и свеже пахло — дубами, камнем? Горной зимою пахло.

Безрукий залез под войлок, лежал и думал:

— У них бы отлежаться... у огонька... тихо... Не добраться...

Ходило в глазах туманом. В тумане — берег...

— Гей!.. — крикнул старый чабан, — сбивай отару!

Чабаны побежали. Возившиеся в снегу овчарки рванулись с веселым лаем. Заблеяли по отаре овцы, бараны заревели.

— Давай... — сказал старый чабан, снимая войлок, — огонь тебе остается, грейся. И солнце с тобой будет.

Пришел мальчик, забрал котелок и сумку. Взвалил на плечо овчины, бараньи тушки.

— Айда, с нами! — посмеялся Безрукому зубами и резко засвистал в пальцы.

И Безрукий понял, что они совсем уходят.

Со снегового поля, за обрывом, накатывало лаем, свистом. Бараны ржали. Зашевелились по снегу камни, задвигались волною, — и стал снег бурым и серовато-желтым. Пополз кверху. Защелкало, покатилось, — как бичами:

— Аррьччь-аррьчь-аррьчь-аррьчь!

Старый чабан положил на плечо ружье, взял палку...

— Вон твой мешок!.. — показал он к уступу на обрыве. — И не приходи больше. Вот твоя доля... — ткнул

он в баранью голову у огня. — Бог велит давать нищему головку. Стал ты нищий. Беднее вы камня стали!..

Он вдумчиво оглядел стоянку, — не забыли ли чего чабаны, — и стал подниматься по обрыву, на перерез отаре. На гребне остановился и поднял палку:

— Ты!.. Скажи на берегу волкам... Бекир говорит: не дам! На Чатыр-Даг загоню, в снега... в камни! до последнего всех порежу... — не дам!.. Пока камень могу держать... — не дам!.

И засвистал, загикал. Отозвались свистами чабаны. Овчарки загремели призывным лаем, бараны заревели. Заблеяла отара, снялась, пошла.

Остался гореть костер.

Сентябрь 1924 г.
Ланды.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

(Биографический очерк, составленный Ю. Кутыриной)

Основанием для этого краткого биографического очерка послужили статьи К. Д. Бальмонта, профессора Н. К. Кульмана, профессора И. А. Ильина и личные воспоминания составительницы очерка Ю. А. Кутыриной.

Среднего роста, тонкий, худощавый, большие серые глаза... Эти глаза владеют всем лицом... наклонны к ласковой усмешке, но чаще глубоко серьезные и грустные. Его лицо изборожденное глубокими складками — впадинами, от созерцания и сострадания, от скорби о родине, о мире... лицо русское — лицо из прошлых веков, пожалуй старовера, стрельца. Так и было: дед Ивана Сергеевича Шмелева государственный крестьянин из Гуслиц, Богородского уезда, Московской губернии — старовер, кто-то из предков был ярый начетчик, борец за веру — выступал при Царевне Софье в «п р я х». Предки матери тоже вышли из крестьянства, исконная русская кровь течет в жилах Ивана Сергеевича Шмелева.

Иван Сергеевич Шмелев родился в Москве 21 сентября 1873 года, в купеческой семье. Семейная среда была духовно здоровой, нравственно стойкой. В доме царили исконные традиции, — вековая связь с подлинной народной Русью. Уклад жизни старинный, патриархальный, освящался религиозностью непосредственно идущей к сердцу. В обычаях были посещения монастырей, хождения на богомолье. Детей воспитывали строго. Чудесное произведение И. С. Шмелева «Лето Господне» дает представление об обстановке в которой он рос, претворенной в художественные образы. На маленького Ваню Шмелева, большое влияние оказа-

ли простые люди, рабочие, приходившие со всех концов России на службу в дом Шмелевых, приносившие с собой богатство языка с приговорками, сказками, песнями, прибаутками. Жили они одной семьей с хозяевами и считались как бы домочадцами, живое воплощение этих отношений — Горкин, который останется в литературе навсегда памятным образом, подобно Савельичу Пушкина.

В 1884 году И. С. Шмелев поступает в 6-ую Московскую Гимназию. В 5-ом классе определяется его будущее литературное призвание, — запоем читается Пушкин, Тургенев, Лев Толстой, Глеб Успенский, Короленко и другие выдающиеся русские писатели, — Образ Татьяны был у Ив. Сергеевича, до конца жизни, любимым символом России, так ярко им выраженным в ряде его статей: «Верный Идеал», «Тайна Пушкина», «Заветная встреча». — В восьмом классе в 1894 году пробуждается, как властная неудержимая сила, — творчество, «и вдруг среди подготовки на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, ...я увидал мой омут, мельницу, разрытую плотину, деда. Живые — они пришли и взяли»...

В июльской книжке 1895 года «Русского Обозрения», был напечатан первый рассказ Ив. С. Шмелева «У мельницы», ровно 60 лет тому назад. Осенью 1895 года Ив. С. Шмелев женится и совершает со своей молодой женой свадебное путешествие на Валаам, — где находится знаменитый монастырь и много скитов. Путевые очерки выходят в 1896 году книгой «На скалах Валаама». С 1895 года по 1905 год И. С. Шмелев не пишет ни единой строки. В 1898 году Иван Сергеевич оканчивает Московский Университет с дипломом первой степени по Юридическому Факультету, но одновременно слушает с увлечением лекции на других факультетах историка Ключевского, Веселовского по ли-

тературе и Тимирязева по ботанике. «Жизнь растений» Тимирязева стала настольной книгой Ив. Сергеевича, и любовь к растениям расцвела и осветила много страниц в его творчестве. С 1899 по 1901 год Иван Сергеевич состоял в Москве помощником присяжного поверенного, а позднее во Владимире на Клязьме чиновником особых поручений при Казенной Палате, разъезжая по губернии «на долгих» по глухим дорогам, с ночлегом на постоялых дворах, встречая разнообразных людей, в селах, деревнях и провинциальных городах. Впечатления этого периода его жизни отразились впоследствии в ряде рассказов: «Патока», «Поездка», «В норе», «Гражданин Укрейкин» и во втором томе «Под небом». 1905-й год стал решающим — Ив. Сергеевич Шмелев почувствовал, что душевно жить нечем и снова зазвенело в душе «ч т о - т о» на 10 лет заснувшее, под впечатлением картины отлета журавлей. Ив. Сергеевич пишет прелестный рассказ для юношества «К солнцу», за которым следуют: «Служители правды», «В новую жизнь», «Рваный барин», и другие, — всего 18 книг рассказов и повестей для юношества, Издательство Тихомирова.

Повесть «Служители правды» об еврейском погроме, будившая лучшие человеческие чувства, была изъята и издательство закрыто на 6 месяцев. — В 1906 году был написан «Распад», вызвавший восторженный отклик Айхенвальда, редактора журнала «Русская Мысль». С 1907 года И. С. Шмелев выходит в отставку, возвращается в Москву и посвящает себя литературе. В 1910 году «Человек из ресторана» создает ему славу исключительным успехом романа, потребовавшего несколько изданий. В 1912 году в Москве образуется Книгоиздательство Писателей, основателем которого являлись И. С. Шмелев, И. А. и Ю. А. Бунины, Н. Д. Телешев, В. В. Вересаев и Б. К. Зайцев. В сборнике этого книгоиздательства выходят «Росстани» — повесть по-

эма, которую В. Д. Набоков назвал «нечаянная радость». Война 1914 года отразилась в книге «Суровые дни», которую горячо приветствовал Леонид Андреев. В 1916 году выходит книга «Лик скрытый», — тревожное предчувствие грядущего. В 1918 году Ив. Сергеевич Шмелев покидает Москву и едет в Крым, где пишет свою знаменитую, переведенную на восемь иностранных языков «Неупиваемую Чашу» и ряд сказок вошедших впоследствии в сборник «Степное Чудо». Пережитые страдальческие дни в Крыму и трагическая потеря единственного сына решают судьбу Ивана Сергеевича. В ноябре 1922 года он навсегда оставляет Россию.

В России вышли в повторных изданиях 8 томов собрания сочинений Ив. Серг. Шмелева: Том 1-й — «Распад», том 2-й: «Под небом», том 3-й: «Человек из ресторана», том 4-й: «Пугливая Тишина», том 5-й: «Волчий Перекат», том 6-й «Карусель», том 7-й: «Суровые дни», том 8-й: «Лик скрытый». Пьесы: На паях» в 4-х актах, шедшая в Московском Драматическом Театре, в 1915 году, и 5 водевилей, и одноактных пьес, вышедших в театральном издательстве Рассохиной.

В январе 1923 года Ив. С. Шмелев приезжает в Париж, и в Париже написаны главные его произведения. К великой скорби эти произведения до сего времени остаются совершенно неизвестными русскому народу, между тем русский народ является основой его художественного творчества. Однако за рубежом Шмелев становится всемирно известным по переводам свыше чем на 20 иностранных языков. За рубежом вышли: «Солнце Мертвых», переведенное на английский, французский, немецкий, голландский, итальянский, испанский, хорватский, сербский, польский, латышский, чешский, болгарский, венгерский и др.; эта страшная книга отразила пережитое в Крыму и сравнивается одним

иностранным критиком с Дантовским «Адом» по силе изображения.

После вылившихся в «Солнце Мертвых» пережитых страшных лет, Ив. Сергеевич с той же правдивостью и эпической верностью дает еще ряд потрясающих книг: «Это было», переведено на английский, голландский, французский, и немецкий; «Про одну старуху» — на немецкий, голландский, чешский; «На пеньках» — немецкий, голландский, чешский; «Каменный век» — немецкий и чешский; «Свет разума» — немецкий и французский.

Кроме того на иностранные языки был переведен «Человек из ресторана» на французский, немецкий, голландский, испанский, венгерский, шведский, итальянский, польский, латышский и чешский. — «Неупиваемая Чаша» переведена на французский, немецкий, венгерский, испанский, итальянский, польский, латышский и чешский.

Не откликнувшись на то что «исполосовало» его душу, Ив. Сергеевич отдается тихой душевной песне о давно ушедшем, такому дорогому для русского писателя.

Он выпускает «Родное», «История любовная» и главные основные произведения: «Богомолье», изумительное «Лето Господне», «Няня из Москвы» и два тома «Путей Небесных». За рубежом вышло более 22 книг на русском языке и большое количество статей и очерков не вошедших еще в отдельные сборники. За краткостью нашего очерка мы не перечисляем все произведения и все труды о творчестве И. С. Шмелева вышедшие на русском и иностранных языках. Главные его произведения представляют вдохновенные гимны, прославляющие русскую жизнь и душу русского человека, с его верой, благочестием и душевностью.

Но как пишет Р. Киплинг в письме к Ивану Сергеевичу: «Ваше творчество, выходя из рамок национальной литературы, обрело *общечеловеческое значение*».

В 1936 году И. С. Шмелев потерял свою жену Ольгу Александровну после 40-летней вместе выстраданной жизни, его истинного Ангела-хранителя, его верной спутницы и чудесной по душевной кротости русской женщины. С момента ее потери И. С. Шмелев несет тяжкий крест душевного одиночества. Иван Сергеевич страдал тяжелой хронической болезнью язвой желудка, которая теперь еще более обостряется. Поездка в 1936-37 году в Печоры, Карпатскую Русь и Чехию не облегчает моральных и физических его страданий. Великая война 1939 — 1944 гг. вносит особенно тяжелые душевные испытания и физические лишения в жизнь Ив. Сергеевича, ухудшающие еще более его здоровье. В 1947 году он выезжает в Швейцарию для улучшения питания чрезвычайно истощенного организма. Вернувшись в 1949 году во Францию, он удачно переносит тяжелую операцию в Париже.

В июне 1950 года казалось, что давнишняя заветная мечта Ив. Серг. Шмелева пожить в монастыре и закончить третий том «Путей Небесных» осуществляется. 24-го июня его везут в автомобиле для поправки за 150 километров от Парижа в Обитель Божьей Матери в Бюси-ан-Отт. — Деп. Ионн. Восторг и радость достигнутой наконец цели переполняют сердце... но сердце не выдерживает и в 9 часов вечера сердечный припадок уносит к Всевышнему самого «Русского из русских» писателя, человека, истинно-поэта России, Ивана Сергеевича Шмелева.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Printed by Rausen Bros., 142 E. 32nd Street, N. Y. C. 85

Цена: $3.00